Келлерман Бернгард
Туннель

- **Аннотация:**
Der Tunnel.
Перевод Полины Бернштейн (1929).

Бернгард Келлерман

Туннель

Перевод Полины Бернштейн

Bernhard Kellermann. Der Tunnel (1913). Пер. с нем. -- П.Берштейн. Изд. "Донбас", Донецк, 1984.
OCR & spellcheck by HarryFan, 23 August 2000

Часть первая

1

Концерт в ознаменование открытия дворца, только что выстроенного на Мэдисоновской площади, оказался гвоздем сезона. Это был особенный, небывалый концерт. Оркестр состоял из двухсот двадцати музыкантов, и каждый из них был артистом с мировой славой. Дирижировать был приглашен самый знаменитый современный композитор, немец, получивший за один вечер неслыханный гонорар в шесть тысяч долларов.

Цены на места поразили даже жителей Нью-Йорка. Не было мест дешевле тридцати долларов, а цены на ложи барышники взвинтили до двухсот долларов и выше. Каждый, кто хотел играть хоть какую-нибудь роль в обществе, считал себя обязанным присутствовать на концерте.

В восемь часов вечера Двадцать шестая улица. Двадцать седьмая. Двадцать восьмая и Мэдисоновская были запружены гудящими, нетерпеливо подрагивающими автомобилями. Барышники, привыкшие шнырять между шинами мчащихся автомобилей, обливаясь, несмотря на двадцатиградусный мороз, потом, с пачками долларов в руках отважно бросались в гущу бесконечно нараставшего потока яростно ревущих машин. Они вскакивали на подножки, забирались на места шоферов и даже на крыши автомобилей, стараясь хриплыми криками заглушить треск моторов. "Here you are! Here you are! [Извольте! Извольте! (англ.)] Два места в партере, десятый ряд! Место в ложе! Два места в партере!.." Косой град, точно из пулемета, стегал улицу ледяными зернами.

Как только опускалось стекло в окне автомобиля: "Сюда!" -- барышники мигом ныряли снова в поток машин. И пока они заключали сделку, наполняя деньгами карманы, капли пота замерзали у них на лбу.

Начало концерта было назначено на восемь часов, однако еще и в четверть девятого несметные вереницы машин ждали своей очереди, чтобы подъехать под задрапированный кричаще-красной тканью, сверкающий огнями и льдом навес у входа в блестящее фойе концертного зала. Под возгласы барышников, треск моторов и барабанный стук падавших ледяных зерен появлялись из молниеносно сменявших друг друга автомобилей все новые и новые группы людей, неизменно возбуждая интерес стоявших темной стеной зевак. Дорогие шубы, замысловатые,

сверкающие прически, искрящиеся камни, обтянутые блестящим шелком бедра, восхитительная ножка в белой туфельке, смех, возгласы...

Богачи Пятой улицы, Бостона, Филадельфии, Буффало, Чикаго наполняли выдержанный в бледно-розовых и золотистых тонах грандиозный, жарко натопленный зал, и весь вечер воздух дрожал от быстрого движения тысяч вееров. От белых плеч и бюстов женщин подымалось облако одуряющих ароматов, иногда перебиваемых будничным запахом лака, гипса и масляной краски, еще державшимся в этом новом помещении. Бесконечные ряды электрических лампочек лили такой яркий, ослепительный свет с кессонов потолка и хоров, что лишь сильные и здоровые люди могли спокойно выносить это море огня. Парижские законодатели мод ввели в этом зимнем сезоне маленькие венецианские наколки для волос, которые дамы надевали, сдвинув их несколько назад. Это были тонкие, как паутинки, плетения из кружев, серебра, золота, окаймленные бордюрами, украшенные кисточками, подвесками из драгоценнейших материалов, жемчуга и камней. Веера беспрестанно двигались, головы слегка поворачивались, сотнями вспыхивали одновременно в разных местах зала огни бриллиантов, и весь тесно заполненный партер мерцал и сверкал.

Над этим обществом, таким же новым и роскошным, как и концертный зал, проносились раскаты музыки, создатели которой уже давно истлели в могиле...

Инженер Мак Аллан со своей молодой женой Мод занимал маленькую ложу над самым оркестром. Хобби, его друг, строитель нового дворца на Мэдисоновской площади, предоставил ее Аллану, и ложа не стоила тому ни одного цента. Впрочем, он приехал сюда из Буффало, где у него был завод инструментальной стали, не для того, чтобы слушать музыку, в которой ничего не смыслил, а ради десятиминутной беседы с железнодорожным магнатом и банкиром Ллойдом, самым могущественным человеком в Соединенных Штатах и одним из богатейших людей мира. Ради беседы, имеющей для Аллана величайшее значение.

Днем, в поезде, Аллан тщетно боролся с легким волнением, и всего несколько минут назад, когда, бросив взгляд на противоположную ложу -- ложу Ллойда, -- он убедился, что она еще пуста, им овладело то же странное чувство тревоги. Но теперь, однако, он справился со своим волнением.

Ллойда не было, Ллойда, быть может, вообще не будет. А если даже он приедет, то и это еще ничего не решает, несмотря на торжествующую телеграмму Хобби!

Аллан сидел с видом человека, который ждет и умеет ждать. Он откинулся в кресле, вдавившись широкими плечами в его спинку, вытянув ноги, насколько это допускала длина ложи, и спокойно осматривался кругом. Аллан был не особенно высокого роста, он обладал коренастым и крепким сложением боксера. Его большая голова имела скорей четырехугольную, чем продолговатую, форму, и бритое, с несколько резкими чертами лицо было необычайно загорелым. Даже теперь, зимой, на его щеках виднелись следы веснушек. Как это было модно в то время, он был тщательно причесан на пробор, его мягкие каштановые волосы чуть отливали медью. Ясные, голубовато-серые, глубоко посаженные глаза Аллана светились детским добродушием. В общем, он походил на морского офицера, только что вернувшегося из плавания, надышавшегося свежим воздухом и сегодня случайно надевшего фрак, который был ему не к лицу. Он казался здоровым, грубоватым, но добродушным человеком, достаточно интеллигентным, но ничем не примечательным.

Аллан коротал время как умел. Музыка его не захватывала, она рассеивала его мысли, а не сосредоточивала, не углубляла их. Он пытался определить на глаз размеры огромного зала, восхищаясь конструкцией потолка и кольца лож. Обозревал сверкавшее, колыхавшееся море вееров в партере и думал о том, что в Штатах много денег и что тут, пожалуй, можно осуществить дело, которое у него на уме. Как человек практической складки, он начал подсчитывать часовую стоимость освещения концертного зала. Остановившись На круглой сумме в тысячу долларов, он принялся затем изучать физиономии мужчин. Женщины его совсем не интересовали. Снова скользнул он взором по пустующей ложе Ллойда и стал разглядывать правую сторону оркестра, которая была ему хорошо видна. Как всех людей, ничего не смыслящих в музыке, его поражала машинная точность работы оркестра. Он подался вперед, чтобы взглянуть на дирижера и его вооруженную палочкой руку, лишь изредка взлетавшую над балюстрадой. Этот худой, узкоплечий, изысканный джентльмен, которому платили за вечер шесть тысяч долларов, был для Аллана полнейшей загадкой. Он всматривался в него долго и внимательно. Даже наружность этого человека была необычайной. Лицо с крючковатым носом, маленькие живые глаза, крепко сжатые губы и редкие, откинутые назад волосы делали его похожим на коршуна. Казалось, кроме кожи и костей, у него был только клубок нервов. Но он спокойно стоял среди хаоса звуков и шума и управлял им взмахом своих белых, с виду бессильных рук. Аллан дивился ему, как чародею, в могущество и тайны которого он даже не пытался проникнуть. Ему казалось, что это человек какой-то отдаленной эпохи, представитель странной, непонятной, чужой расы, близкой к вымиранию.

И как раз в этот миг худощавый дирижер вскинул руки, неистово потряс ими, и в руках этих внезапно вспыхнула сверхчеловеческая сила: оркестр забушевал и разом смолк.

Лавина аплодисментов прокатилась по залу, наполнив гулом все закоулки гигантского помещения. Аллан перевел дыхание и выпрямился, собираясь встать, но он поторопился: группа деревянных духовых инструментов начала адажио. Из соседней ложи донесся обрывок разговора: "...двадцать процентов дивиденда, послушай! Это такое блестящее дело, что..."

Пришлось остаться в кресле. Аллан опять стал изучать не совсем понятную ему конструкцию яруса лож. А жена его, сама начинающая пианистка, в это время всем своим существом отдавалась музыке. Рядом с мужем Мод казалась маленькой и хрупкой. Ее изящная темноволосая головка, головка мадонны, опиралась на затянутую в

белую перчатку руку, а нежное прозрачное ухо _впивало_ волны звуков, лившиеся сверху, снизу, неведомо откуда. Мощная вибрация, которою эти двести инструментов наполняли воздух, потрясала каждый нерв ее тела. Широко раскрытые, невидящие глаза были устремлены вдаль. Возбуждение было так сильно, что на ее нежных, атласных щеках появились круглые красные пятна.

Ей казалось, что никогда еще она не воспринимала музыку так глубоко, что вообще она никогда не слышала такой музыки. Простой мотив, незаметно вплетающаяся побочная мелодия могли пробудить в ней неизъяснимое блаженство. Даже отдельный звук способен был вскрыть таившуюся в ней неведомую ей самой артерию счастья, которое, брызнув яркой струей, могло ослепить ее душу. Чувство, вызванное этой музыкой, было чувством чистейшей радости и красоты! Видения, навеянные звуками, лучезарные и просветленные, были прекраснее всякой действительности.

Жизнь Мод была так же скромна и незатейлива, как и ее облик. В этой жизни не было ни крупных событий, ни примечательных происшествий, и она походила на жизнь тысяч других молодых девушек и женщин. Мод родилась в Бруклине, где ее отец имел типографию, и была воспитана в его поместье, среди холмов Беркшира, окруженная нежными заботами матери, которая была родом из Германии. Мод получила хорошее образование, два года слушала лекции на летних курсах Шатоква и набила свою маленькую головку множеством знаний и премудростей, которые уже успела позабыть. Она обучалась игре на рояле, хотя и не обладала особенным дарованием, и закончила музыкальное образование у лучших учителей Мюнхена и Парижа. Она путешествовала с матерью (отец к тому времени давно умер), занималась спортом и, как все девушки, принимала ухаживания молодых людей. В дни юности у нее было увлечение, о котором она теперь уже и не вспоминала; архитектору Хобби, просившему ее руки, она отказала, потому что любила его только как товарища, и вышла замуж за инженера Мака Аллана, так как он ей нравился. Еще до замужества Мод умерла ее нежно любимая мать, и девушка горько оплакивала ее. На втором году брака она родила девочку, которую безумно любила. Вот и все. Ей было двадцать три года, и она была счастлива.

Пока в чудесном опьянении она наслаждалась музыкой, в ней расцветали воспоминания, сменяясь, как по волшебству, -- все удивительно ясные, значительные. Собственная жизнь вдруг представилась ей таинственной, глубокой и богатой. Она видела перед собой черты своей нежной матери, сияющие беспредельной одухотворенностью и добротой, но испытывала не печаль, а только радость и невыразимую любовь. Словно мать была еще среди живых. В то же время ей вспоминалась местность в Беркшире, которую она в юные годы исколесила на велосипеде вдоль и поперек; и эта картина была напоена таинственной красотой и несказанным блеском. Мод вспомнила и Хобби, и сразу же ее взору представилась девичья комната, полная книг. Она увидела за роялем себя, разыгрывающую упражнения. И вновь возник образ Хобби. Хобби сидел рядом с ней на скамейке у теннисной площадки, на которой в сумерках виднелись только белые линии кортов. Перекинув ногу за ногу, он похлопывал ракеткой по кончику белой туфли и болтал. Мод видела себя, видела, как она улыбалась, слушая влюбленный вздор, который болтал Хобби... Но тут веселая, задорная, немного насмешливая мелодия отвлекла ее от Хобби и напомнила оживленный пикник, на котором она впервые увидела Мака. Она гостила в Буффало у Линдлеев. Это было летом. В лесу два автомобиля ожидали их компанию -- человек десять мужчин и дам. Мод ясно представила себе каждого. Было жарко, мужчины сняли пиджаки, земля накалилась. Надо было вскипятить воду для чая, и Линдлей крикнул: "Аллан, не разведете ли огонь?" Аллан ответил: "All right!" [Пожалуйста! (англ.)] И Мод казалось теперь, что она уже в то время полюбила его глубокий, задушевный голос. Она видела, как Мак раскладывал костер. Как тихо, никого не беспокоя, он собирал и разламывал трескучие сучья, как он _работал_! Она видела, как, засучив рукава, он присел перед костром, осторожно раздувая огонь, и вдруг заметила на его правой руке бледно-голубую татуировку: скрещенные молотки. Она обратила на это внимание Грэс Гордон. И Грэс Гордон (та самая, что недавно стала героиней нашумевшего скандала) удивленно взглянула на нее и спросила: "Don't you know, my dear?" [Разве вы не знаете, дорогая моя? (англ.)] Она сообщила Мод, что в детстве Мак Аллан был коногоном в шахте "Дядя Том", и принялась рассказывать про юношеские романтические приключения этого загорелого веснушчатого малого. А он сидел на корточках, не обращая внимания на весело болтающих вокруг него людей, и раздувал костер, и в этот миг она полюбила его. Разумеется, именно тогда, -- только до сих пор она этого не сознавала. И Мод всецело отдалась своему чувству к Маку, заново переживая все прошедшее. Она вспомнила его необычайное сватовство, их венчание, первые месяцы брака. Потом подошло время, когда она ждала ребенка и когда наконец родилась маленькая Эдит. Никогда не изгладится из памяти Мод заботливость Мака, его нежность и преданность в пору, которая для каждой женщины служит мерилом любви мужа. Как-то неожиданно вдруг оказалось, что Мак -- заботливый и боязливый большой ребенок. Никогда не изгладится из ее памяти это время, когда она постигла истинную меру доброты Мака! Волна любви к нему залила ее душу, и она закрыла глаза. Видения, воспоминания уплыли вдаль, и музыка всецело захватила ее. Ни о чем больше не думая, она вся отдалась чувству...

Внезапная буря звуков, словно грохот обрушившейся стены, донеслась до ее слуха; она очнулась, глубоко вздохнула. Симфония окончилась. Мак уже встал с места и потягивался, опершись руками о барьер. Партер бушевал и неистовствовал.

Мод, немного растерянная, тоже встала, чувствуя головокружение; вдруг она принялась аплодировать изо всех сил.

-- Хлопай же, Мак! -- просила она вне себя от восторга, с пылающим от волнения лицом.

Аллан смеялся над необычайным возбуждением Мод и, чтобы доставить ей удовольствие, несколько раз громко хлопнул в ладоши.

-- Браво! Браво! -- звонким высоким голосом кричала Мод, перегнувшись за барьер ложи. Глаза ее были влажны от волнения.

Дирижер вытирал худое, побледневшее от усталости лицо и раскланивался на все стороны. В ответ на неумолкавшие аплодисменты он широким жестом указал на оркестр. Эта скромность была явно лицемерной, и она вновь пробудила в Аллане его постоянное недоверие к артистам, которых он не признавал полноценными людьми. Откровенно говоря, он считал, что можно обойтись и без них. Но Мод горячо присоединилась к новому взрыву аплодисментов.

-- Посмотри, Мак, у меня лопнули перчатки! Какой артист! Разве это не чудесно? -- Ее губы восхищенно улыбались, глаза сияли, как янтарь, и Мак находил ее необыкновенно красивой в этом экстазе. Он улыбнулся и ответил более равнодушно, чем хотел:

-- Да, молодчина.

-- Это гений! -- воскликнула Мод, продолжая восторженно хлопать. -- Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Лондоне я не слышала ничего подобного.

Она умолкла, обратив взор к двери, в которую вошел архитектор Хобби.

-- Хобби! -- крикнула ему Мод, не переставая хлопать; ей, как и тысячам других, хотелось еще раз вызвать дирижера. -- Хлопай, Хобби, пусть он еще раз выйдет! Гип, гип, браво!

Хобби зажал уши и свистнул, словно озорной уличный мальчишка.

-- Хобби! -- рассердилась Мод. -- Как ты смеешь! -- И она возмущенно топнула ногой.

В этот миг дирижер, обливаясь потом, вытирая платком шею, еще раз показался на эстраде, и Мод снова неистово захлопала. Хобби подождал, пока не утих шум.

-- Люди совсем обезумели! -- сказал он, звонко смеясь. -- Слыхано ли подобное! Я ведь свистнул только, чтобы пошуметь, Мод. Как ты поживаешь, girl? [девочка (англ.)] And how are you, old chap? [А ты как поживаешь, старина? (англ.)]

Только теперь они смогли спокойно обменяться приветствиями.

Этих троих людей связывала искренняя и на редкость сердечная дружба. Аллан прекрасно знал о прежних чувствах Хобби к Мод, и хотя о них никогда не упоминалось, обстоятельство это вносило в отношения обоих мужчин особую теплоту и своеобразную прелесть. Хобби все еще был немного влюблен в Мод, но у него было достаточно ума и такта, чтобы не выдавать своего чувства. Однако безошибочный женский инстинкт не обманывал Мод. Любовь Хобби, на которую она отвечала искренней привязанностью сестры, возбуждала в ней тайное торжество, иногда сквозившее в теплом взгляде ее карих глаз. В трудные минуты жизни все трое с радостью оказывали друг другу различные услуги. Аллан чувствовал себя особенно обязанным Хобби: несколько лет назад тот раздобыл для него пятьдесят тысяч долларов на технические опыты и сооружение завода, дав при этом свое личное поручительство. Кроме того, в последнее время Хобби защищал интересы Аллана перед железнодорожным магнатом Ллойдом и содействовал предстоящей встрече. Он готов был сделать для Аллана все, что было Возможно, так как ценил его чрезвычайно высоко. Даже в ту пору, когда Аллан не создал еще ничего, кроме алмазной стали "алланит". Хобби обычно говорил своим знакомым: "А вы знаете Аллана, изобретателя "алланита"? Ну, вы о нем еще услышите!" Друзья встречались несколько раз в год. Алланы приезжали в Нью-Йорк, или же Хобби навещал их в Буффало. Летом они из года в год проводили вместе три недели в скромном имении Мод -- на ферме среди холмов Беркшира. Каждое свидание было для них большим событием. Они мысленно переносились на три-четыре года назад, и все радостные часы, проведенные вместе, воскресали в их памяти.

Всю эту зиму друзья не виделись, и тем радостнее была встреча. Они разглядывали друг друга с головы до пят, как большие дети, и каждый из них радовался, что застает другого в добром здоровье. Мод смеялась над щегольскими лакированными ботинками Хобби с носками из блестящей кожи, загнутыми словно рог носорога, а Хобби высказывал тоном знатока свои суждения о костюме Мод и новом фраке Аллана. Как обычно при свидании после продолжительной разлуки, они засыпали друг друга вопросами и болтали, ни на чем подробно не останавливаясь. С Хобби, как всегда, произошло множество удивительных и невероятных приключений, и теперь он перебирал их в памяти, перескакивая с одного на другое. Потом зашел разговор о концерте, о событиях дня и об общих знакомых.

-- Кстати, как вам нравится концертный зал? -- спросил Хобби с торжествующей улыбкой, так как он предугадывал ответ друзей.

Аллан и Мод не поскупились на похвалы. Они восторгались _всем_.

-- А фойе?

-- Grand [*великолепно -- англ.*], Хобби!

-- Только зал, на мой вкус, слишком пышен, -- заметила Мод. -- Мне бы хотелось, чтобы он был интимнее.

Архитектор добродушно улыбнулся:

-- Конечно, Мод! Это было бы правильно, если бы люди приходили сюда слушать музыку. Но ведь этого у них и в мыслях нет. Они приходят, чтобы чем-нибудь восхищаться и чтобы ими восхищались. "Создайте нам феерию, Хобби, -- сказал консорциум, -- зал должен затмить все, что было создано до сих пор!"

Аллану были понятны доводы Хобби. Но он удивлялся не столько декоративному блеску построенного Хобби зала, сколько смелой конструкции висячего кольца лож.

Хобби, польщенный, блеснул глазами.

-- Это было не так просто, -- сказал он. -- Тут пришлось поломать голову. Пока монтировали кольцо, все сооружение качалось при каждом шаге. Вот так... -- Хобби закачался на носках. -- Рабочие натерпелись страху.

-- Хобби! -- воскликнула Мод с преувеличенным испугом и отступила от барьера. -- Мне страшно.

Хобби, улыбаясь, прикоснулся к ее руке:

-- Не бойся, Мод. Я сказал моим ребятам: "Подождите, пока кольцо замкнется, тогда никакая сила, разве только динамит..." Алло! -- крикнул он вдруг вниз, в партер. Кто-то из знакомых, свернув программку рупором, окликнул его. И Хобби вступил в разговор, который мог бы слышать весь зал, если бы одновременно не велись везде такие же непринужденно громкие беседы.

Все уже заметили характерную голову Хобби. У него были самые светлые волосы во всем зале, блестящие серебристо-белокурые волосы, тщательно расчесанные на пробор и приглаженные, и веселое, худое, мальчишеское лицо ярко выраженного английского типа, с несколько вздернутым носом и почти белыми ресницами. В противоположность Аллану, он был узкоплеч и нежного, почти девического сложения. Мгновенно все бинокли обратились на него, и со всех сторон послышалось его имя. Хобби был одним из самых популярных людей в Нью-Йорке. Экстравагантность и талант быстро создали ему известность. Не проходило и недели, чтобы газеты не рассказывали про него нового анекдота.

В четыре года Хобби гениально изображал цветы, в шесть лет -- гениально рисовал лошадей (он мог за пять минут набросать на бумаге целые табуны дико скачущих коней), а теперь он был гением по части железа и бетона и строил небоскребы. У Хобби было немало любовных похождений, а в двадцать два года он уже проиграл в Монте-Карло состояние в сто двадцать тысяч долларов. Из года в год, несмотря на свои громадные доходы, он влезал в долги по самую макушку, но ни на секунду над этим не задумывался.

Хобби среди бела дня прокатился верхом на слоне по Бродвею. Это он год назад четыре дня "разыгрывал из себя миллионера" и отправился поездом "люкс" в Иеллоустонский парк, а вернулся оттуда погонщиком скота. Он побил рекорд продолжительности игры в бридж -- сорок восемь часов. Каждый вожатый трамвая знал его и был с ним чуть ли не на _ты_. Бесчисленные остроты Хобби переходили из уст в уста: он от природы был шутник и чудак. Вся Америка потешалась над шуткой, отпущенной им по поводу авиационного состязания между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Хобби принял участие как пассажир в полете известного миллионера и спортсмена Вандерштифта, и повсюду, где можно было заметить скопление народа, он сбрасывал с высоты восьмисот или тысячи метров записки с приглашением: "Поди сюда, нам надо с тобой поговорить"! Хобби сам был в таком восторге от этой шутки, что в течение всего двухдневного пути неутомимо повторял ее. Всего несколько дней назад он снова поразил Нью-Йорк необычайным, столь же гениальным, сколь и простым, проектом: "Нью-Йорк -- американская Венеция!" Он, Хобби, предлагал, ввиду того, что земля в деловом квартале очень вздорожала, построить посреди Гудзона, Ист-Ривера и нью-йоркской бухты гигантские небоскребы, целые улицы на бетонном основании, которые соединялись бы подъемными мостами, так что большие океанские пароходы могли бы свободно проходить под ними. "Гералд" опубликовал заманчивые рисунки и чертежи Хобби, и Нью-Йорк был опьянен этим проектом. Хобби один кормил целую ораву журналистов. День и ночь он старался "подавать о себе сигналы", -- он не мог жить без непрерывного публичного подтверждения своего существования.

Таков был Хобби. И наряду с этим он был самым талантливым и популярным архитектором Нью-Йорка.

Хобби оборвал свой разговор с партером и снова обратился к друзьям.

-- Расскажи, Мод, что поделывает маленькая Эдит? -- спросил он, хотя уже справлялся о девочке, своей крестнице.

Ничем нельзя было больше растрогать Мод, как подобным вопросом. В эту минуту она была в восторге от Хобби. Она покраснела и бросила на него благодарный, мечтательный взгляд своих карих ласковых глаз.

-- Я уже говорила тебе, Хобби, что Эдит с каждым днем становится все очаровательнее! -- с материнской нежностью в голосе ответила она, и глаза ее засияли радостью.

-- Ну, она ведь всегда была очаровательна.

-- Да, но ты не можешь себе представить, Хобби, какой она становится умницей! Она уже начинает говорить!

-- Расскажи ему историю с петухом, Мод! -- напомнил Аллан.

-- Ах да! -- И Мод, сияя счастьем, рассказала забавную маленькую историю, в которой ее девочка и петух играли главные роли. Все трое смеялись, как дети.

-- Нужно мне приехать взглянуть на нее, -- сказал Хобби. -- Через две недели я буду у вас. А в общем, ты говоришь, скучно было в Буффало?

-- Deadly dull! [Тоска смертная! (англ.)] -- быстро ответила Мод. -- Ох, до чего же скучно, Хобби! -- Она подняла тонкие брови, и в эту минуту у нее действительно был несчастный вид. -- Что Линдлеи переехали в Монреаль, ты ведь знаешь?

-- Да, это очень жаль.

-- Грэс Косат с осени в Египте.

И Мод поделилась с Хобби своими горестями. Как долго может тянуться день! И как скучен может быть вечер!

-- Ты ведь знаешь, Хобби, какой великолепный собеседник мой Мак! -- шутливо-укоризненным тоном добавила она. -- Я интересую его еще меньше, чем когда-либо. Иногда он по целым дням пропадает на заводе. Ко всем прелестям прибавилась еще целая армия каких-то экспериментальных буров, день и ночь сверлящих гранит, сталь и бог весть что еще. За этими бурами он ухаживает, как за больными, право, как за больными, Хобби! Ночью он бредит ими...

Аллан расхохотался.

-- Не мешай ему, Мод, -- сказал Хобби, подмигивая своими светлыми ресницами. -- Он знает, чего хочет. Надеюсь, ты, детка, не станешь ревновать его к каким-то бурам?

-- Я их просто ненавижу! -- воскликнула Мод. -- Не думай, что он поехал бы со мной в Нью-Йорк, если бы не дела.

-- Ну что ты, Мод! -- попытался успокоить ее Аллан.

Упрек в шутливом тоне, брошенный Мод, напомнил Хобби о самом важном, что он хотел сообщить другу. Он нахмурился и взял Аллана за лацкан фрака.

-- Послушай, Мак, -- понизив голос, сказал он, -- я опасаюсь, что ты сегодня напрасно приехал из Буффало. Старик Ллойд не совсем здоров. Час назад я говорил по телефону с Этель Ллойд, и она еще не знала, приедут ли они. Это какой-то злой рок!

-- Необязательно в конце концов встречаться именно сегодня, -- возразил Аллан, скрывая свое разочарование.

-- Я во всяком случае преследую его как дьявол, Мак! У него не будет ни часу покоя! Ну, до скорого свидания!

Через минуту Хобби был уже в одной из соседних лож и громко приветствовал сидевших там трех рыжеволосых девушек с матерью.

Худощавый дирижер с головой коршуна внезапно показался за пюпитром, и в литаврах зародился медленно нараставший гром. Фаготы начали вопрошающую, печальную и нежную мелодию, повторяя и усиливая ее, пока скрипки не отняли ее у них и не перевели на свой язык.

Мод снова отдалась во власть музыки.

Что же касается Аллана, то он сидел в кресле с равнодушным видом, хотя грудь его ширилась от внутреннего напряжения. Он жалел о своем приезде. Предложение Ллойда переговорить в ложе концертного зала не представляло собой ничего из ряда вон выходящего, если принять во внимание странный нрав богача, крайне редко принимавшего у себя дома, и Аллан без колебания согласился. Он был даже готов извинить Ллойда, если тот действительно болен. Но Аллан требовал величайшего уважения к своему проекту, грандиозность которого подчас подавляла его самого. О своем проекте, над которым он неустанно работал целых пять лет, он сообщил только двум лицам: Хобби, так же умевшему в случае надобности молчать, как он умел болтать, если его не связывали словом, и затем Ллойду. Даже Мод ничего не знала. Аллан считал, что Ллойд должен притащиться на Мэдисоновскую площадь при малейшей возможности, считал, что если Ллойд не сможет явиться, то он должен, по крайней мере, предупредить его и назначить встречу на другой день. Если Ллойд этого не сделает -- ну что ж! -- Аллан откажется иметь дело с этим больным и капризным богачом.

Возбуждающая тепличная атмосфера, насыщенная мощным содроганием музыки, ароматами духов, ослепительные потоки света и сверкание драгоценных камней обострили мысль Аллана до предельной ясности. Его голова работала быстро и точно, несмотря на то, что его вдруг охватило сильное волнение. Проект -- это все! Проект вознесет его или низвергнет. На опыты, на получение информации, на тысячи подготовительных работ он отдал все свое состояние, и если проект провалится, ему придется, говоря прямо, начинать карьеру сначала. Проект -- это вся его жизнь! Он вычислял свои шансы, как будто решал алгебраическую задачу, где каждый отдельный член есть результат предыдущих результатов. Прежде всего он мог заинтересовать своим проектом Стальной трест. Трест не выдержал конкуренции с сибирским железом и переживал неслыханный застой. Трест ухватится за проект -- можно поставить десять против одного! -- а не то Аллан поведет с ним борьбу не на жизнь, а на смерть. Он мог бы атаковать крупный капитал -- всех этих Морганов, Вандербильтов, Гульдов, Асторов, Макеев, Хэвеймайеров, Бельмонтов, Уитнеев и как их там еще зовут! Взять под обстрел группу руководящих банков. Наконец, если бы все это не помогло, он мог бы связаться с прессой.

Своей цели он достиг бы и окольными путями; собственно говоря, он вовсе не нуждался в Ллойде. Но с таким союзником, как Ллойд, это была бы выигранная битва, без него -- трудное наступление, когда надо отвоевывать каждый квадратный фут территории.

И Аллан, ничего не видя и не слыша, полузакрыв неумолимые глаза, разрабатывал мельчайшие подробности плана кампании...

Вдруг какой-то трепет прошел по залу, безмолвно предававшемуся гипнозу музыки. Головы зашевелились, ярче засверкали камни, замерцали стекла биноклей. Музыка как раз перешла в нежное пиано, и дирижер раздраженно оглянулся, услыхав шепот в публике. Очевидно, произошло нечто, имевшее над аудиторией большую власть, чем гипноз двухсот двадцати музыкантов, дирижера и бессмертного композитора.

В соседней ложе кто-то произнес приглушенным басом:

-- На ней Розовый бриллиант из сокровищницы Абдул-Хамида... Стоит двести тысяч долларов...

Аллан поднял глаза. В ложе напротив стало темно. Ллойд приехал!

В темной ложе едва виднелся знакомый всем нежный и тонкий профиль Этель Ллойд. Ее золотистые волосы можно было различить лишь по смутному мерцанию, а на левом виске (повернутом к публике) горел красноватым огнем большой бриллиант.

-- Обратите внимание на эту шею, этот затылок, -- зашептал мужской голос в соседней ложе. -- Видели вы когда-нибудь такой затылок? Говорят, архитектор Хобби... Ну да, блондин, который был тут рядом...

-- Ну, этому не трудно поверить! -- шепотом отозвался другой голос с чисто английским акцентом, и из ложи донесся тихий смех.

Задняя часть ложи Ллойда была отделена портьерой, и Аллан по одному жесту Этель заключил, что сам Ллойд находится там. Нагнувшись к Мод, он сказал ей на ухо:

-- Ллойд все-таки приехал, Мод!

Но Мод была поглощена музыкой. Она даже не поняла Аллана. Вероятно, она единственная в зале не знала, что Этель Ллойд появилась в своей ложе и что на ней был Розовый бриллиант. В порыве вызванного музыкой душевного волнения Мод, не глядя, протянула Аллану маленькую руку. Аллан взял ее и стал машинально гладить, в то время как тысячи быстрых, смелых мыслей проносились в его голове, а слух невольно ловил обрывки сплетен, шепотом передававшихся в соседней ложе.

-- Бриллианты? -- спросил тихий голос.

-- Да, -- шепотом ответил другой. -- Говорят, что он с этого начал... В австралийских копях.

-- Спекулировал?

-- По-своему. У него был трактир.

-- Вы говорите, у него не было своего участка?

-- У него был свой особый участок! -- с тихим смешком отозвался голос.

-- Не понимаю вас.

-- Так говорят. У него был свой собственный рудник, не стоивший ему ни одного цента... Вы ведь знаете, что рабочих тщательно обыскивают... Ну, они проглатывают бриллианты.

-- Нет, не знал...

-- Говорят, Ллойд... как содержатель трактира... что-то подмешивал в виски, чтобы вызвать у них морскую болезнь. Вот вам его рудник...

-- Невероятно!

-- Так говорят! А теперь он тратит миллионы на университеты, обсерватории, библиотеки...

-- Ну и ну! -- прошептал потрясенный собеседник.

-- При всем том он тяжело болен, боится людей. Бетонные стены толщиной в метр окружают его комнаты, чтобы к нему не доходил ни один звук... Как узник...

-- Ну и ну!

-- Ш-ш! -- Мод возмущенно повернула к ним голову, и голоса умолкли.

Во время антракта в ложе Ллойда показалась светлая голова Хобби. Он пожал руку Этель Ллойд как близкий знакомый.

-- Вы видите, я был прав! -- раздался низкий голос в соседней ложе. -- Хобби счастливчик! Правда, есть еще Вандерштифт...

Вскоре Хобби просунул голову в ложу Аллана.

-- Идем, Мак, -- проговорил он, -- старик хочет с тобой поговорить.

2

-- Это Мак Аллан! -- сказал Хобби, хлопнув Аллана по плечу.

Ллойд сидел, сгорбившись и опустив голову, в полутемной ложе, из которой видна была часть блестящего кольца лож, переполненных весело болтающими дамами и мужчинами. Он не поднял головы и, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Однако через небольшой промежуток времени он сказал медленно и сухо хриплым голосом:

-- Я искренне рад видеть вас, мистер Аллан. Я подробно изучил ваш проект. Он смел, он величествен, он осуществим. Все, что зависит от меня, я сделаю!

С этими словами он протянул Аллану руку -- короткую четырехугольную руку, вялую, усталую, мягкую, как шелк, и поднял голову.

Аллану пришлось напрячь все силы, чтобы скрыть ужас и отвращение, вызванные в нем лицом Ллойда, хотя Хобби и подготовил его к этому зрелищу.

Лицо Ллойда напоминало морду бульдога. Нижняя челюсть была несколько выдвинута вперед, ноздри представляли собою круглые дырки; слезящиеся, воспаленные глазки были косо врезаны в смуглое, высохшее и неподвижное лицо. Он был совершенно лыс. Отвратительные лишаи изъели и высушили шею, лицо и голову Ллойда; вялые мускулы и табачного цвета кожа обтягивала кости. Лицо Ллойда пугало людей: оно заставляло их бледнеть, чуть ли не падать в обморок, и только тот, у кого были крепкие нервы, мог спокойно глядеть в него. Это лицо походило на трагикомическую маску бульдога и вместе с тем вызывало страх, как ожившая голова мертвеца. Оно заставило Аллана вспомнить об индейских мумиях, которые он видел при постройке дороги в Боливии. Эти мумии сидели скорчившись в четырехугольных ящиках. Их головы высохли, за истлевшими губами сохранились оскаленные зубы. Глаза, сделанные из белых и темных камней, были до жути естественны.

Ллойд, знавший свойства своего лица, остался доволен впечатлением, произведенным на Аллана, и стал всматриваться в его черты своими, слезящимися глазами.

-- Действительно, -- повторил он, -- ни о чем, что было бы более сильным, чем ваш проект, мне не приходилось слышать, -- и он осуществим!

Аллан поклонился и выразил радость по поводу того, что этот проект заинтересовал мистера Ллойда. Настал решающий миг его жизни, и все же, к своему великому удивлению, он был совершенно спокоен. Волнение, которое

он испытывал, входя в ложу, прошло, и он мог ясно и дельно отвечать на короткие и точные вопросы Ллойда. Он сам не знал почему, но в присутствии этого человека, вид, карьера и богатство которого смутили бы тысячу других, он сразу почувствовал себя вполне уверенно.

-- Вы уже все подготовили, чтобы можно было завтра же предать проект гласности? -- спросил в заключение Ллойд.

-- Мне нужно еще три месяца.

-- Не теряйте же ни минуты! -- решительным тоном сказал Ллойд. -- В остальном можете всецело положиться на меня.

Он потянул Аллана за рукав и указал на свою дочь.

-- Этель Ллойд, -- представил он.

Аллан перевел взор на Этель, наблюдавшую за ним в течение всего разговора, и поклонился.

-- How do you do, Mr.Allan? [Здравствуйте, господин Аллан! (англ.)] -- оживленно заговорила Этель и, пристально глядя ему в глаза, протянула руку с естественностью и прямодушием, свойственными женщинам такого типа, к какому принадлежала она. -- Так вот он каков! -- помолчав, прибавила она с тонкой полушутливой улыбкой, стараясь скрыть свой интерес к Аллану.

Аллан смущенно поклонился, -- он не знал, как держать себя в обществе молодых дам.

Он заметил, что Этель была слишком напудрена. Она напоминала ему пастель, -- так нежны были краски ее лица, оттенок светлых волос, синева глаз и нежно-розовый цвет свежих губ. Она приветствовала его как важная дама, и вместе с тем в ее голосе звучало что-то детское, словно ей было не девятнадцать лет, как сказал ему Хобби, а только двенадцать.

Аллан пробормотал несколько вежливых слов, смущенная улыбка не сходила с его лица.

Этель продолжала внимательно рассматривать его, не то как влиятельная дама, чье внимание -- милость, не то как любопытное дитя.

Этель Ллойд была типичной американской красавицей. Она была стройна, гибка и притом женственна. Ее пышные волосы были того редкого нежно-золотистого цвета, который дамы, им не обладающие, всегда приписывают вмешательству краски. У нее были необычайно длинные ресницы, на которых остались следы пудры и благодаря которым ясные, синие глаза казались слегка подернутыми поволокой. Профиль, лоб, уши, затылок -- все было благородно, породисто и действительно прекрасно. Но на правой щеке уже заметны были признаки ужасной болезни, изуродовавшей ее отца. С подбородка к углам рта тянулись, как жилки листа, линии, почти скрытые пудрой, похожие на бледное родимое пятно.

-- Я люблю беседовать с дочерью о вещах, которые меня интересуют, -- снова начал Ллойд, -- и вы не должны сердиться, что я рассказал ей о вашем проекте. Она умеет молчать.

-- Да, я умею молчать! -- с живостью подтвердила Этель и улыбаясь кивнула прелестной головкой. -- Мы часами изучали ваши планы, и я столько говорила с папой о них, что и он воодушевился. И теперь он в восхищении от них, не правда ли, папа? (Маска Ллойда оставалась неподвижной.) Папа ваш поклонник, господин Аллан! Вы должны навестить нас. Придете?

Слегка затуманенный взор Этель был устремлен в глаза Аллана, и открытая, юная улыбка играла на ее красиво очерченных губах.

-- Вы очень любезны, мисс Ллойд! -- ответил Аллан. Веселая болтовня темпераментной девушки вызвала у него легкую улыбку.

Этель понравилась его улыбка. Она без стеснения остановила свой взгляд на его белых, крепких зубах и уже собиралась что-то сказать, но в этот миг шумно заиграл оркестр. Этель слегка коснулась колена отца, как бы извиняясь, что еще продолжает разговаривать (Ллойд был большим любителем музыки), и с важным видом шепнула Аллану:

-- Вы имеете во мне союзницу, мистер Аллан! Уверяю вас, я не допущу, чтобы папа изменил свое мнение, как это иногда с ним бывает. Я заставлю его двинуть ваше дело! До свидания!

Аллан ответил на ее рукопожатие вежливым, несколько равнодушным поклоном, слегка разочаровавшим Этель, и на этом закончился разговор, решивший дело его жизни и открывший новую эпоху во взаимоотношениях Старого и Нового Света.

Торжествующий и уверенный в себе, полный мыслей и чувств, вызванных этой победой, покинул Мак Аллан вместе с Хобби ложу Ллойда.

За дверью они натолкнулись на молодого человека лет двадцати, едва успевшего отскочить в сторону, чтобы дать им пройти. Очевидно, он пытался подслушать разговор в ложе Ллойда. Молодой человек улыбнулся, как бы прося тем самым прощения за свою провинность. Это был репортер "Геральда", -- ему была поручена светская хроника вечера. Он бесцеремонно остановил Хобби.

-- Мистер Хобби, -- спросил он, -- кто этот джентльмен?

Хобби остановился и весело подмигнул.

-- Вы его не знаете? -- переспросил он. -- Это Мак Аллан, владелец сталелитейных заводов в Буффало, изобретатель алмазной стали "алланит", чемпион Грин-Ривера по боксу и самый умный человек на свете.

Журналист рассмеялся.

-- Вы забыли о Хобби, господин Хобби! -- возразил он и, кивнув на ложу Ллойда, тихо, с почтительным любопытством, прибавил: -- Есть что-нибудь новое, господин Хобби?

-- Да, -- усмехнулся Хобби и пошел дальше. -- Вы будете поражены! Мы строим виселицу в тысячу футов вышиной; на ней четвертого июля [день празднования независимости Соединенных Штатов] будут повешены все газетные писаки Нью-Йорка.

Эта шутка Хобби на следующий день была напечатана в газете вместе с портретом (фальшивым) господина Мака Аллана, изобретателя алмазной стали "алланит", которого Ч.Х.Л. (Чарлз Хорэс Ллойд) принял в своей ложе, чтобы переговорить о миллионном предприятии.

3

Мод все еще наслаждалась музыкой. Но она не была в состоянии слушать с прежним благоговением. Она наблюдала за сценой в ложе Ллойда. Мод знала, что Мак подготовлял какое-то новое "большое дело", как он выражался. Какое-нибудь изобретение, проект, -- она никогда его об этом не спрашивала: машины, техника были ей совершенно чужды. Она понимала, как ценна для Мака деловая связь с Ллойдом, но втайне упрекала его за то, что именно этот вечер он выбрал для переговоров. Единственный вечер за всю зиму, когда он вместе с ней был на концерте! Она не могла понять, как можно во время такого концерта думать о делах. Подчас ей казалось, что она не на месте в этой Америке, где бизнес заслоняет все, и что за океаном, в Старом Свете, где люди еще умели отделять отдых от дела, она была бы счастливее. Но не только это тревожило Мод, -- тонкий, вечно стоящий на страже инстинкт любящей женщины заставлял ее опасаться, что "большое дело", все эти Ллойды и им подобные, с которыми Мак завяжет отношения, отвлекут от нее мужа еще больше, чем завод и деятельность в Буффало.

Мод нахмурила лоб: ее хорошее настроение омрачилось. Но затем ее лицо опять озарилось тихим весельем. Фугообразный пассаж, игривый и веселый, по какой-то загадочной ассоциации напомнил ей вдруг самые привлекательные, самые радостные для матери моменты жизни ее ребенка. Ей захотелось прочесть в звуках музыки предсказание судьбы ее маленькой девочки, и вначале все шло великолепно. Да, такой счастливой будет ее Эдит, так потечет ее жизнь! Но шаловливое, солнечное веселье внезапно сменилось тягучим, тяжелым маэстозо-состенуто, пробуждавшим тоску и мрачные предчувствия.

Сердце Мод сжалось. Нет, пусть никогда не уподобится этим звукам жизнь ее маленькой, чудесной девочки, с которой она играла, как ребенок, и за которой ухаживала, как опытная, старая женщина. Как глупо забавляться подобными фантазиями! Она мысленно склонилась над малюткой, чтобы защитить ее своим телом от мрачной, унылой музыки, и через некоторое время ей действительно удалось направить свои мысли по другому руслу.

Музыка сама пришла на помощь Мод. Новая волна звуков, бурно нарастая, наполнила ее заглушившим все мысли неясным томлением, пламенным и прекрасным. Она, как прежде, вся обратилась в слух. Проникнутые неистовой страстью звуки устремились вслед каким-то горячим, манящим голосам, и Мод понеслась, как сорванный лист на крыльях вихря. Но дикая, задыхающаяся страсть внезапно разбилась о неведомую преграду, как дробится об утес волна, и грохот прибоя рассыпался в рыдающих, жалобных, робких и трепетных зовах.

Мод казалось, что она должна остановиться, должна подумать о чем-то неведомом, таинственном и непостижимом. Сменившая ураган тишина была так пленительна, что в партере вдруг замер шелест вееров. Снова запели в оркестре диссонирующие голоса, неуверенные, замедленные, с трудом пробивающиеся к мелодии. Они сделали Мод задумчивой и печальной. Насмешливые фаготы и страдавшие всей душой виолончели словно беседовали с ней, и Мод казалось, что она вдруг поняла всю свою жизнь. Она не была счастлива, несмотря на то, что Мак ее боготворил и она безумно любила его, -- нет, нет, что-то было не так, чего-то не хватало...

В этот миг, именно в этот миг Мак дотронулся до ее плеча и шепнул ей на ухо:

-- Прости, Мод, в среду мы едем в Европу. Мне нужно еще многое подготовить в Буффало. Если мы сейчас уйдем, мы еще поспеем к ночному поезду. Как ты на это смотришь?

Мод не ответила. Она сидела молча и неподвижно. Волна крови поднялась в ней, залила ей шею, лицо. Глаза медленно наполнились слезами. Так прошло несколько минут. Она чувствовала острую обиду на Мака. Как бесчеловечно было вырывать ее из концерта лишь потому, что этого требовали дела!

Аллан заметил, что дыхание Мод стало прерывистым и щеки зарделись. Его рука еще покоилась на ее плече. Он ласково погладил Мод и шепнул:

-- Ну, останемся, дорогая, я только так спросил. Мы отлично можем выехать и завтра первым поездом.

Однако у Мод уже было окончательно испорчено настроение. Музыка теперь угнетала ее, внушала ей страх и беспокойство. Мод еще колебалась, уступить ли Аллану. Но, случайно заметив бесцеремонно направленный на нее бинокль Этель Ллойд, она тотчас стала собираться. Она заставила себя улыбнуться в надежде, что Этель Ллойд заметит эту улыбку, и Аллан был поражен ее нежным, еще влажным взором, обращенным на него.

-- Пойдем, Мак!

Ей было приятно, что Мак заботливо помог ей встать, и, весело улыбаясь, с виду в превосходном настроении, она покинула ложу.

4

Они подъехали к Центральному вокзалу в ту минуту, когда поезд отходил от перрона.

Мод запрятала свои маленькие руки в карманы шубки и из-за поднятого воротника кинула взгляд на Мака.

-- Вот твой поезд и умчался, Мак! -- смеясь сказала она, нисколько не скрывая своего злорадства.

Позади стоял их слуга Леон, старик китаец, которого все называли Лайон [Lion ("лайон") -- лев (англ.)]. Лайон держал в руках чемодан и с растерянным выражением на дряблом, морщинистом лице смотрел поезду вслед.

Аллан вынул часы и кивнул.

-- Жаль, -- добродушно сказал он. -- Лайон, мы вернемся в гостиницу.

То, что они опоздали к поезду, сказал Мак в автомобиле, огорчало его из-за Мод, -- ведь ей, вероятно, предстоит много возни с упаковкой вещей.

Мод улыбнулась.

-- Почему ты думаешь, -- спросила она, не глядя на Мака, -- что я вообще поеду с тобой?

Аллан удивленно посмотрел на нее:

-- Я надеюсь, что ты поедешь, Мод!

-- Я, право, не знаю, можно ли зимой ехать с Эдит. А без Эдит я ни за что не поеду.

Аллан задумчиво смотрел перед собой.

-- Это мне не пришло в голову, -- нерешительно произнес он, помолчав. -- Правда, Эдит! Но я думаю, что все-таки это можно было бы устроить.

Мод не ответила. Она ждала. На этот раз он не отделается так легко!

-- На пароходе ведь совсем как в отеле, Мод, -- добавил Аллан после небольшой паузы, -- я взял бы каюты "люкс", чтобы вам было удобнее.

Мод прекрасно знала Мака. Он не станет уговаривать, не станет просить поехать с ним. Он не скажет больше ни слова, но и не обидится, если она отправит его одного.

Мод видела, что он уже старается освоиться с этой мыслью.

Аллан задумчиво и разочарованно смотрел перед собой. Что ее отказ был лишь комедией, не приходило в голову ему, никогда не разыгрывавшему комедий и всегда изумлявшему Мод искренностью и простотой своей натуры.

С внезапным приливом нежности она схватила его за руку.

-- Конечно, я поеду с тобой, Мак! -- сказала она, ласково взглянув на него.

-- Ну вот и хорошо! -- ответил он, благодарно пожимая ей руку.

Мод преодолела свое дурное настроение, и от этого ей стало радостно и легко на душе. Она принялась оживленно и весело болтать. Говорила о Ллойде и его дочери.

-- Этель была к тебе благосклонна, Мак? -- спросила она.

-- Она действительно была со мной очень любезна, -- ответил Аллан.

-- Какое она произвела на тебя впечатление?

-- Она показалась мне очень непринужденной, естественной, даже немного наивной, словно ребенок.

-- Вот как! -- Мод рассмеялась. Она сама не могла понять, почему ответ Мака опять несколько восстановил ее против него. -- Ах, Мак, хорошо же ты понимаешь женщин! Господи! Этель Ллойд -- естественна! Этель Ллойд -- наивна! Ха-ха-ха!

Аллан рассмеялся вслед за ней.

-- Право, она показалась мне естественной! -- уверял он.

Но Мод вошла в азарт:

-- Нет, Мак, я не слыхала ничего более смешного! Эх вы, мужчины! На свете нет более неестественного существа, чем Этель Ллойд, Мак! Ее естественность -- это ее величайшее искусство. Поверь мне, Мак, Этель очень хитрая, кокетливая женщина, и у нее рассчитано все. Ей хотелось бы околдовать всех мужчин. Поверь мне, я ее знаю. Ты обратил внимание на ее глаза сфинкса?

-- Нет! -- Аллан говорил правду.

-- Нет?.. Она как-то сказала Мэбел Гордон: "Все говорят, что у меня глаза сфинкса". А ты находишь ее наивной! Боже мой, она ведь ужасно тщеславна, эта красавица. По меньшей мере раз в неделю ее портрет появляется в газете. "Этель Ллойд сказала то, Этель Ллойд сказала это". Она день и ночь рекламирует себя, совсем как Хобби. Даже своей благотворительностью она пользуется для рекламы.

-- А может быть, у нее в самом деле доброе сердце, Мод? -- вставил Аллан.

-- У Этель Ллойд? -- Мод рассмеялась. Потом вдруг заглянула Маку в глаза, держась за никелированные ручки мчавшегося автомобиля. -- Этель действительно очень красива?

-- Да, она красива. Но почему она так пудрится?

Мод была разочарована.

-- Ты влюбился в нее, Мак? Как все другие? -- тихо спросила она с притворным страхом в голосе.

Аллан рассмеялся и привлек ее к себе.

-- Ты глупышка, Мод! -- воскликнул он и прижал ее лицо к своей щеке.

Теперь Мод была довольна. Почему так раздражает ее сегодня каждый пустяк? Какое ей дело до Этель Ллойд?

Помолчав немного, она искренним тоном сказала:

-- Может быть, у Этель в самом деле доброе сердце. Я даже верю этому.

Но, проговорив эти слова, она почувствовала, что в глубине души не верит в доброту Этель. Нет, сегодня она ничего не могла с собой поделать.

После обеда, поданного им в номер, Мод пошла спать, Аллан же остался в гостиной писать письма. Но Мод не удалось заснуть. Она с утра была на ногах и переутомилась. От сухого, жаркого воздуха в номере ее слегка

лихорадило. Переживания дня, дорога, концерт, людская толпа, Этель Ллойд -- все это опять завертелось в ее усталой голове. Она снова слышала музыку и голоса. Внизу гудели автомобили. Где-то вдали грохотали поезда подземки.

Едва она задремала, как ее разбудило щелканье в трубах парового отопления. Она слышала, как-подымался и тихо жужжал лифт. Через дверную щель виден был свет.

-- Ты все еще пишешь, Мак? -- почти беззвучно прошептала она.

-- Go on and sleep! [Спи! (англ.)] -- ответил Мак.

Но его голос почему-то прозвучал таким басом, что она сквозь лихорадочную дремоту не могла удержаться от смеха.

Мод заснула -- и вдруг почувствовала, что вся похолодела. Она очнулась в страшном беспокойстве, в непонятном страхе, стала вспоминать, что могло вызвать это ощущение холода, в тут же поняла. Ей снилось: она входит в комнату Эдит, и кто же сидит там? Этель Ллойд. Она сидит ослепительно прекрасная, с бриллиантом на лбу и заботливо укладывает маленькую Эдит, словно она ее мать...

Мак сидел без пиджака в углу дивана и писал. Скрипнула дверь, и Мод, еще полусонная, вошла в своем пеньюаре, жмурясь от света.

Ее волосы блестели. Она казалась цветущей и юной, как девушка, от нее веяло свежестью. Но глаза беспокойно блестели.

-- Что с тобой? -- спросил Аллан.

Мод смущенно улыбнулась.

-- Ничего, -- ответила она. -- Я видела глупый сон. -- Она уселась в кресло и пригладила волосы. -- Почему ты не ложишься, Мак?

-- Эти письма должны уйти с завтрашним пароходом. Ты простудишься, дорогая!

Мод покачала головой.

-- О нет, -- сказала она. -- Напротив, здесь очень жарко. -- Она смотрела на Мака теперь уже ясными глазами. -- Послушай, Мак, -- продолжала она, -- почему ты не рассказываешь мне о своих делах с Ллойдом?

Аллан улыбнулся и медленно ответил:

-- Ты меня не спрашивала, Мод. Да я и не хотел говорить, пока дело еще висело в воздухе.

-- А теперь ты мне расскажешь?

-- Конечно, Мод!

Он принялся объяснять ей, о чем шла речь. Откинувшись на спинку дивана, добродушно улыбаясь, он самым спокойным образом излагал ей свой проект, как будто он собирался строить всего лишь какой-нибудь мост через Ист-Ривер. Мод сидела в своем ночном одеянии изумленная, непонимающая. Но, разобравшись, она не переставала изумляться. Ее глаза открывались все шире и сверкали все ярче. Голова пылала. Она вдруг поняла смысл всей его работы за последние годы, значение его опытов, моделей и чертежей. Она поняла и то, почему он торопился с отъездом: ему нельзя было терять ни минуты. Поняла, почему все письма должны быть отправлены с завтрашним пароходом. Ей казалось, что она снова видит сон...

Аллан кончил, а она продолжала сидеть перед ним с широко раскрытыми глазами, излучавшими изумление и восторг.

-- Ну вот ты и узнала все, крошка Мод! -- сказал Аллан и попросил ее пойти спать.

Мод подошла к нему, крепко обняла и поцеловала в губы.

-- Мак, мой Мак! -- пролепетала она.

Когда же Аллан вновь попросил ее лечь, она тотчас послушалась и вышла, совершенно опьяненная. У нее вдруг мелькнула мысль, что творение Мака не менее величественно, чем симфонии, которые она сегодня слушала, не менее величественно, но только в другом роде.

К удивлению Мака, несколько минут спустя Мод пришла опять. Она принесла с собой одеяло. Шепнув мужу: "Работай, работай!" -- она свернулась калачиком рядом с ним на диване и, положив ему голову на колени, заснула.

Аллан прервал работу и взглянул на жену. Он нашел свою маленькую Мод прекрасной и трогательной. Тысячу раз готов он был отдать за нее свою жизнь.

Потом он снова взялся за перо.

5

В следующую среду Аллан, Мод и Эдит отплыли на быстроходном немецком пароходе в Европу. Хобби сопровождал их. Он поехал прокатиться с ними "на недельку".

Мод была в чудесном настроении, -- она снова чувствовала себя девушкой. Бодрое расположение духа не покидало ее за все время пути через зимний, негостеприимный океан, несмотря на то, что с Маком она виделась только за столом и по вечерам. Закутанная в меха, в тонких лакированных туфельках, она прохаживалась взад и вперед по холодной палубе, смеясь и весело болтая.

Хобби был самым популярным пассажиром на пароходе. Он чувствовал себя дома везде: от кают врачей и кассиров до священного капитанского мостика. Не было угла на всем судне, где с раннего утра до позднего вечера не раздавался бы его звонкий, чуть гнусавый голос.

Аллана же не было ни видно, ни слышно. Он работал по целым дням. Две пароходные машинистки во все время путешествия были заняты по горло перепиской его корреспонденции. Сотни писем лежали незапечатанные с надписанным адресом в его каюте. Он готовился к первой битве.

Прежде всего они направились в Париж. Оттуда -- в Кале и Фолкстон, где, после того как Англия преодолела свой смехотворный страх перед вторжением, которое можно было бы пресечь одной батареей, началась постройка туннеля под Ла-Маншем. Здесь Аллан провел три недели. Потом они поехали в Лондон, Берлин, Эссен, Лейпциг, Франкфурт и снова в Париж. Во всех этих местах Аллан жил по нескольку недель. До обеда он работал один, после обеда ежедневно совещался с представителями крупных фирм, инженерами, техниками, изобретателями, геологами, океанографами, статистиками, светилами в самых разных областях знаний. Это была армия лучших умов всех европейских стран: Франции, Англии, Германии, Италии, Норвегии, России.

По вечерам, если не было гостей, он ужинал наедине с Мод.

Мод все еще была в прекрасном настроении. Ее оживляла атмосфера труда и предприимчивости, окружавшая Мака. Три года назад, вскоре после свадьбы, они предприняли почти точно такое же путешествие, и тогда она очень сердилась, что он большую часть времени отдавал чужим людям и каким-то непонятным работам. Теперь, когда ей стал ясен смысл всех этих совещаний и работ, ее отношение к ним, конечно, совершенно изменилось.

У Мод было много досуга, и она распределяла свое время самым тщательным образом. Часть дня она посвящала ребенку, потом, -- где бы они ни находились, -- осматривала музеи, храмы и другие достопримечательности. Во время своего первого путешествия она не часто могла доставить себе подобное удовольствие. Мак, конечно, сопровождал ее всюду, куда ей хотелось пойти, но она скоро почувствовала, что его не слишком интересовали все эти великолепные картины, скульптуры, старинные ткани и украшения. Он любил осматривать машины, заводы, большие промышленные сооружения, дирижабли, технические музеи, но ведь в этом она ничего не смыслила...

Теперь же у Мод было много свободного времени, и она восторгалась тысячью великолепных вещей, которые так привлекали ее в Европе. Она пользовалась всяким случаем, чтобы пойти в концерт или театр. Она насыщалась впечатлениями, которых ей недоставало в Америке. Часами бродила она по старым улицам, по узким переулкам, фотографировала каждую лавчонку, казавшуюся ей "восхитительной", и каждую старую, покосившуюся крышу. Она покупала книги, репродукции и открытки с видами старых и новых зданий. Открытки предназначались Хобби, который ее об этом просил. Она прилагала много стараний, чтобы собрать подходящий материал, но ведь для Хобби, которого она любила, ей никакой труд не казался тяжелым.

В Париже Аллан оставил ее на неделю одну. Близ Нанта, в Ле-Сабль-д'Олонне, на берегу Бискайского залива, у него была назначена встреча с землемерами и целым отрядом агентов. Потом вместе с землемерами, инженерами и агентами они отплыли к Азорским островам, где Аллан больше трех недель работал на островах Фаяль, Сан-Жоржи и Пику, в то время как Мод наслаждалась вместе с Эдит самой прекрасной весной в своей жизни. С Азорских островов единственными пассажирами на грузовом пароходе (Мод была этим особенно довольна) они пересекли Атлантический океан, направляясь к Бермудским островам. Здесь в Гамильтоне они, к своей великой радости, встретили Хобби, предпринявшего это маленькое путешествие, чтобы повидаться с ними. Дела на Бермудских островах были быстро закончены, и в июне они вернулись в Америку. Аллан снял виллу в Бронксе и продолжал ту же напряженную деятельность, что и в Лондоне, Париже и Берлине. Ежедневно он совещался с агентами, инженерами, учеными со всех концов Соединенных Штатов. Его частые долгие беседы с Ллойдом обратили на него внимание прессы. Журналисты принюхивались, как гиены, почуявшие падаль. Слухи о каком-то доселе неслыханном предприятии носились по Нью-Йорку. Но Аллан и его доверенные лица молчали. Мод, у которой хотели выведать тайну, смеялась и тоже молчала.

В конце августа подготовительные работы были закончены. Ллойд разослал тридцати главным представителям капитала, крупной промышленности и банков приглашения на конференцию; эти приглашения он написал собственноручно и отправил их со специальными курьерами, чтобы подчеркнуть значение совещания.

Знаменательная конференция состоялась восемнадцатого сентября в отеле "Атлантик", на Бродвее.

6

В эти дни Нью-Йорк был охвачен нестерпимым зноем, и Аллан решил устроить конференцию на крыше отеля.

Большинство приглашенных жило вне города, и некоторые из них прибыли еще накануне, остальные -- в течение дня.

Они прикатили в громадных запыленных дорожных автомобилях, с женами, дочерьми и сыновьями, из своих летних резиденций в Вермонте, Нью-Гэмпшире, Мэне, Массачусетсе и Пенсильвании. Молчаливые, неприступные джентльмены примчались из Сент-Луиса, Чикаго и Цинциннати в курьерских поездах, не обращавших внимания ни на какие станции. Роскошные яхты стояли на Гудзоне. Три жителя Чикаго -- Килгаллан, Мюлленбах и Ч.Моррис -- прибыли воздушным экспрессом, пролетевшим семьсот миль от Чикаго до Нью-Йорка за восемь часов, а спортсмен Вандерштифт под вечер спустился на крышу отеля "Атлантик" на своем моноплане. Иные пришли в отель пешком, как незаметные приезжие, со скромным портфелем в руках.

Но они пришли. Ллойд позвал их по делу первостепенной важности, и солидарность, которую деньги скрепляют больше, чем кровное родство, не позволяла им уклониться. Они явились не только потому, что чуяли выгодное дело (могло ведь даже случиться, что от них потребовали бы жертв!), а прежде всего потому, что рассчитывали помочь осуществлению проекта, который мог дать пищу духу предприимчивости, создавшему их величие. В своем

послании Ллойд назвал этот таинственный проект "самым великим и самым смелым проектом всех времен". Этого было бы достаточно, чтобы вытащить их даже из ада, ибо созидание новых предприятий было для них почти так же важно, как сама жизнь.

Столь многолюдный съезд финансовых воротил не мог остаться незамеченным, так как каждый их шаг немедленно регистрировался с помощью сложной системы сигнализации. Уже с утра биржу слегка лихорадило. Правильно и вовремя сделанная ставка могла теперь принести состояние! Пресса опубликовала имена прибывших в отель "Атлантик", не забыв прибавить, сколько каждый из них "стоил". К пяти часам вечера общая цифра составляла уже миллиарды. Во всяком случае предстояло нечто из ряда вон выходящее -- гигантская, битва, капиталов! Некоторые газеты делали вид, будто их, представители только что вернулись с завтрака у Ллойда и по горло полны информацией, но Ллойд, мол, зажал им рот. Другие шли дальше и сообщали, что их друг Ллойд доверил им за десертом. Не предстоит, писали они, ничего особенного: речь идет об электрической однорельсовой скоростной дороге, которую собираются проложить от Чикаго до Сан-Франциско; сетью воздушных сообщений предполагают покрыть все пространство Соединенных Штатов, чтобы в любой город можно было полететь так же просто, как теперь в Бостон, Чикаго, Буффало и Сент-Луис; план Хобби превратить Нью-Йорк в американскую Венецию близок к осуществлению.

Репортеры шныряли вокруг отеля, как ищейки на слежке. Они продавливали каблуками ямы в размягченном асфальте Бродвея и до тех пор таращили глаза на все тридцать шесть этажей отеля "Атлантик", пока блеск оштукатуренных стен не вызывал в их мозгу галлюцинаций.

Одному пройдохе пришла в голову гениальная мысль пробраться в отель в качестве монтера телефонной сети, -- и не только в отель, но даже в комнаты миллиардеров. Здесь он стал возиться с телефонными аппаратами, надеясь подхватить какое-нибудь словечко. Но управляющий отелем обнаружил репортера и вежливо указал на то, что все аппараты в порядке.

Излучая зной, распространяя нервную атмосферу ожидания, высился над площадью белостенный безмолвный гигант. Наступил вечер, а он все еще безмолвствовал. Уже попавшийся раз пройдоха с отчаяния решил, прилепив усы, вернуться в отель в роли механика Вандерштифта, -- ему, мол, понадобилось кое-что проверить в находящемся на крыше моноплане. Но управляющий, вежливо улыбаясь, сказал, что аппарат Вандерштифта для беспроволочного телеграфирования также в полном порядке.

Тогда отчаянный репортер вышел на улицу и внезапно куда-то исчез, чтобы изобрести что-нибудь новое. Через час он подъехал в качестве туриста на автомобиле, полном чемоданов, оклеенных этикетками, и потребовал комнату в тридцать шестом этаже. Но так как тридцать шестой этаж был занят прислугой, ему пришлось удовлетвориться комнатой No 3512, которую управляющий предложил с предупредительной деловитостью. Тут репортер дал бою китайцу взятку с тем, чтобы тот поставил на крыше среди посаженных в кадках растений едва заметный аппарат, величиной не больше кодака. Однако репортер не принял во внимание, что "алланит" -- твердая сталь, которую не пробивает никакой снаряд.

Аллан дал точные инструкции, и управляющий поручился, что они будут выполнены. Как только все приглашенные собрались в саду на крыше, лифт перестал подниматься выше тридцать пятого этажа. Боям было приказано не покидать сада до ухода последнего гостя. Лишь шести представителям прессы и трем фотографам разрешен был вход (Аллан нуждался в них столько же, сколько они в нем), но лишь после того, как они дали честное слово, что не будут сноситься во время конференции с внешним миром.

За несколько минут до девяти Аллан сам явился на крышу, -- он должен был убедиться, что все его распоряжения исполнены. Он сразу же заметил среди веток лаврового дерева пронесенный контрабандой беспроволочный телефон, и через четверть часа пройдоха получил его в изящно завязанном пакете, посланном с нарочным в номер 3512. Собственно говоря, репортер не был удивлен, так как в приемник ясно слышал, как недовольный голос сказал: "Уберите эту штуку!"

С девяти часов зашевелился лифт.

Приглашенные, обливаясь потом, пыхтя, выбирались из коробки отеля, раскаленной, несмотря на все охлаждающие приспособления. Из ада они попадали в чистилище. Каждый выходящий из лифта отскакивал от пышущей жаром стены и торопливо снимал пиджак, предварительно спросив разрешения у присутствующих дам. Дамы эти были: Мод, веселая, цветущая, вся в белом, и миссис Браун, старая, маленькая, бедно одетая женщина с желтым лицом и недоверчивым взором глуховатых скряг. Это была самая богатая женщина Соединенных Штатов, печально известная ростовщица.

Приглашенные все без исключения были знакомы друг с другом. Они встречались в разных боях, годами сражались плечо к плечу или друг против друга. Их взаимное уважение было не слишком велико, но они ценили Друг друга. Все они были уже седые или с проседью, солидные, важные, величаво спокойные, точно осень; у большинства из них было добродушное, приветливое, даже немного детское выражение глаз. Они стояли группами, болтали, шутили или прохаживались парами взад и вперед, беседуя вполголоса. Молчаливые, неприступные джентльмены спокойно уселись в английские кресла и холодно, задумчиво, с недовольным выражением лица смотрели на разостланный на полу персидский ковер. Время от времени они поглядывали на часы и на лифт, все еще поднимавший запоздавших...

Внизу клокотал Нью-Йорк, и, казалось, от этого клокотания удваивался зной. Нью-Йорк потел, как боец после схватки. Он пыхтел, как паровоз, проделавший свои триста миль и отдыхавший в депо. Автомобили, вязнувшие в мягком асфальте мостовых, гудели и шипели в ущелье Бродвея; трамвайные вагоны нагоняли друг друга, давали

сигналы; откуда-то издали доносился пронзительный звон: по улице мчались пожарные. Гул, как от гигантских колоколов, стоял в воздухе и смешивался с отдаленными криками, как будто где-то вдали убивали толпы людей.

Темную знойную ночь озаряли сверкавшие огни, и на первый взгляд трудно было определить, светили они с неба или с земли. С крыши был виден кусок двадцатикилометрового ущелья Бродвея, делившего весь Нью-Йорк на две части. Оно зияло, как раскаленная плавильная печь, где взметались разноцветные искры, а по дну неслись микроскопические частички золы -- люди. Ближайшая боковая улица ослепляла, словно поток жидкого свинца. Над более отдаленными поперечными улицами повис серебристый туман. Призрачно-белые тянулись ввысь одинокие небоскребы, залитые огнями площадей. В других местах группы домов-башен тесно жались друг к другу, мрачные, безмолвные, как могильные камни, вознесшиеся над затерянными внизу приземистыми карликовыми хижинами в двенадцать и пятнадцать этажей. В отдалении на небе мерцали уходящие ввысь бесчисленные линии освещенных окон, самих же зданий не было видно. То тут, то там над сорокаэтажными башнями полыхало зарево: отсвет садов на крышах "Реджиса", "Метрополитена", "Уолдорф-Астории", "Рипэблика". На горизонте тлело кольцо тусклых пожаров: Хобокен, Джерси-сити, Бруклин, Восточный Нью-Йорк. В расселине между двумя темными небоскребами каждую минуту вспыхивал двойной луч, как световые нити электрической искры, проскакивавшей от стены к стене -- надземная дорога Шестой улицы.

Отель был окружен ночным фейерверком: беспрерывно с улиц взлетали к небу световые фонтаны и снопы разноцветных лучей. Молния разорвала сверху донизу небоскреб и зажгла гигантский башмак. Запылал дом, и в пламени появился красный "Даремский бык" -- марка курительного табака. Ракеты мчались ввысь, взрывались и чертили заклинания. Фиолетовое солнце, как обезумевшее, кружилось высоко в воздухе и сыпало искры над Манхэттеном. Бледные конусы прожекторов тянулись к горизонту, освещая белые пустыни домов. Высоко в небе над сверкавшим Нью-Йорком стояли бледные, незаметные, несчастные, побежденные звезды и луна.

Из Баттери приплыл рекламный дирижабль с мягким жужжанием пропеллеров и двумя большими совиными глазами. А на животе совы сменялись слова: "Здоровье! -- Успех! -- Влияние! -- Богатство! -- Пайн-стрит, 14!"

Внизу же, на глубине тридцати шести этажей, вокруг громады отеля колыхалось море шляп. Репортеры, агенты, маклеры, зеваки в ослепительном, скрадывавшем тени световом потоке нетерпеливо сновали взад и вперед, обратив взоры к гирлянде огней висячего сада. Сквозь лихорадочную сумятицу, бушевавшую вокруг отеля, ясно доносились наверх выкрики бродвейских крыс-газетчиков: "Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!" "Уорлд" в последнюю минуту пустил в ход свой последний и лучший козырь и заткнул за пояс все остальные газеты. "Уорлд" был всеведущ и в точности знал содержание проекта, который обсуждали потевшие наверху миллиардеры: это проект подводной почты-молнии! "A.-E.-L.M.! -- America-Europe -- Lightning Mail!"

Из Америки в Европу будут проложены мощные трубы, и по ним с бешеной скоростью полетят письма, точно так же, как давлением воздуха они пересылаются по подземным трубам из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Через Бермудские и Азорские острова! Весь путь -- три часа! ("Уорлд", как мы видим, точно проследил маршрут путешествия Аллана.)

Даже самые спокойные нервы на крыше отеля не могли не поддаться влиянию лихорадочно взволнованной улицы, бурлившего и сверкавшего Нью-Йорка и зноя. Чем дольше приходилось ждать, тем сильнее охватывало всех волнение, и они легко вздохнули лишь тогда, когда белокурый Хобби с важным видом открыл собрание.

Размахивая телеграммой, Хобби сказал, что Ч.Х.Ллойд сожалеет о невозможности для него из-за болезни лично приветствовать собравшихся. Ллойд поручил ему познакомить их с господином Маком Алланом, долголетним сотрудником компании "Эдисон-Уоркс" и изобретателем алмазной стали "алланит".

-- Вот он! -- Хобби указал на Мака, который сидел рядом с Мод в соломенном кресле, без пиджака, как и все присутствующие. Господин Аллан желает им кое-что сообщите Он намерен предложить проект, который, как известно, Ч.Х.Ллойд назвал самым великим и самым смелым проектом всех времен. У господина Аллана хватит ума и силы, чтобы привести проект в исполнение, но для этого ему необходимы их деньги.

-- Go on, Mac! [Начинай, Мак! (англ.)] -- добавил он, обращаясь к Аллану.

Аллан поднялся.

Но Хобби жестом остановил его и, бросив взгляд на телеграмму, добавил:

-- Я забыл сказать... В случае согласия собрания осуществить проект Ч.Х.Ллойд подписывается на двадцать пять миллионов долларов.

-- Now, my boy! [Ну, мой мальчик! (англ.)] -- шепнул он Аллану.

Аллан занял место Хобби. Тишина становилась удушливой и гнетущей. Улица волновалась все больше и шумнее. Все взоры были обращены на Аллана: так вот как выглядит тот, кто утверждает, что может сообщить им нечто необыкновенное. (Мод от напряжения и страха даже открыла рот.) Аллан ничем не выразил аудитории своего почтения. Он обвел собрание спокойным взглядом, и никто не заметил охватившего его острого возбуждения. Не пустяк было сунуть голову в пасть этим людям, и к тому же он был что угодно, только не оратор. Впервые довелось ему говорить перед столь большим и изысканным собранием. Однако голос его с самого начала звучал ясно и спокойно.

Он начал с того, что боится разочаровать собрание после заинтриговавших всех слов Ч.Х.Ллойда. Его проект едва ли может быть признан более грандиозным, чем Панамский канал или соединяющий Цейлон с Индией мост сэра Роджерса через Полкский пролив. Его проект, собственно говоря, даже прост.

Аллан вынул из широкого кармана брюк кусок мела и провел две черты на стоявшей перед ним доске. Вот это Америка, а это Европа! Он обязуется в пятнадцать лет построить подводный туннель, который соединит оба

материка и по которому пойдут поезда, покрывающие расстояние между Америкой и Европой в двадцать четыре часа! В этом и заключается его проект.

В этот миг вспыхнул магний, который держали наготове фоторепортеры, открывшие свой огонь, и Аллан сделал короткую паузу. С улицы доносился шум, -- там знали, что наверху началось сражение.

Вначале проект Аллана, знаменовавший эпоху в истории двух материков и необычайный даже для этого века прогресса, по-видимому, не произвел на слушателей ни малейшего впечатления. Кое-кто был даже разочарован, -- им показалось, что они уже когда-то слышали об этом проекте, он носился в воздухе, как многие другие. И все же никто не мог бы пятьдесят -- да что там говорить! -- двадцать лет назад предложить его без риска вызвать смех. Здесь были люди, которые за несколько мгновений, нужных для того, чтобы завести свои часы, зарабатывали больше, чем другие за месяц, здесь были люди, которые не дрогнули бы, если бы завтра наша планета разорвалась, как бомба, но здесь не было ни одного, кто позволил бы, чтобы его заставили скучать. И этого они боялись больше всего, -- ведь, право, Ч.Х.Ллойд тоже способен ошибиться! Этот малый мог бы преподнести собранию какую-нибудь выкопанную им старую историю, вроде орошения Сахары или что-нибудь подобное. Его проект, по крайней мере, не был скучен. А это уже хорошо! Молчаливые, неприступные джентльмены вздохнули с облегчением.

Аллан и не ждал, что ошеломит аудиторию своим проектом, и был вполне доволен впечатлением, произведенным началом доклада. Пока он не имел основания требовать большего. Свою идею он мог бы развить перед слушателями постепенно, но предпочел выстрелить ею, словно картечью, чтобы сразу пробить панцирь напускного равнодушия, способного обескуражить любого оратора, -- панцирь, выкованный из флегматичности, сдержанности, вялости, расчета и сопротивления. Ему необходимо было заставить эти семь миллиардов выслушать его. В этом, именно в этом заключалась его первая задача. И, по-видимому, она ему удалась. Кожаные кресла заскрипели, некоторые гости усаживались поудобнее, зажигали сигары. Миссис Браун наставила свою слуховую трубку. Виттерштейнер из Нью-йоркского центрального банка шепнул что-то на ухо И.О.Морзе, медному королю. И Аллан продолжал бодрее и увереннее.

Туннель должен начинаться на сто километров южнее Нью-Йорка, у берегов Нью-Джерси, пройти под Бермудскими и Азорскими островами, коснуться северной части Испании и подняться на французском побережье Бискайского залива. Обе океанские станции, бермудская и азорская, необходимы по техническим причинам. Совместно с американской и двумя европейскими они образуют пять исходных точек для штолен туннеля. Кроме того, океанские станции будут иметь огромное значение для рентабельности туннеля: станция Бермудских островов захватит все пассажирское движение и почту мексиканского бассейна, Вест-Индии, Центральной Америки и Панамского канала, станция Азорских островов завоюет все перевозки из Южной Америки и Африки. Океанские станции станут узловыми пунктами мировых путей сообщения, не менее важными, чем Нью-Йорк и Лондон. Без особых комментариев ясно, какую роль сыграют на земном шаре американская и европейские станции! Отдельные государства будут вынуждены дать согласие на постройку туннеля. Больше того, он, Мак Аллан, заставит их допустить на биржу бумаги туннельного синдиката, если они не хотят причинить своей промышленности миллиардные убытки.

-- Туннель под Беринговом проливом, начатый три года назад, -- сказал Аллан, -- туннель Дувр -- Кале, заканчиваемый в этом году, в достаточной степени показали, что сооружение подводных туннелей не представляет трудностей для современной техники. Длина туннеля Дувр -- Кале -- около пятидесяти километров. Длина моего туннеля -- около пяти тысяч километров. Моя задача поэтому заключается лишь в том, чтобы в стократном масштабе повторить работу англичан и французов. Это, конечно, неминуемо повлечет за собой и рост трудностей. Но не мне вам напоминать, что современный человек чувствует себя _дома_ везде, где он может поставить машину! В финансовом отношении осуществление проекта зависит от вашего согласия. Ваших личных денег, как говорил Хобби, мне не нужно, -- я собираюсь устроить туннель на американские и европейские деньги, на деньги всего мира. Техническая возможность выполнить проект в пятнадцатилетний срок создана исключительно моим изобретением, вам известным, она создана "алланитом". Эта сталь по твердости почти не уступает алмазу, дает возможность проходить самые твердые породы и позволяет изготовить неограниченное число чрезвычайно дешевых буров.

Аудитория слушала. Казалось, она дремлет, но именно это свидетельствовало о том, что она принялась за работу. Большая часть серебристых и белых голов опустилась, и только две-три блестящие от пота физиономии были обращены вверх, к небу, где мерцали похожие на осколки звезды. Один, уставясь на Аллана, прищурившись и вытянув губы, жевал сигару, другой, подперев рукой подбородок, смотрел перед собой, задумчиво кивая головой. Из глаз почти всех этих людей исчезло добродушное детское выражение, -- оно уступило место сосредоточенному, затуманенному или жутко напряженному взору. Миссис Браун не отрывала глаз от уст Аллана, и ее рот принял резкое, насмешливое, почти злобное выражение. Мозги этих тридцати рабовладельцев, в которые Аллан клином вбивал свои идеи и аргументы, зашевелились. Деньги размышляли; размышляли железо, сталь, медь, лес, уголь. Предложение Аллана было не из обычных. Его стоило обдумать и взвесить. Подобные проекты не валялись каждый день на улице. И это дело Аллана было не простым! Речь шла здесь не о нескольких миллионах бушелей пшеницы или тюков хлопка и не о тысяче акций рудников "Король Эдвард" в Австралии. Речь шла о гораздо большем! Для одних дело Аллана означало горы денег без особого риска -- для железа, стали, угля. Для других оно означало деньги с большим риском. Но необходимо было занять позицию. Вот именно! Ведь речь шла здесь еще и о Ллойде, не о ком другом, как о всемогущем Ллойде, который, как золотой призрак, шагал по земному шару, созидая и разрушая! Ллойд прекрасно знал, что делает. Этим Алланом двигали, а ему казалось, что двигает он сам. За

последние недели на Уолл-стрит были заключены большие сделки с акциями горной и тяжелой промышленности. Теперь все поняли, что это Ллойд командовал своими армиями через подставных лиц. Было ясно, что Ллойд, сидящий в этот час в своей сокровищнице и сосущий сигару, несколько недель назад пошел в наступление и Аллан -- его орудие. Всегда Ллойд был первым, всегда захватывал лучшие участки, когда начинался какой-то подъем. Ничего, ничего, теперь еще было время хоть немного наверстать упущенное... Нужно только сегодня же разослать телеграммы по всему миру, тотчас после собрания. Завтра утром будет уже поздно.

Надо на что-то решиться...

Некоторые, устав от размышлений, пытались приблизиться к решению проблемы, рассматривая Аллана как сквозь лупу. Внимательно прислушиваясь к тому, что говорил он о строительстве туннеля, -- о том, как он поведет штольни, укрепит их и снабдит воздухом, -- они изучали его лакированные ботинки, белоснежные фланелевые брюки, пояс, сорочку, воротничок, галстук -- все, вплоть до сильного лба, от которого шел гладкий, медно-красного отлива пробор. Лицо этого человека блестело от пота, как бронза, но даже теперь, после часового доклада, оно не выказывало ни малейших следов утомления. Напротив, оно стало выразительнее и оживленнее. Его глаза, вначале добродушные, с детским выражением, теперь, несмотря на ручьи пота, стали смелыми и ясными, стальными, сверкающими, как тот "алланит", который по твердости почти не уступает алмазу. И можно было с уверенностью сказать, что этот человек не часто позволял так заглядывать в свои глаза. Когда он ел орехи, ему не нужны были щипцы. Голос этого человека гудел и шумел в грудной клетке, прежде чем вырваться наружу. Аллан выбрасывал на доску эскиз, и они изучали его загорелую руку с татуировкой -- скрещенными молотками. Это была рука тренированного теннисиста и фехтовальщика. Они изучали Аллана, как боксера, на которого собирались поставить. Он был хорош, в этом не было сомнения. Можно было даже проиграть, поставив на него, и не стыдиться этого. У Ллойда был верный взгляд! Они знали, что двенадцатилетним мальчишкой Аллан был коногоном в угольных копях и что за двадцать лет с глубины восьмисот метров под землей он поднялся до сада на крыше отеля "Атлантик". Это кое-что значило! Значило кое-что и создание такого проекта, но самое важное и удивительное было то, что он сумел собрать в последний час тридцать человек, для которых один день означал целый капитал, и при температуре в девяносто градусов по Фаренгейту заставил их слушать себя. Перед их глазами как будто разыгрывалось редкое зрелище: кто-то поднимался к ним на стеклянную гору, собираясь потребовать себе место и защищать его.

Аллан продолжал:

-- Для управления штольнями и для движения по ним мне нужна сила тока, равная вырабатываемой всеми станциями Ниагары. Ниагара занята, и я создам себе собственную Ниагару!

И они очнулись от задумчивости и посмотрели Аллану в лицо. Еще кое-что бросилось им в глаза: во время своего доклада он ни разу не улыбнулся, не отпустил ни одной шутки. Юмор, видно, не был свойствен ему.

Один только раз обществу представился случай посмеяться. Это был момент, когда фоторепортеры вновь неистово защелкали затворами и Аллан прикрикнул на них: "Stop your nonsense!" [Бросьте эти глупости! (англ.)]

В заключение Аллан прочел отзывы мировых светил, отзывы инженеров, геологов, океанографов, статистиков, финансистов Нью-Йорка, Бостона, Парижа, Лондона, Берлина.

Наибольший интерес возбудило резюме Ллойда, разработавшего систему финансирования проекта и извлечения прибыли. Аллан прочел его под конец, и тридцать голов заработали с максимальной быстротой и точностью.

Зной внезапно словно утроился. Участники конференции лежали в креслах, и струи пота текли по их лицам. Даже холодильные аппараты, расставленные за зеленью и непрерывно выдыхавшие в сад холодный, насыщенный озоном воздух, не приносили облегчения. Было как в тропиках. Бои китайцы, одетые в белоснежное полотно, бесшумно скользили между кресел и предлагали лимонад, horses-neck [имбирное пиво (англ.)], gin-fizz [джин с содовой водой (англ.)] и воду со льдом. Но все это не помогало. Жара подымалась с улицы клубами знойного тумана, который, казалось, можно было схватить руками, и заполняла висячий сад. Нью-Йорк, весь железобетонный и асфальтовый, был подобен аккумулятору из многих тысяч элементов, вобравшему весь жар последних недель и теперь извергавшему его. И беспрерывно вопило и кричало в лихорадке глубокое ущелье Бродвея. Нью-Йорк, нагроможденный людьми между тремя тысячами миль океана и тремя тысячами миль материка, бурлящий, бессонный Нью-Йорк, казалось, сам настойчиво требовал от этих людей все больших, небывалых усилий. Нью-Йорк, мозг Америки, сам словно погрузился в мысли, ворочал гигантскую думу, рождал ее...

В этот миг Аллан умолк. Чуть не посреди фразы. В речи его не было заключения. Это была речь наизнанку -- ее кульминационный пункт был в начале. Конец был так неожидан, что все остались в прежних позах и еще напрягали слух, когда Аллан уже ушел, предоставив им самим обсуждать проект.

Рекламный дирижабль кружил над крышей и нес над Манхэттеном слова: "Продление жизни на двадцать пять лет! -- Гарантия! -- Доктор Джости из Бруклина!"

7

Аллан спустился с Мод на лифте до десятого этажа, пообедать. Он до такой степени промок от пота, что должен был полностью переодеться. Но капли пота еще выступали у него на лбу. Он еще весь был в напряжении, и расширенные глаза его смотрели невидящим взглядом.

Мод заботливо вытирала ему лоб и охлаждала виски салфеткой, намоченной в ледяной воде.

Мод сияла. Она тараторила и смеялась от возбуждения. Что за вечер! Многолюдное собрание, световые гирлянды, сад на крыше, волшебный Нью-Йорк кругом -- никогда не забудет она этого зрелища. Они все сидели в кругу! Они,

имена, тысячу раз слышанные ею с ранних лет, имена, распространявшие атмосферу богатства, могущества, гения, смелости и сенсации. Они сидели и слушали его, Мака! Мод бесконечно гордилась Маком. Его победа приводила ее в восторг, теперь она ни одной минуты не сомневалась в успехе мужа.

-- Как я боялась, Мак! -- вырвалось у нее, и она обвила руками его шею. -- Но как ты говорил! Я просто не верила своим ушам! Боже праведный!

Аллан рассмеялся.

-- Я предпочел бы говорить перед ордой дьяволов, чем перед этой компанией, поверь мне, Мод! -- возразил он.

-- Сколько, по-твоему, это продолжится?

-- Час, два. Может быть, и всю ночь.

Мод удивленно приоткрыла рот.

-- Всю ночь?

-- Может быть, Мод! Во всяком случае нам дадут время спокойно пообедать.

Аллан снова пришел в полное равновесие. Его руки уже не дрожали, и глаза оживились. Он исполнил долг вежливости как супруг и джентльмен, положив Мод лучший кусок мяса, по ее вкусу, лучшую спаржу и лучший горошек, и сам спокойно принялся за еду; на лбу у него блестели большие капли пота. Он чувствовал сильный голод. Мод же болтала с таким оживлением, что едва успевала есть. Она разбирала по косточкам всех приглашенных. У Виттерштейнера была, по ее мнению, чудесная и выразительная голова. Очень удивил ее моложавый вид Килгаллана, а Джона Эндруса, горнозаводского короля, она сравнивала с бегемотом. Банкир Ч.Б.Смит показался ей хитрой седой лисичкой. А эта старая ведьма миссис Браун позволила себе разглядывать ее, словно школьницу! Верно ли, что миссис Браун от скупости никогда не зажигает у себя света?..

Посреди обеда в комнату вошел Хобби, осмелившийся (и он мог себе это позволить) спуститься в лифте отеля "Атлантик" без пиджака. Мод взволнованно вскочила.

-- Ну, как дела, Хобби? -- воскликнула она.

Хобби со смехом бросился в кресло.

-- Ничего подобного я еще не видел! -- воскликнул он. -- Они передрались! Словно на Уолл-стрит после выборов! Ч.Б.Смит хотел улизнуть. Нет, послушайте только! Он хочет уйти, говорит, что дело кажется ему слишком рискованным, и входит в лифт. Но они кидаются за ним и буквально силой, за фалды вытаскивают его назад из кабины! Ей-богу, не вру! Ye gods and little fishes! [Ну и натерпелся же я страху! (англ. -- иронич.)] Килгаллан стоит посредине, размахивает отзывами и кричит как оглашенный: "Этого вы не можете зачеркнуть, против этого вы ничего не скажете!"

-- Ну, Килгаллан -- это понятно! -- вставил Аллан. -- Он ничего не может иметь против (Килгаллан был главой Стального треста).

-- А миссис Браун! Хорошо, что были фоторепортеры! Она была похожа на воронье пугало, вошедшее в раж! Старуха с ума сошла, Мак! Чуть не выцарапала глаза Эндрусу. Она была вне себя и все время кричала: "Аллан -- величайший человек всех времен! Было бы позором для Америки, если бы его проект не был осуществлен!"

-- Миссис Браун? -- Мод замерла от удивления. -- Но она ведь света не зажигает от скупости!

-- Тем не менее, Мод! -- Хобби снова разразился веселым смехом. -- Черт разберет этих людей, дитя мое! Она и Килгаллан отстоят тебя, Мак!

-- Не хочешь ли пообедать с нами, Хобби? -- спросил Аллан, обгладывавший ножку курицы и в то же время внимательно прислушивавшийся к рассказу своего друга.

-- Конечно, садись скорей, Хобби! -- воскликнула Мод и поставила прибор.

Но Хобби было некогда. Он волновался гораздо больше Аллана, хотя его это дело касалось мало. Он снова исчез.

Каждые четверть часа он возвращался с донесением о ходе дела.

-- Миссис Браун подписалась на десять миллионов долларов, Мак! Теперь пойдет!

-- Боже! -- пронзительно вскрикнула Мод и в изумлении всплеснула руками.

Аллан, чистивший грушу, спокойно обратился к Хобби:

-- Ну, что же дальше?

Хобби был слишком взволнован, чтобы присесть. Он бегал взад и вперед, вынул из кармана сигару и откусил кончик.

-- Она вытаскивает из кармана блокнот, -- начал он, порывистым движением зажигая сигару, -- блокнот, который я щипцами не взял бы, -- такой он грязный, -- и подписывает! Молчание! Все окаменели. Тогда и остальные лезут в карманы, а Килгаллан обходит их и собирает записки. Никто не говорит больше ни слова, фоторепортеры работают на полную мощность! Мак, твое дело выиграно! I will eat my hat... [Чтоб мне с места не сойти! (англ.)]

После этого Хобби долго не появлялся. Прошел целый час.

Мод притихла. Она была взволнована и напряженно прислушивалась, не раздадутся ли шаги. Чем дольше это тянулось, тем сильнее было ее уныние. Аллан сидел в кресле, спокойно и задумчиво покуривая трубку.

В конце концов Мод не выдержала и спросила растерянно:

-- А что, если они не решатся, Мак?

Аллан-вынул трубку изо рта, с улыбкой поднял глаза на Мод и спокойно, глубоким голосом ответил:

-- Тогда я опять поеду в Буффало и буду выпускать свою сталь! -- Потом, уверенно кивнув головой, он прибавил: -- Они решатся, Мод!

И в ту же минуту позвонил телефон. Это был Хобби.

-- Сейчас же идите наверх!

Когда Аллан опять показался в саду на крыше, Килгаллан, глава Стального треста, подошел к нему и похлопал его по плечу.

-- You are all right, Mac! [Все в порядке, Мак! (англ.)] -- сказал он.

Аллан победил. Он вручил одетому в красное груму пачку телеграмм, и грум скрылся в лифте.

Через несколько минут сад на крыше опустел. Каждый, не задерживаясь, вернулся к своим делам. Слуги убирали растения и кресла, освобождая место для огромной птицы Вандерштифта.

Вандерштифт влез в моноплан и включил фары. Пропеллер зажужжал, вихрь смел слуг в один угол, машина пробежала десяток шагов и поднялась в воздух. Белая птица унеслась навстречу туманным огням Нью-Йорка и исчезла.

8

Через десять минут после этой конференции телеграф уже передавал депеши в Нью-Йорк, во Францию, Испанию, на Бермудские и Азорские острова. Час спустя агенты Аллана закупили участки земли на двадцать пять миллионов долларов.

Эти участки находились в самых удобных для сооружения туннеля местах; Аллан выбрал их несколько лет назад. Это была самая дешевая земля: дюны, степи, болота, пустынные островки, рифы, песчаные мели. Цена в двадцать пять миллионов долларов была чрезвычайно низка, если принять во внимание, что в общей сложности эти земли составляли территорию целого герцогства. Сюда входил и обширный, глубокий комплекс в Хобокене, фронтом в двести метров выходивший на Гудзон. Все закупленные участки лежали вдали от больших городов, -- Аллан в них не нуждался: на его степях и дюнах должны были вырасти города, которые завладеют окрестностями.

Пока мир был погружен в сон, телеграммы Аллана неслись по кабелю и по воздуху и застигали врасплох все биржи мира. А утром Нью-Йорк, Чикаго, Европа, весь мир были потрясены словами: "_Синдикат Атлантического туннеля_".

Газетные дворцы были ярко освещены всю ночь. Ротационные машины в типографиях работали с рекордной скоростью. "Гералд", "Сан", "Уорлд", "Джернал", "Телеграф" -- все английские, немецкие, французские, итальянские, испанские, еврейские, русские газеты вышли повышенным тиражом, и с пробуждавшимся днем миллионы газетных листов наводнили Нью-Йорк. В мчавшихся лифтах, на эскалаторах и движущихся тротуарах станций надземной дороги, на перронах метрополитена, где каждое утро шла борьба за места в переполненных поездах, на сотнях речных пароходов и в тысячах трамвайных вагонов -- от Баттери до Двухсотой улицы -- происходили форменные сражения вокруг еще сырых газетных листов. На всех улицах, над толпами с протянутыми вверх руками взлетали фонтаном экстренные выпуски.

Известие было сенсационное, неслыханное, едва постижимое, дерзкое!

Мак Аллан! Кто он, кем был, откуда взялся? Кто этот человек, внезапно представший перед лицом миллионов людей?

Не все ли равно, кто он! Важно, что он умудрился выбить из привычной колеи такой город, как Нью-Йорк, с его стремительным темпом жизни.

Читатели жадно впивались взглядом в газетные столбцы, на которых выдающиеся люди высказывали в телеграфном стиле свой взгляд на сооружение туннеля.

Ч.Х.Ллойд: "Европа станет предместьем Америки".

Табачный магнат Х.Ф.Хербст: "Вагон товара из Нью-Орлеана можно будет послать без перегрузки в Петербург".

Мультимиллионер Х.И.Белл: "Я буду видеться со своей дочерью, которая живет с мужем в Париже, вместо трех раз в год двенадцать".

Министр путей сообщения де Форест: "Туннель подарит деловому человеку год жизни благодаря времени, которое он сэкономит".

Публика требовала более подробных сведений, и она имела право на это. Перед газетными дворцами собирались такие толпы, что вожатым трамвайных вагонов приходилось стучать сапогом по педали звонка, чтобы получить возможность проехать. Часами глаза плотной массы людей были обращены на экран во втором этаже здания редакции "Гералда", хотя уже несколько часов подряд появлялись все те же картины: Мак Аллан, Хобби, собрание в висячем саду.

"Здесь представлены семь миллиардов!". "Мак Аллан излагает свой проект" (кинематограф). "Миссис Браун подписывается на десять миллионов" (кинематограф). "Ч.Б.Смита вытаскивают из лифта".

"Только мы имеем возможность показать прибытие Вандерштифта в висячий сад до самого момента спуска. Наш фоторепортер был сбит с ног его монопланом" (кинематограф). Белые с точками окон нью-йоркские небоскребы, из труб которых подымается тонким столбом белый дым. Появляется белая бабочка, птица, чайка, моноплан! Моноплан проносится над садом на крыше, делает поворот, возвращается, садится. Придвигается гигантское крыло. Конец. Портрет: "Мистер Ч.Г.Спиннэуэй, наш фоторепортер, опрокинутый машиной Вандерштифта и тяжелораненый".

Последний снимок: "Мак Аллан прощается в Бронксе с женой и ребенком перед отъездом в свою контору".

И снова начинается та же серия картин.

Вдруг -- около одиннадцати часов -- вереница картин приостанавливается. Что-нибудь новое? Все взоры обращены вверх.

Портрет: "Мистер Хантер, маклер, Тридцать седьмая улица, 212-Ист, только что заказал билет для первого переезда Нью-Йорк -- Европа".

Толпа смеется, машет шляпами, кричит...

Телефонные станции были перегружены, провода и кабели не успевали передавать телеграммы. В тысячах нью-йоркских контор нервно срывали с аппаратов телефонные трубки, чтобы обсудить с деловыми друзьями положение. Весь Манхэттен трепала лихорадка! С сигарой во рту, сдвинув котелок на затылок, без пиджаков, обливаясь потом, стояли и сидели, кричали и жестикулировали банкиры, маклеры, агенты, клерки. Выработать предложения! Занять позицию как можно быстрее, как можно выгоднее! Предстояла гигантская кампания, новая "Битва народов", сражение капиталов, в котором при малейшей ошибке можно было погибнуть под ногами других. Кто будет финансировать это огромное предприятие? Как это произойдет? Ллойд? Кто назвал Ллойда? Виттерштейнер? Кому это известно? Кто этот дьявол Мак Аллан, закупивший в одну ночь на двадцать пять миллионов долларов земли, стоимость которой должна увеличиться в три, в пять -- да что там! -- в сто раз?

Больше всего волновались в элегантных конторах крупных трансатлантических пароходных компаний. Мак Аллан был убийцей трансатлантического пассажирского движения! Когда его туннель будет построен, -- а можно себе представить, что это когда-нибудь случится! -- четыреста тысяч тонн плавающих судов будет отправлено на слом. Пассажиров кают "люкс" надо будет возить по палубному тарифу. Бедные суденышки придется переделать в плавучие санатории для легочных больных или послать их к неграм в Африку! За два часа по телефону и телеграфу организовался "Антитуннельный трест", составивший интерпелляцию к правительствам ряда стран.

Из Нью-Йорка возбуждение распространилось на Чикаго, Буффало, Питтсбург, Сент-Луис, Сан-Франциско, в то время как в Европе туннельная лихорадка начинала охватывать Лондон, Париж, Берлин.

Нью-Йорк сверкал и пылал в лучах полуденного солнца, а когда люди опять решились выйти на улицу, со всех углов смотрели на них огромные плакаты: "Сто тысяч рабочих!"

Наконец стало известно и местонахождение синдиката: Бродвей -- Уолл-стрит. Здесь стоял ослепительно белый незаконченный небоскреб, тридцать два этажа которого еще кишели рабочими.

Через полчаса после того, как Нью-Йорк был наводнен этими огромными плакатами, толпы искателей работы уже собрались на забрызганных известью досках, покрывавших гранитные ступени здания синдиката, и вся армия безработных, в любое время составлявшая около пятидесяти тысяч человек, по сотне улиц двигалась к Даунтауну. В первом этаже, где еще стояли лестницы, козлы и ведра с краской, явившихся встречали агенты Аллана, холодные, опытные люди с быстрым взглядом работорговцев. Сквозь одежду видели они скелет человека, его мускулы и жилы. По плечам, по сгибу рук они определяли силу. Нарочитая поза, грим, крашеные волосы не могли их обмануть. Седых и слабых, тех, чьи силы уже высосал убийственный труд Нью-Йорка, они отсылали прочь. И если кто-нибудь из сотен людей, представших перед ними за несколько часов, пытался явиться вторично, его награждали таким взором, что у него мороз шел по коже, а затем агент окончательно переставал замечать его.

9

Еще в тот же день на всех пяти станциях на французском, испанском и американском побережье, на Бермудских островах и на Сан-Жоржи (Азорские острова) появились отряды каких-то людей. Они приезжали в повозках и наемных автомобилях, которые медленно нащупывали путь, вязли в болотах, вперевалку ползли по дюнам. В определенном месте, ровно ничем не отличавшемся от окружающего пейзажа, они слезали, вынимали нивелиры, съемочные инструменты, связки вех и приступали к работе. Спокойно, сосредоточенно они визировали, измеряли, вычисляли, словно дело шло просто о разбивке сада. Капли пота выступали у них на лбу. Они ставили вехи на куске земли, расположенном под точно высчитанным углом к морю и уходившем далеко в глубь суши. Вскоре они работали повсюду.

В степи появилось несколько повозок, нагруженных балками, досками, кровельным толем и различными орудиями. Казалось, они попали сюда случайно и не имели никакого отношения к геодезистам и инженерам, совершенно не обращавшим на них внимания. Повозки останавливались, балки и доски с треском падали на землю. В знойных лучах солнца засверкали лопаты, завизжали пилы, застучали удары молотков.

Подъехал, подпрыгивая на ухабах, автомобиль; из него, крича и жестикулируя, вышел мужчина. Он схватил под мышку связку вех и зашагал к землемерам. Этот узкоплечий светловолосый человек был Хобби, начальник американской станции.

Хобби закричал "алло!", смеясь, обтер платком лицо -- он прямо обливался потом -- и сообщил во всеуслышание:

-- Через час прибудет повар! Уильсон как бешеный орудует в Томс-Ривере. -- И, сунув два пальца в рот, он свистнул.

Подошли четыре человека с вехами на плечах.

-- Вот эти господа покажут вам, chaps [ребята (англ.)], что нужно делать.

И Хобби вернулся к повозкам. Он бегал туда и сюда среди сваленной груды леса.

Потом он умчался в своем автомобиле, чтобы присмотреть за рабочими в Лэкхерсте, тянувшими временную телефонную линию. Он орал, ругался и ехал все дальше вдоль полотна железной дороги Лэкхерст -- Лэквуд, прорезывавшей земли синдиката. На путях посреди пастбища, где паслись коровы и быки, остановился пыхтящий

товарный поезд с двумя паровозами и пятьюдесятью вагонами. За ним пришел поезд с пятьюстами рабочих. Было пять часов. Эти пятьсот рабочих были завербованы к двум часам дня и в три выехали из Хобокена. Все они были веселы и довольны тем, что могли покинуть знойный Нью-Йорк и найти себе работу на свежем воздухе.

Они набросились на эти пятьдесят вагонов и начали сгружать доски, волнистое железо, толь, брезент, кухонные очаги, съестные припасы, палатки, ящики, мешки, тюки. Хобби чувствовал себя отлично. Он кричал, свистел, с ловкостью обезьяны карабкался через вагоны и кучи досок и громко распоряжался. Час спустя походные кухни были установлены, и повара принялись за дело. Двести рабочих занялись спешной постройкой бараков для ночлега, в то время как остальные продолжали выгрузку.

Когда стемнело, Хобби посоветовал своим "boys" [мальчишкам (англ.)] помолиться и устроиться на покой кто как может.

Он вернулся к землемерам и инженерам и по телефону рапортовал в Нью-Йорк.

Потом он вместе с инженерами спустился к дюнам выкупаться. Вернувшись, они одетые бросились на дощатый пол барака и тотчас заснули, чтобы с рассветом возобновить работу.

В четыре часа утра прибыло сто вагонов строительных материалов, в половине пятого -- тысяча рабочих, проведших ночь в поезде и выглядевших голодными и усталыми. Походные кухни работали вовсю с раннего утра, пекарни не отставали от них.

Хобби был уже на месте. Он любил работу и, хотя спал всего несколько часов, был в прекрасном настроении, чем сразу расположил к себе всю армию рабочих. Он обзавелся серой верховой кобылкой, на которой неутомимо скакал целый день.

У железнодорожного полотна выросли целые горы материалов. В восемь часов пришел поезд из двадцати вагонов, груженных только шпалами, рельсами, вагонетками и двумя паровозиками для узкоколейки. В девять пришел второй поезд. Он привез целый батальон инженеров и техников, и Хобби бросил тысячу человек на постройку узкоколейной дороги, которая должна была вести к отстоявшему на три километра месту стройки.

Вечером прибыл поезд с двумя тысячами походных кроватей и одеялами. Хобби бушевал у телефона и требовал еще рабочих. Аллан обещал ему на следующий день две тысячи человек.

И действительно, утром, едва забрезжил свет, прибыли две тысячи человек. А за ними потянулись бесконечные поезда с материалами. Хобби ругался на чем свет стоит: Аллан буквально топил его! Но потом он покорился своей судьбе: он узнал _темп Аллана_, адский темп Америки, темп всей эпохи, напряженный до неистовства! И это импонировало Хобби, хотя от такого темпа захватывало дух и нужно было удесятерять усилия.

На третий день временная железная дорога, по которой едва-едва мог пройти, не перевернувшись, поезд, достигла места стройки, и к вечеру того же дня в лагере раздался свисток маленького паровоза, встреченный громким "ура". Паровозик тащил за собой бесконечный хвост вагонеток с досками, бревнами и волнистым железом, и две тысячи рабочих с лихорадочной поспешностью принялись возводить бараки, походные кухни, сараи. Но ночью поднялась буря, которая смела весь созданный Хобби город.

На эту шутку Хобби ответил лишь крепкой, забористой бранью. Он попросил у Аллана сутки отсрочки, но Аллан не обратил на это ни малейшего внимания и продолжал посылать материалы, поезд за поездом, так что у Хобби прямо темнело в глазах.

В этот день, в семь часов вечера, Аллан в сопровождении Мод сам явился в автомобиле на место работ. Аллан объехал весь участок, громил и разносил, обозвал всех лодырями и заявил, что синдикат требует за свои деньги самой напряженной работы. Он уехал, оставив за собой атмосферу удивления и почтения.

Хобби не принадлежал к тем, кто быстро падает духом. Он решил выдержать пятнадцатилетнюю бешеную гонку и теперь вертелся как бес. Темп Аллана увлек его! Один отряд рабочих сооружал железнодорожную насыпь для регулярного сообщения с Лэквудом; ржаво-красное облако пыли отмечало его путь. Другой отряд кидался на прибывавшие товарные поезда и с неимоверной быстротой выгружал и складывал в порядке шпалы, рельсы, столбы электропроводки, машины. Третий -- рыл землю вокруг "шахты", четвертый сколачивал бараки. Всеми отрядами командовали инженеры, -- их можно было узнать только по беспрерывным окрикам и взволнованным жестам, которыми они подгоняли рабочих.

Хобби на своей серой лошадке был вездесущ. Рабочие называли его "Jolly [веселый (англ.)] Хобби", подобно тому как Аллана они окрестили "Маком", а Гарримана, главного инженера, мрачного мужчину с бычьей шеей, всю жизнь проведшего на крупных строительствах всех материков, -- попросту "Bull" [бык (англ.)].

Среди этих толп людей землемеры со своими инструментами расхаживали так, как будто вся эта сутолока нисколько их не касалась, и усеивали всю степь разноцветными колышками и вехами.

Через три дня после первого удара заступом Туннельный город представлял собой привал рудокопов, несколько позже -- походный лагерь, а через неделю -- грандиозный барачный город, с бойнями, молочными фермами, пекарнями, рынками, барами, почтой, телеграфом, больницей и кладбищем, -- город, где устроились на временное житье двадцать тысяч человек. В стороне от него уже красовалась целая улица законченных зданий, эдисоновских патентованных домов, которые отливались в формы на месте и устанавливались в течение двух дней. Город был покрыт толстым слоем пыли, отчего он казался почти белым. Редкие клочья поросли и кусты обратились в цементные кучи. Улицы были завалены железнодорожными рельсами, а плоские бараки утопали среди леса столбов и проводов.

Неделю спустя в барачный город явился черный, пыхтящий и воющий демон -- огромный американский товарный паровоз на высоких красных колесах, тащивший бесконечный ряд вагонов. Он стоял, пыхтя, среди

разбросанных щеп и мусора, выпускал к яркому солнцу высокое черное облако дыма и озирался вокруг. Все смотрели на него, восторженно кричали и ликовали: это была _Америка_, явившаяся в Туннельный город!

На следующий день прибыл целый отряд паровозов, а еще неделю спустя полчища черных пыхтящих демонов сотрясали воздух, насыщая его испарениями своих тел, огромных, как туловища ихтиозавров, и выпускали пар и дым из пасти и ноздрей. Казалось, барачный город весь расплывается в дыму. Подчас дым был настолько густ, что в померкшей атмосфере происходили электрические разряды, и даже в самый ясный день над Туннельным городом прокатывался гром. Город неистовствовал, кричал, свистел, стрелял, звенел.

Из центра этого бушующего, дымящего, белого, заваленного мусором города днем и ночью подымался чудовищный столб пыли. Он образовывал облако, подобное тем, какие бывают при вулканических извержениях. Этот столб, придавленный верхними слоями атмосферы, имел форму гриба, и воздушные течения отрывали от него облачные клочья.

Картина зависела от ветра. Пассажиры пароходов наблюдали эту пыль на море в виде раскинувшегося на много километров известково-белого плавучего острова; а иногда туннельная пыль сеялась над Нью-Йорком мелким пепельным дождем.

Строительная площадка раскинулась на четыреста метров в ширину и на пять километров в глубь степи. Ее разрабатывали террасами, которые спускались все ниже и ниже. У входа в штольни туннеля подошва террас должна была залегать на двести метров ниже уровня моря.

Сегодня -- песчаная степь с целой армией разноцветных вех, завтра -- песчаное русло, послезавтра -- карьер для добычи гравия, каменоломня, огромный котел конгломератов, песчаника, глины и известняка и, наконец, ущелье, в котором, казалось, кишели черви. Это были люди, сверху казавшиеся крохотными, белые и серые от пыли, с посеревшими лицами, с пылью в волосах и на ресницах и месивом каменной пыли во рту. Двадцать тысяч человек кидались день и ночь в этот котлован.

Как дробные отблески озера, сверкали внизу кирки и лопаты. Сигнальный рожок -- и столб пыли взлетает, крутясь. Каменный колосс клонится вперед, рушится, распадается на куски, и клубки людей бросаются в облако вздымающейся пыли. Кряхтят и вопят экскаваторы, непрерывно визжат и гремят транспортеры, вращаются подъемные краны, подвесные вагонетки жужжат в воздухе, и насосы по толстым трубам день и ночь выбрасывают наверх потоки грязной воды.

Полчища крошечных паровозиков шмыгают под экскаваторами, пробираются среди обломков и куч песка. Но, едва выбравшись на простор и став на надежные рельсы, они с диким свистом и яростным колокольным звоном несутся меж бараков к тем пунктам строительной площадки, где нужны песок и камень. Сюда поезда привезли горы мешков цемента, и толпы рабочих воздвигают большие казармы, которые к зиме должны быть под крышей, чтобы приютить сорок тысяч человек.

А в пяти километрах от "шахты", где трасса полого начинает уходить вниз, в облаке масляных брызг, жара и чада стоят на новехоньких рельсах четыре мрачные машины -- ждут и дымят.

Перед их колесами сверкают кирки и лопаты. Обливающиеся потом рабочие роют землю и заполняют выемку кусками камня и щебнем, которые с шумом сыплются под откос из саморазгружающихся вагонеток. На это ложе кладут шпалы, еще липкие от смолы, а уложив лесенку шпал, прикрепляют к ним рельсы. Каждый раз, когда уложены пятьдесят метров рельсов, четыре черные машины начинают пыхтеть и шипеть. Они двигают своими стальными рычагами: три, четыре взмаха -- и вот они уж опять дошли до сверкающих кирок и лопат.

Так с каждым днем четыре черных чудовища продвигаются все дальше вперед. Приходит день, когда они стоят уже среди высоких гор щебня, и приходит другой день, когда они стоят уже глубоко под террасами, в желобе с крутыми бетонными стенами, и взирают своими глазами циклопов на скалистую стену, где в тридцати шагах друг от друга пробиты две большие арки -- устье туннеля.

Часть вторая

1

Во Франции, в Финистерре и на океанских станциях, так же, как в Туннельном городе на американском берегу, люди, обливаясь потом, вгрызались в землю. День и ночь в этих пяти пунктах земного шара вздымались гигантские столбы дыма и пыли. Стотысячная армия рабочих вербовалась из американцев, французов, англичан, немцев, итальянцев, испанцев, португальцев, мулатов, негров, китайцев. Здесь царило смешение всех языков. Отряды инженеров сперва большей частью состояли из американцев, англичан, французов и немцев. Но вскоре стало стекаться множество добровольцев, получивших техническое образование в высших школах всего мира, -- японцы, китайцы, скандинавы, русские, поляки, испанцы, итальянцы.

В различных точках французского, испанского и американского побережья, Бермудских и Азорских островов появились инженеры Аллана с полчищами рабочих и начали рыть землю, как и в главных пунктах строительства. Их задачей было сооружение электростанции -- "Ниагары" Аллана, энергия которой нужна была ему для приведения в движение поездов между Америкой и Европой, для освещения и вентиляции огромных штолен. Усовершенствовав систему немцев Шлика и Липмана, Аллан приступил к сооружению огромных вместилищ, куда

во время прилива текла морская вода, чтобы с грохотом низвергнуться в расположенные ниже бассейны и своим стремительным падением заставить вращаться турбины, рождающие в динамо ток, а при отливе снова вернуться в море.

Металлургические и прокатные заводы Пенсильвании, Огайо, Оклахомы, Кентукки, Колорадо, Нортумберленда, Дарема, Южного Уэльса, Швеции, Вестфалии, Лотарингии, Бельгии, Франции вносили в книги огромные заказы Аллана, Угольные копи усиливали добычу, чтобы покрыть возросший спрос на топливо для транспорта и доменных печей. Медь, сталь, цемент неслыханно повысились в цене. Большие машиностроительные заводы Америки и Европы работали с ночной сменой. В Швеции, России, Венгрии и Канаде вырубали леса.

Целый флот грузовых пароходов и парусных судов беспрерывно сновал между Францией, Англией, Германией, Португалией, Италией и Азорскими островами, между Америкой и Бермудскими островами, доставляя материалы и рабочую силу на места стройки.

Авторитетнейшие ученые (преимущественно немцы и французы) плавали на четырех пароходах синдиката, проверяя на тридцатимильной ширине глубины над кривой туннеля, спроектированной на основании известных океанографических измерений.

Со всех станций, рабочих поселков, пароходов, из всех промышленных центров день и ночь сходились нити к дому Туннельного синдиката, на углу Бродвея и Уолл-стрит, и отсюда -- в одни-единственные руки, в руки Аллана.

За несколько недель напряженнейшей работы Аллан привел громадную машину в движение. Созданное им предприятие охватило весь мир. Его имя, еще так недавно никому не ведомое, сверкало над человечеством как метеор.

Тысячи газет интересовались им, и через некоторое время не было ни одного читателя, который не знал бы биографии Аллана во всех ее подробностях.

Эту биографию никак нельзя было назвать обыденной. С десяти до тринадцати лет Аллан принадлежал к армии безвестных миллионов, которые проводят жизнь под землей и о которых никто не думает.

Он родился в западном угольном районе, и первое, что запечатлелось в его памяти, был огонь. Ночью языки пламени поднимались там и сям к небу, словно пылающие головы огромных чудищ, старавшихся напугать его. Огонь вырывался горой из высившихся напротив печей, и озаренные пламенем люди со всех сторон направляли на него водяные струи, пока все не исчезало в большом белом облаке пара.

Воздух был наполнен дымом и чадом, шумом фабричных гудков; сажа сыпалась дождем, а ночью иногда все небо полыхало как зарево.

Люди всегда ходили кучками по улицам между закопченными кирпичными домами. Приходили кучками, кучками уходили. Лица их были черны, и даже по воскресеньям глаза были полны угольной пыли. Во всех их разговорах постоянно повторялись одни и те же слова: "Дядя Том".

Отец и Фред, брат Мака, работали, как и все кругом, в шахте "Дядя Том". Улица, где жил Мак, почти всегда была покрыта черной, блестящей грязью. Рядом протекал мелкий ручеек. Чахлая травка на его берегах была не зеленой, а черной. Ручей был грязный, и обычно по нему плыли радужные жирные пятна. Сейчас же за ручьем тянулись длинные ряды коксовых печей, а за ними возвышались черные железные и деревянные помосты, по которым беспрерывно катились маленькие вагонетки. Больше всего Мака интересовало огромное, настоящее колесо, висевшее в воздухе. Это колесо иногда останавливалось на мгновение, потом снова начинало "жужжать". Оно вращалось с такой быстротой, что спицы нельзя было различить. И вдруг они опять становились заметны, колесо в воздухе вращалось медленнее, колесо останавливалось! А потом сызнова начинало "жужжать".

На пятом году жизни Мака Фред и другие мальчики-коногоны посвятили его в тайну того, как без всякого основного капитала добывать деньги. Можно было продавать цветы, открывать дверцы автомобилей, поднимать оброненные трости, отыскивать и приводить автомобили, собирать в трамвае газеты и пускать их вновь в продажу. Мак ревностно принялся за работу в Сити. Каждый цент он отдавал Фреду, и за это ему разрешалось проводить воскресные дни с коногонами в saloons [трактирах (англ.)]. Мак достиг того возраста, когда шустрые мальчишки умудряются целый день разъезжать, не платя ни цента. Как паразит, жил он на всем, что катилось и двигало его вперед. Впоследствии он расширил свою деятельность и работал за собственный счет. Он собирал на стройках пустые бутылки из-под пива и продавал их, говоря: "Меня послал отец".

Но его поймали, безжалостно избили, и его блестящее дело потерпело крах.

На восьмом году жизни Мак получил от отца серую кепку и большие сапоги, которые прежде носил Фред. Эти сапоги были так велики, что Мак одним взмахом ноги мог отправить их в угол комнаты.

Взяв Мака за руку, отец повел его в шахту "Дядя Том". Этот день произвел на Мака неизгладимое впечатление. Он на всю жизнь запомнил, как боязливо и взволнованно шагал по шумному двору. Работа была в разгаре. Воздух дрожал от крика и свиста, мчались тележки, гремели вагоны, все было в движении. А над всем этим мелькало колесо подъемной машины, за которым Мак годами наблюдал издали. За коксовыми печами подымались столбы пламени и белые облака дыма. Сажа и угольная пыль падали с неба, в огромных трубах шипело и бурлило, из холодильных устройств низвергались водопады, а из толстой, высокой заводской трубы беспрестанно тянулся к небу густой дым, черный как смола.

И чем ближе они подходили к закоптелым кирпичным зданиям с лопнувшими оконными стеклами, тем страшнее становился грохот. Казалось, воздух был насыщен воплями тысячи истязуемых детей. Земля дрожала.

-- Что это так кричит, отец? -- спросил Мак.

-- Это уголь!

Никогда Маку не приходило в голову, что уголь может кричать.

Отец поднялся с ним по лестнице большого, содрогавшегося здания, на стенах которого виднелись трещины, и открыл высокую дверь.

-- Здравствуй, Джозия! Я хочу показать своему малышу машину, -- сказал он, повернулся и сплюнул на лестницу.

-- Идем, Мак!

Мак заглянул в большой и чистый, выложенный плитками зал. Мужчина, по имени Джозия, сидел к ним спиной. Расположившись на удобном стуле и держа руки на блестящих рычагах, он неподвижно смотрел на гигантский барабан в глубине зала. Раздался сигнальный звонок. Джозия повернул рычаг, и большие машины справа и слева задвигали своими членами. Барабан, казавшийся Маку вышиной с дом, вращался все стремительнее, а вокруг него гудел черный, толщиной в руку, трос.

-- Клеть идет к шестому ярусу, -- пояснил отец. -- Она падает быстрее камня. Ее уносит вниз. Джозия пускает в ход тысячу восемьсот лошадиных сил.

У Мака голова шла кругом.

По белой планке перед барабаном поднимались и спускались стрелки, и когда они подошли одна к другой, Джозия снова повернул рычаг. Бешено вращавшийся барабан замедлил движение и остановился.

Мак никогда не видал ничего более мощного, чем эта подъемная машина.

-- Thanks [спасибо (англ.)], Джозия! -- сказал отец, но тот даже не повернул головы.

Они обошли кругом помещение, где стояла машина, и поднялись по узкой железной лестнице, по которой Мак еле двигался в своих больших сапогах. Они шли навстречу пронзительным и визгливым детским крикам, и здесь шум был так силен, что нельзя было разобрать ни слова. Они попали в огромный, мрачный зал, полный угольной пыли и лязга железных вагонеток.

У Мака сжалось сердце.

Именно здесь, где визжал и кричал уголь, отец передал Мака черным людям и ушел. К своему изумлению, Мак увидел ручей из угля. На длинной, шириной в метр, ленте беспрестанно неслись куски угля и через отверстие в полу обрушивались, подобно бесконечному черному водопаду, в железнодорожные вагоны. По обеим сторонам этой длинной ленты стояли почерневшие мальчуганы, такие же малыши, как Мак, которые проворно запускали руки в угольный поток, выхватывали из него определенные куски и бросали их в вагонетки.

Кто-то из мальчиков крикнул Маку, чтобы он присматривался. У мальчугана так почернело лицо, что Мак лишь некоторое время спустя узнал его по заячьей губе. Это был соседский мальчик, с которым у него только вчера была драка из-за того, что Мак обозвал его "Зайцем" (это была его кличка).

-- Мы выбираем породу, Мак, -- звонким голосом крикнул "Заяц" прямо в ухо Маку, -- нельзя же вместе с углем продавать камни!

Уже на другой день Мак по излому, по блеску, по форме не хуже других отличал, что уголь, а что -- камень. А через неделю ему казалось, что он уже годы провел в этом черном помещении, полном шума и угля.

Нагнувшись над беспрерывно скользящим угольным ручьем, выискивая черными ручонками породу, Мак простоял здесь полных два года, неизменно на одном и том же месте, пятом сверху. Тысячи тонн угля прошли через его быстрые маленькие руки.

Каждую субботу он ходил за получкой, которую должен был отдавать отцу (кроме небольших карманных денег). Маку минуло девять лет, и он стал мужчиной. Когда в свободный воскресный день он отправлялся в saloon, то надевал котелок и крахмальный воротничок. В крепких зубах торчала трубка. Он жевал резинку, и всегда рот его был полон слюны. Да, он был мужчина, говорил как мужчина и сохранил только крикливо-звонкий голос мальчика, проводящего все будни в шумном рабочем помещении.

Мак имел дело с углем, выданным на поверхность, он изучил его и знал прекрасно -- лучше отца и Фреда! Десятки мальчиков, проработав год, не имели понятия о том, откуда берется весь этот уголь, этот бесконечный поток угольных глыб. Падающих в вагоны. День и ночь звенели железные двери шахты, и подземная клеть, с которой капала влага, без передышки выбрасывала четыре железные вагонетки с полусотней центнеров угля. День и ночь гремели вагонетки по железным плитам помещения, день и ночь опрокидывались они над отверстием в полу (как куры на вертеле!) и, высыпав уголь, возвращались порожняком. Снизу же уголь поднимался транспортером, потом его трясли на больших ситах, и здесь уголь _кричал_. Крупный рудниковый уголь ссыпали в вагоны и вывозили. Well [ну что ж (англ.)], это знали и другие мальчики, но дальше этого они не шли! Проработав месяц, Мак сообразил, что грохотавшие мимо него тележки никак не могли доставить весь этот уголь! И это было верно. Ежедневно прибывали сотни вагонов -- от "Дяди Тома II", "Дяди Тома III", "Дяди Тома IV", и все они собирались у "Дяди Тома I", потому что здесь были сосредоточены очистка, коксование и химическое производство. Мак присматривался и все знал! Он знал, что просеянный уголь доставлялся транспортером на очистку. Здесь порода проходила через баки, уголь уносила вода, а камень оседал на дне. Потом уголь поступал в громадный барабан из пяти сит с отверстиями разной величины. Здесь его кидало и швыряло, здесь он шурша сползал по ситам и сортировался. Отдельные сорта угля по каналам ползли к разным воронкам, падали в виде кускового угля, смешанного угля, орешка I, II, III в вагоны и вывозились наружу. А мелочь -- всякие осколки и пыль, -- ты думаешь, выбрасывалась? Нет! Спроси у Мака, десятилетнего инженера, и он тебе скажет, что уголь отсасывают до тех пор, пока от него не останется ровно ничего. Этот угольный мусор поднимался по железной с отверстиями лестнице. Огромная лестница, заваленная серой грязью, как будто стояла на месте, но, если всмотреться, можно было заметить, что она медленно, совсем медленно движется. За два дня каждая ступенька проходила свой путь,

опрокидывалась и высыпала пыль в огромные бункеры. Оттуда пыль попадала в коксовые печи, превращалась в кокс, а в высоких черных дьяволах конденсировались газы, из которых вырабатывали деготь, аммиак и многое другое. Это был химический цех "Дяди Тома I", и Мак все это знал.

Однажды -- Маку шел тогда десятый год -- отец дал ему костюм из желтой ткани, шерстяной шарф, и в этот день мальчик впервые спустился в шахту -- туда, откуда приходил уголь.

Железный барьер звякнул, раздался звонок, клеть пошла вниз. Сперва медленно, потом с бешеной скоростью, так быстро, что Маку казалось, будто пол клети, на котором он сидел, сейчас провалится. У мальчика потемнело в глазах, в животе сделались спазмы, но потом он привык. С лязгом и стоном неслась железная клеть на глубину восьмисот метров. Раскачиваясь на ходу, она с таким звоном и треском ударялась о направляющие рельсы, что казалось, вот-вот разлетится вдребезги. Вода сверху шлепалась о нее, деревянные крепления шахты, мокрые, черные при свете рудничных ламп, летели вверх мимо открытых дверей. Мак говорил себе, что так и должно быть. Два года он ежедневно в часы смены наблюдал, как забойщики и рудокопы со своими лампочками, танцевавшими словно светлячки в темноте, то выходили из клети, то спускались в ней, и за все время были только две катастрофы. Один раз клеть ударилась о крышу, и рудокопы разбили себе головы, другой раз оборвался канат, -- два штейгера и инженер рухнули вниз. Это могло случиться и теперь, но не случилось.

Внезапно клеть остановилась, и они очутились в восьмом ярусе. Сразу стало тихо. Несколько черных до неузнаваемости, полунагих людей встретили их.

-- Ты привел к нам своего мальчика, Аллан?

-- Yes! [Да! (англ.)]

Мак находился в жарком туннеле, погруженном в темноту и слабо освещенном только у ствола шахты. Вскоре вдали показался огонек лампы, -- приближалась белая лошадь и с нею коногон Джей, старый знакомый Мака. Позади постукивали двадцать железных вагонеток с углем.

Джей осклабился.

-- Алло! Вот и ты! -- крикнул он. -- Мак, я вчера выиграл еще три рюмки в покерном автомате. Тпру, тпру, стой, Бони!

Этому Джею дали Мака в подручные, и целый месяц Мак тенью шагал рядом с ним, пока не обучился. Потом Джей исчез, и Мак сам исполнял его работу.

В восьмом ярусе он чувствовал себя как дома, и ему даже в голову не приходило, что десятилетний мальчик мог быть чем-нибудь, кроме коногона. Вначале его угнетала темнота, еще больше -- царившая здесь жуткая тишина. Какой же он был глупый, когда думал, что тут внизу со всех сторон раздается стук! Напротив, здесь было тихо как в могиле, но, понимаешь ли, свистеть можно было сколько угодно. Только у ствола шахты, где пробегала клеть и несколько человек вкатывали и выкатывали вагонетки, да в забоях, где, большей частью незримые для Мака, люди висели, зажатые где-то в угле, было несколько шумнее. Но и в восьмом ярусе было одно место, где раздавался оглушительный шум: двое бурильщиков, которые, наверное, давно уже оглохли, плечом прижимали к породе пневматические буры, и тут уж ни одного слова нельзя было разобрать.

В восьмом ярусе работало сто восемьдесят человек, и все-таки Мак редко кого-нибудь видел. Изредка приходил штейгер, порохострельный мастер, -- и все. Когда в темном штреке показывалась лампочка и брел мимо одинокий путник, это уже было целое событие. Все свое рабочее время Мак ездил взад и вперед по этим пустынным, темным, низким ходам. Он собирал у забоев и бремсбергов угольные вагонетки и доставлял их к стволу. Здесь он впрягал свою лошадь в готовый поезд из вагонеток с породой для засыпки разработанных пластов, с подпорками, балками и досками для укрепления забоев и развозил их по назначению. Он изучил весь лабиринт ходов, каждую балку, прогнувшуюся под давящей тяжестью горы, все забои, как бы они ни назывались -- "Джордж Вашингтон", "Толстый Билли" или "Веселая Тетушка". Он знал ветряные люки, откуда подымались тяжелые рудничные газы. Он знал каждую "гробовую крышку" -- вклиненные в породу короткие столбы, которые могли внезапно выскочить и расплющить человека о стену. Он точно знал всю систему вентиляции, двери, которые не может открыть самый сильный шахтер, пока не выпустит через маленькое дверное окошечко сжатый воздух, вырывавшийся со свистом, как ледяной вихрь. Были там штреки с тяжелой жаркой атмосферой, так что пот лился градом. Сотни раз за время смены он проезжал эти ледяные и знойные штреки, так же, как это делают тысячи коногонов.

После смены он подымался с товарищами в мчавшейся вверх дребезжавшей клети, подымался и опять опускался, не видя в этом ничего особенного, как клерк, который садится в лифт, чтобы попасть в контору и обратно из конторы на улицу.

Там, в восьмом ярусе, Мак познакомился с Наполеоном Бонапартом, сокращенно Бони. Так звали его белую лошадь. Бони уже много лет провел внизу, в темноте, и наполовину ослеп. Его спина сгорбилась, и голова была опущена к земле, потому что в низких штреках ему постоянно приходилось нагибаться. В лужах между узкими рельсами Бони стоптал свои копыта, и они стали как лепешки. Его лучшие годы остались уже позади, и он порядком облез. Вокруг глаз и ноздрей у него образовались красные круги, которые его не украшали. При всем том Бони чувствовал себя прекрасно, -- он был толст и жирен и стал флегматиком. Он всегда шел одинаковой рысцой. Его мозг установился на этом аллюре, и иначе бегать он уже не умел. Мак мог без конца вертеться перед ним со щеткой (о ней будет речь впереди), -- Бони не ускорял шага. Мак мог колотить его, и тогда этот старый жулик делал вид, будто торопится, -- он показывал свое старание, быстрее кивал головой, громче топал по грязи, но шага опять-таки не ускорял.

Мак не особенно нежничал с Бони. Когда он хотел, чтобы Бони подался в сторону, то локтем толкал его в брюхо, иначе Бони не желал понимать. Хотя он и видел, что должен уступить дорогу, и настораживал уши, он все-таки ждал, пока его не толкнут в бок. Когда Бони засыпал, как это часто с ним случалось, Мак угощал его кулаком по носу. Ведь Мак обязан был доставлять вагонетки, и если бы он не справлялся с ними, его выгнали бы. Он не мог быть снисходительным. Несмотря на все это, они были добрыми друзьями. Иногда отсвистав весь свой репертуар, Мак похлопывал Бони по шее и болтал с ним:

-- He, old Boney, how are you to-day, old fellow? All right, are you? [Эй, Бони, старина, как ты себя сегодня чувствуешь? Хорошо, не правда ли? (англ.)]

После полугодового знакомства Мак вдруг заметил, что Бони грязен. Он только здесь, в темноте, при свете лампы, казался белой масти. Если бы его выволокли на свет божий -- holy Gee! [черт побери! (англ.)] -- как Бони должен был бы стыдиться!

Мак сколотил немного денег и купил скребницу. Бони и думать забыл об этом предмете комфорта. Мак это заметил, так как Бони повернул голову. Этого он не делал даже тогда, когда рядом с ним производили взрывы. Потом Бони стал водить из стороны в сторону своим толстым отвислым брюхом, чтобы вдоволь насладиться щеткой. Мак попробовал пустить в ход и воду -- он вбил себе в голову, что превратит Бони в белоснежного коня! Но от прикосновения воды Бони содрогался, словно от электрического тока, и беспокойно переступал с ноги на ногу. Мак удовлетворился сухой скребницей. И если он долго скреб, старик Бони внезапно вытягивал шею и испускал прерывистый и плаксивый собачий вой -- жалкую пародию на ржание. Тогда Мак разражался хохотом, который гулко разносился по штреку.

Мак без сомнения любил Бони. До сих пор он иногда вспоминает о нем. Он питает необычайный интерес к старым, толстым белым лошадям со сгорбленной спиной и иногда останавливается, похлопывает такую лошадь по шее и говорит: "Смотри, Мод, вот так выглядел Бони!" Но Мод видела уже столько разных Бони, что начинала сомневаться в их сходстве с подлинным. Мак ничего не смыслит в картинах и никогда не истратил на них ни цента, но Мод нашла среди его вещей примитивно нарисованную старую белую лошадь. Впрочем, только через два года после замужества она заметила это его пристрастие. Однажды на холмах Беркшира он вдруг остановил свой автомобиль.

-- Посмотри-ка на этого белого коня, Мод, -- сказал он, указывая на остановившуюся у дороги старую лошадь, запряженную в деревенскую телегу.

Мод не могла удержаться от смеха.

-- Что ты, Мак, эта старая белая кляча похожа на тысячи других!

С этим Мак, конечно, должен был согласиться.

-- Так-то так, Мод, -- кивнул он, -- но у меня когда-то была точно такая же белая лошадь.

-- Когда?

-- Когда? -- Мак устремил взор вдаль; труднее всего ему было говорить о себе. -- Это было давно, Мод! В шахте "Дядя Том".

Еще кое-что осталось у Мака со времен "Дяди Тома" -- пронзительный крик хищной птицы "гей, гей", который он невольно издавал и теперь, когда кто-нибудь вертелся под колесами автомобиля. Этому возгласу он научился в шахте. Им он подгонял Бони, когда нужно было тронуться с места, им останавливал его, когда вагонетка сходила с рельсов.

Почти три года проработал Мак в восьмом ярусе и прошел по штольням "Дяди Тома" половину длины земного экватора, когда разразилась катастрофа, которую многие помнят и поныне. Она стоила жизни двумстам семидесяти двум рудокопам, но принесла счастье Маку.

В третью ночь после троицы, в три часа утра взорвались рудничные газы в нижнем ярусе "Дяди Тома".

Мак вел назад поезд пустых вагонеток и насвистывал уличную песенку, которую каждый вечер исполнял хриплый фонограф в saloon Джонсона. И вдруг сквозь грохот железных вагонеток он услыхал отдаленный гром. Продолжая насвистывать, Мак машинально оглянулся. Он увидел, что подпорки и балки ломались, как спички, и гора оседала. Мак изо всех сил дернул Бони за повод и закричал ему в ухо: "Гей, гей! Git up, git up!" [Берегись, берегись! (англ.)] Услышав, как трещат позади подпорки, Бони испугался и попытался пуститься галопом. Старик Бонапарт так вытянул свое неуклюжее тело, что оно совсем распласталось; он высоко выбрасывал ноги, как скакун, подходящий к финишу, но вдруг исчез под грудой валившихся камней. Мак бежал во всю мочь, так как гора гналась за ним. Зевать нельзя было! И вот он с ужасом заметил, что подпорки и балки трещат и впереди него, а потолок опускается. Схватившись руками за голову, он волчком завертелся на месте и бросился в боковую выемку. Штольня с грохотом обрушилась, стены выемки затрещали, и, подгоняемый падающими камнями, Мак бешено кинулся дальше. Под конец он бежал уже только по кругу, обхватив голову руками и крича...

Мак дрожал всем телом и совершенно обессилел. Он увидел, что забежал в конюшню, как сделал бы и Бони, если бы гора не настигла его. Мальчик вынужден был присесть, ноги отказывались нести его, и вот он сидел, оглушенный ужасом, и целый час не мог ни о чем думать. Наконец он поправил свою тускло горевшую лампу и огляделся. Он был заперт со всех сторон камнем и углем! Мальчик пытался сообразить, как все это произошло, но ему ничего не приходило на ум.

Так он просидел долгие часы. Он плакал от отчаяния и чувства одиночества, но потом взял себя в руки. Он сунул в рот жевательную резинку, и жизненные силы вернулись к нему.

Произошел взрыв газов или угольной пыли -- это было очевидно. Бони был убит обвалом, а он... Ну, его, наверное, откопают!

Мак сидел на земле при свете своей маленькой лампы и ждал. Он ждал несколько часов, потом в его душу закрался ледяной страх, и он в ужасе вскочил. Схватив лампу, он прошел по штольне вправо и влево, освещая груды осыпавшегося камня. Дороги не было! Оставалось только ждать. Мак обыскал ящик для овса, сел на землю и предоставил мыслям полную свободу. Он вспомнил Бони, отца и Фреда, вместе с ним отправившихся в шахту, трактир Джонсона, вспомнил песенку фонографа, покерный автомат. Мысленно он опускал свои пять центов, поворачивал рукоятку, отпускал ее -- удивительно, он все время выигрывал: фульхэнд, ройяль-флеш...

От этой игры его отвлек странный звук. Где-то тикало и потрескивало, как в телефоне. Мак напряженно прислушался и понял, что услышать он ничего не мог. Вокруг была тишина. Его уши дремали. Но эта страшная тишина была невыносима. Он засунул указательные пальцы в уши и прочистил их, откашлялся и громко сплюнул. Потом сел, прислонив голову к стене и смотря прямо перед собой на приготовленную для Бони солому. В конце концов он лег на нее и с тяжким чувством полнейшей безнадежности уснул.

Он проснулся (ему казалось, что прошло несколько часов) от сырости. Лампа погасла. Когда он сделал шаг вперед, под его ногой плеснулась вода. Мак был голоден. Он взял горсть овса и начал жевать. Потом, глядя во мрак, уселся, скрючившись, на брус, к которому привязывали Бони, и снова продолжал жевать зерно за зерном. Все время он прислушивался, но ни стука, ни голосов не было слышно, доносился только звук капающей и журчащей воды.

Мрак был ужасен. Через некоторое время Мак соскочил с бруса, заскрежетал зубами и, схватив себя за волосы, бешено помчался вперед. Он наткнулся на стену, два-три раза с размаху ударился об нее головой и бессмысленно стал бить кулаками по камням. Этот приступ неистового отчаяния продолжался недолго. Мак ощупью добрался опять до бруса и снова стал жевать овес, роняя слезы.

Так он сидел часами. Ничто не шевелилось. О нем забыли!

Мак сидел, жевал овес и думал. Его маленькая голова начала работать, мысли прояснились. В этот страшный час Мак должен был показать себя.

И он себя показал!

Он вдруг соскочил на землю и потряс кулаком в воздухе. "Если those blasted fools [эти проклятые дураки (англ.)] за мной не придут, -- крикнул он, -- я сам себя откопаю!"

Но Мак не сразу стал рыть. Усевшись опять на брус, он начал что-то тщательно обдумывать. Он мысленно начертил себе план яруса у конюшни. Через южную штольню не выйти. Если ему вообще удастся выбраться, то лишь через пласт Паттерсона, "Веселую Тетушку". Выемочный штрек этого пласта находился в семидесяти, восьмидесяти, девяноста шагах от конюшни. Это Мак знал наверняка. Уголь в "Веселой Тетушке" от давления горы стал очень ломким. Это было весьма важное обстоятельство.

Еще в час дня Мак крикнул Паттерсону: "Послушай, Пат, Хиккинс говорит, что мы подымаем только мусор!"

Вспотевшее лицо Пата показалось в свете лампы, и он яростно закричал: "Hikkins shall go to the devil [пусть Хиккинс идет к черту (англ.)], скажи ему это, Мак! To hell [ко всем чертям (англ.)], Мак! В "Тетушке", кроме мусора, ничего и нет, гора раздавила пласт. Пусть Хиккинс-заткнется, Мак, скажи ему это, пусть они лучше закроют этот забой!"

Пат хорошо укрепил пласт новыми подпорками, -- он боялся, что гора обрушится на него. Забой был крутой -- пятьдесят два метра в вышину -- и посредством бремсберга соединялся с седьмым ярусом.

Мак отсчитывал шаги, и когда он насчитал семьдесят, холодная дрожь пробежала у него по телу, а когда он насчитал восемьдесят пять и уперся в камень, он возликовал.

Похолодев от прилива энергии, напрягая жилы и мускулы, он тотчас же принялся за работу. Через час, стоя по колено в воде, он пробил в осыпавшемся камне большую нишу. Но он был измучен, и ему стало дурно в этом скверном воздухе. Он должен был отдохнуть. Через некоторое время он возобновил работу. Медленно и обдуманно. Он должен был ощупывать камни наверху и с обеих сторон, чтобы удостовериться, что не будет обвала, должен был закладывать промежутки между угрожающе нависшими глыбами щебнем и камнями, таскать из конюшни подпорки и доски и выгребать обломки скалы. Так он работал часами, кряхтя, дыша отрывисто и горячо. Утомленный до изнеможения, он заснул, сидя на брусе. Проснувшись, стал прислушиваться и, не уловив ни звука, ни шороха, опять принялся за работу.

Мак копал без устали. Несколько дней работал он таким образом и за все это время прошел всего лишь четыре метра! Сотни раз он видел впоследствии во сне, как он роет и прокладывает себе путь в камне...

Вот он почувствовал, что добрался до края пласта. Он это точно определил по тонкой пыли, оставшейся от сползавшего угля. Мак набил карманы овсом и начал подниматься по пласту. Большинство подпорок осталось на месте, гора вдавила в забой лишь немного угля. Заметив, что уголь легко отодвигается, Мак задрожал от радости, так как перед ним было еще пятьдесят два метра пути. Подвигаясь от подпорки к подпорке, он все время подымался по черному забою. Возврата не было, -- он сам засыпал себе обратный путь. Вдруг он наткнулся на чей-то сапог и по грубой, истертой коже тотчас же узнал сапог Паттерсона. Бедный Пат лежал засыпанный обломками. Страх и ужас до того сковали Мака, что он долго просидел неподвижно. И поныне он старается не вспоминать об этом зловещем часе. Придя в себя, он снова медленно пополз вверх. При нормальных обстоятельствах вершины этого забоя можно было достигнуть за полчаса. Но Мак устал и ослабел, а между тем ему приходилось отодвигать целые тонны угля и внимательно проверять, на месте ли подпорки; его путешествие отняло поэтому немало

времени. Обливаясь потом, разбитый, добрался он до бремсберга. Этот бремсберг вел прямо от восьмого яруса к седьмому.

Мак лег спать. Когда он проснулся, он стал медленно подыматься по рельсам.

Наконец он вышел наверх: штольня была свободна!

Мак присел, пожевал овес и облизал свои мокрые руки. Потом направился к шахте. Он знал седьмой ярус не хуже восьмого, но засыпанные штольни вынуждали его все время менять направление. Он блуждал несколько часов, в ушах у него звенело. Во что бы то ни стало добраться до шахты и дернуть веревку колокола!..

И вдруг, -- когда его уже обуял страх оказаться и здесь запертым, -- вдруг он увидел красные точки света: лампы! Их было три. Мак открыл рот, чтобы крикнуть, но не издал ни звука и упал без чувств.

Быть может, Мак все-таки крикнул, хотя двое из рудокопов клялись, что ничего не слышали, тогда как третий утверждал, что ему почудился слабый крик.

Мак чувствовал, что его кто-то несет, что он поднимается в клети, и он очнулся именно от ее необычно медленного хода. Потом он почувствовал, что его покрыли одеялом и опять понесли. А потом он уже ничего больше не чувствовал.

Семь дней Мак провел под землей, ему же казалось, что прошло всего три дня.

Из всех работавших в восьмом ярусе спасся он один. Словно привидение, вышел этот мальчик-коногон из разрушенных штолен. Его история в свое время обошла все газеты Америки и Европы. Коногон из "Дяди Тома"! Фотография Мака, когда его выносили из шахты, под одеялом, со свисавшей черной ручонкой, и другой снимок, где он сидит в больнице на кровати, появились во всех журналах и газетах.

Весь мир умиленно смеялся над первыми словами, с которыми Мак, очнувшись, обратился к врачу: "Нет ли у вас жевательной резинки, сэр?" Эта просьба была вполне естественна: у Мака пересохло в горле, -- другой на его месте попросил бы воды.

Через неделю он был на ногах. Когда на вопрос об отце и Фреде Маку ответили уклончиво, он исхудавшими руками закрыл лицо и заплакал, как плачет тринадцатилетний мальчик, вдруг оставшийся на свете один-одинешенек. Во всем остальном жизнь Мака сложилась прекрасно. Его сытно кормили, неизвестные люди посылали ему пирожные, деньги, вино. После истории в шахте жизнь Мака пошла бы по прежней колее, если бы в судьбе осиротевшего коногона не приняла участия одна богатая дама из Чикаго. Она взяла на себя его воспитание.

Маку и в голову не приходило, что можно стать кем-нибудь кроме горняка, поэтому его покровительница дала ему возможность поступить в горную академию. Окончив учение, Мак вернулся инженером в шахту "Дядя Том", где и оставался два года. Потом он отправился в Боливию на серебряные рудники "Хуан Альварес", туда, где человеку нельзя упускать подходящего момента для удачного удара. Предприятие обанкротилось, и Мак принял на себя руководство постройкой туннелей на боливийской железной дороге через Анды. Здесь и пришла ему в голову его _идея_. Ее осуществление зависело от усовершенствования буров для камня, и Мак принялся за работу. Алмаз для буров необходимо было заменить дешевым материалом приблизительно такой же твердости. Мак поступил в Эдисоновские опытные мастерские и старался создать инструментальную сталь исключительной твердости. Упорно проработав два года и приблизившись к своей цели, он покинул мастерские и основал наконец самостоятельное дело.

Его "алланит" быстро принес ему состояние. В эту пору он познакомился с Мод. У него никогда не было времени интересоваться женщинами, и он относился к ним равнодушно. Но Мод понравилась ему с первого взгляда. Ее изящная темноволосая головка, головка мадонны, теплый взгляд больших глаз, в лучах солнца вспыхивавших янтарем, печальная задумчивость (она недавно похоронила мать), легко воспламеняющийся и восторженный нрав -- все это произвело на Мака глубокое впечатление. Особенно восхищался он цветом ее лица. У нее была самая тонкая, чистая и белая кожа, какую он когда-либо видел, и ему казалось непостижимым, как она не рвалась при малейшем дуновении ветра. Ему нравилось, с каким мужеством она взялась за устройство своей жизни. В то время она давала уроки музыки в Буффало и была занята с утра до вечера. Однажды ему пришлось слышать ее рассуждения о музыке, искусстве и литературе -- все это были вещи, в которых он ровно ничего не понимал, -- и его изумление перед образованием и умом Мод не знало пределов. Он влюбился в Мод по уши и делал все те глупости, которые обычно делают в таких случаях мужчины. Вначале он не питал никакой надежды и переживал часы полного отчаяния. Но однажды он прочел что-то в глазах у Мод... Что же это было? О чем говорил этот взгляд? О чем бы он ни говорил, но он придал ему мужества. Быстро решившись, Мак сделал ей предложение, и несколько дней спустя они поженились. После этого он еще три года посвятил неутомимой разработке своей _идеи_.

И теперь он был "Мак", просто-напросто "Мак", которого воспевали с концертных эстрад предместий.

2

В первые месяцы постройки туннеля Мод очень редко видела своего мужа.

Уже через несколько дней она заметила, что его теперешняя деятельность резко отличалась от работы на заводе в Буффало, и Мод была достаточно умна и сильна, чтобы без лишних слов принести свою жертву делу Мака. Бывали дни, когда они совсем не виделись. То он был на постройке, то в опытных мастерских в Буффало или на срочных совещаниях. Аллан приступал к работе в шесть часов утра и часто задерживался до поздней ночи. Утомленный до крайности, он иногда оставался ночевать на кожаной кушетке в своем кабинете, вместо того чтобы возвращаться в Бронкс.

Мод и этому покорилась.

Чтобы обеспечить мужу для таких случаев хоть некоторый комфорт, она устроила для него спальню с ванной комнатой и столовую в здании синдиката -- настоящую маленькую квартирку, где он мог-найти табак и трубки, воротнички, белье, короче говоря, -- все, что ему могло понадобиться. Она уступила ему Лайона, слугу-китайца. Никто не умел так ходить за Маком, как Лайон. Он мог с азиатской невозмутимостью повторять сто раз подряд, каждый раз выдерживая надлежащую паузу: "Dinner, sir! Dinner, sir!" [Обедать, сударь! Обедать, сударь! (англ.)] Он никогда не терял терпения и всегда был хорошо настроен. Всегда был на месте и никогда не был на глазах. Работал бесшумно и аккуратно, как хорошо смазанная машина, и все у него было в строжайшем порядке.

Теперь Мод видела Мака еще реже, но она не теряла бодрости. Пока погода позволяла, она устраивала по вечерам небольшие обеды на крыше здания синдиката, откуда открывался восхитительный вид на Нью-Йорк. Эти обеды с несколькими друзьями и сотрудниками Мака доставляли Мод большое удовольствие, и она тратила чуть ли не весь день на приготовления. Она даже не сердилась, если Мак иногда мог показаться всего на несколько минут.

Зато воскресные дни Мак всегда проводил с Мод и Эдит в Бронксе, и тогда, казалось, он стремился наверстать все упущенное за неделю. Веселый и беззаботный как дитя, он всецело посвящал себя жене и ребенку.

Иногда по воскресеньям Мак ездил с Мод на постройку в Нью-Джерси, чтобы "немного поддать пару Хобби".

Один месяц был заполнен совещаниями с учредителями и главными акционерами синдиката, с финансистами, инженерами, агентами, гигиенистами, архитекторами. В Нью-Джерси строители наткнулись на большое количество воды, на Бермудских островах при прокладке спирального туннеля встретились неожиданные затруднения. В Финистерре рабочие плохо справлялись с делом, и их надо было заменить более опытными. К тому же с каждым днем набегало все больше текущих дел.

Аллан работал иногда по двадцать часов подряд, и само собой разумеется, что в такие дни Мод не предъявляла к нему никаких требований.

Мак уверял ее, что через несколько недель ему станет легче. Пусть только пройдет первая горячка! Она терпеливо ждала. Ее единственной заботой было, чтобы Аллан не переутомлялся.

Мод гордилась тем, что она жена Мака Аллана. Она находилась в каком-то тихом экстазе. Ей было приятно, когда газеты называли ее Мака "завоевателем подводных материков" и восхваляли смелую гениальность его замыслов. Впрочем, она еще не совсем освоилась с мыслью, что Мак вдруг стал знаменитостью. Подчас она смотрела на него с благоговейным изумлением. Но потом убеждалась, что он выглядит точно так же, как и раньше, -- простодушным и нисколько не особенным. Она опасалась, что его ореол померкнет, если люди узнают, как прост он по натуре. Она ревностно собирала все статьи и газетные заметки, относившиеся к Маку и к постройке туннеля. Иногда она заходила мимоходом в кинематограф посмотреть на себя, Mac's wife [жену Мака (англ.)], в момент, когда в Туннельном городе она выходит из автомобиля и ее светлый пыльник развевается по ветру. Журналисты пользовались каждым случаем, чтобы интервьюировать ее, и она хохотала до слез, когда на следующий день читала в газете: "Жена Мака утверждает, что нет лучшего мужа и отца во всем Нью-Йорке!"

Мод, хотя она и не признавалась себе в этом, чувствовала себя польщенной, когда замечала, что люди в магазинах, где она делала покупки, с любопытством смотрели на нее, и испытала большое торжество, когда Этель Ллойд близ Юнион-сквера остановила автомобиль, чтобы указать на нее своим приятельницам.

В хорошие дни Мод катала Эдит в элегантной колясочке по парку, и они часто посещали зоологический сад, где обе часами (Мод не меньше, чем ее дочка) забавлялись, наблюдая обезьян в клетках. Но с наступлением осени, когда от сырой земли в Бронксе начал подыматься туман, этому удовольствию пришел конец.

Мак обещал во время рождества провести с ними три дня -- без всякой работы! -- и Мод заранее предвкушала радость. Она хотела отпраздновать эти дни так, как они с Маком праздновали первое рождество, проведенное ими вместе. На второй день праздника должен был приехать Хобби, и они играли бы в бридж до потери сознания. Мод выработала на эти три дня бесконечную программу.

Весь декабрь она почти не виделась с мужем. У Аллана изо дня в день шли заседания с финансистами, занятыми подготовкой денежной кампании, которую предполагалось открыть в январе. Аллану нужна была -- для начала! -- недурная сумма в три миллиарда долларов. Но он ни минуты не сомневался, что получит ее.

Здание синдиката неделями осаждалось журналистами, пресса делала на этом сенсационном событии блестящие дела. Каким образом будут строить туннель? Как будет организовано управление? Как будут снабжать рабочих воздухом? Как рассчитана туннельная трасса? Как это может быть, что туннель, несмотря на небольшие обходы, окажется на одну пятидесятую короче морского пути? ("Проткни иголкой глобус, и ты поймешь это!") Все это были вопросы, неделями державшие публику в напряжении. В конце концов в газетах еще раз разгорелся спор вокруг туннеля -- новая "туннельная война", начатая с таким же ожесточением и шумом, как и первая.

Враждебная пресса опять выдвигала старые аргументы: что никто не может пройти бурами в граните и гнейсе такое чудовищное расстояние, что глубина в четыре-пять тысяч метров от уровня моря исключает всякую человеческую деятельность, что по всем причинам туннель потерпит жалкое фиаско. Дружественная же пресса в тысячный раз разъясняла своим читателям преимущества туннеля. Время! Время! Время! Точность! Безопасность! Поезда будут ходить с такой же точностью, как по поверхности земли, даже точнее. Отпадает зависимость от погоды, тумана, от уровня воды. Пассажирам не грозит опасность пойти на корм рыбам где-нибудь посреди океана. Стоит лишь вспомнить катастрофу с "Титаником", стоившую жизни тысяче шестистам человек, и судьбу "Космоса", пропавшего без вести в океане с четырьмя тысячами пассажиров-на борту!

Дирижабли никогда не будут годиться для массового передвижения. К тому же до сих пор только двум дирижаблям удалось перелететь Атлантический океан.

Какую бы газету, какой бы журнал ни брали в руки в ту пору, везде натыкались на слово "туннель", на иллюстрации и фотографии, относящиеся к туннелю.

В ноябре известия стали скуднее и в конце концов совсем перестали появляться. Бюро печати синдиката хранило молчание. Аллан закрыл доступ к местам стройки, и новые фотографии перестали появляться.

Лихорадочное волнение, возбужденное в публике газетами, улеглось, и несколько недель спустя туннель стал старой темой, больше не вызывавшей интереса. На смену ей пришла новая сенсация: международный полет вокруг земного шара!

Туннель был забыт.

Этого и хотел Аллан. Он знал публику и понимал, что первые взрывы восторга не принесут ему и миллиона долларов. Он сам собирался в надлежащий момент вызвать новый взрыв восторга, основанный не только на сенсации.

В декабре в газетах появилось с подробными комментариями сообщение, которое могло дать понятие о размахе проекта Аллана. Питтсбургская компания плавильных заводов за двенадцать с половиною миллионов долларов приобрела право на все годные для металлургической обработки материалы, которые во время строительства будут доставлены на дневную поверхность. Акции компании на шестом году строительства поднялись на шестьсот процентов. Одновременно появилась заметка, что "Эдисоновская компания биоскопов" за миллион долларов обеспечила за собой монопольное право съемки -- и публикации фотографий и фильмов на все время стройки туннеля.

"Эдисон-Био" кричащими плакатами оповещала о намерении создать "вечный памятник туннелю -- от первого удара заступом до первого экспресса в Европу, -- чтобы передать грядущим поколениям историю величайшего творения человеческих рук". Она собиралась показывать туннельные фильмы прежде всего Нью-Йорку, потом рассылать их в тридцать тысяч кинотеатров земного шара.

Трудно было придумать лучшую рекламу для туннеля!

"Эдисон-Био" начала свою деятельность с того же дня, и в ее двухстах нью-йоркских кинотеатрах все бывало занято до последнего кресла.

"Эдисон-Био" показывала уже знакомые сцены в саду на крыше отеля "Атлантик", пять гигантских столбов пыли в пяти местах стройки, каменные фонтаны, выбрасываемые взрывами динамита, обед сотни тысяч людей, приход отряда горняков утром на работу, показывала умирающего рудокопа, которому свалившийся обломок скалы продавил грудь, кладбище Туннельного города с пятнадцатью свежими холмиками. Показывала дровосеков в Канаде, рубивших для Аллана лес, бесконечные ряды груженых вагонов с буквами С.А.Т. (Синдикат Атлантического туннеля).

Этот фильм, длившийся всего десять минут, носил незатейливое название "Вагоны", но производил самое сильное, поистине грандиозное впечатление. Товарные поезда -- и ничего больше. Товарные поезда в Швеции, России, Австрии, Венгрии, Германии, Франции, Англии, Америке. Поезда с рудой, бревнами, углем, рельсами, железными конструкциями, трубами -- без конца. Паровозы дымили, вагоны все катились и катились беспрестанно, так что в конце концов зритель начинал _слышать_ шум их колес.

Под конец шла еще одна маленькая картина: Аллан и Хобби обходят место стройки в Нью-Джерси.

Каждую неделю "Эдисон-Био" демонстрировала новый туннельный фильм, и под конец всегда появлялся Аллан собственной персоной.

Если раньше имя Аллана значило не больше имени любого летчика-рекордсмена: сегодня его чествуют, завтра он ломает себе шею, а послезавтра о нем забывают, -- то теперь публика связывала с именем Аллана и с его делом определенные и ясные представления.

За четыре дня до рождества Нью-Йорк и другие большие и маленькие города Соединенных Штатов были наводнены огромными плакатами, перед которыми, несмотря на предпраздничную лихорадочную суету, останавливались толпы народа. На этих плакатах красовался феерический город, море домов с птичьего полета. Ни один смертный ничего подобного не видел ни во сне, ни наяву. Посреди этого города, нарисованного в светлых тонах (таким бывает Нью-Йорк в легкой дымке солнечного утра), раскинулся грандиозный вокзал, по сравнению с которым речная станция на Гудзоне или Центральный и Пенсильванский вокзалы казались просто игрушками. От него разветвлялись уходившие вглубь пути. Они так же, как и главный путь, который вел к устью туннеля, были перекрыты бесчисленными мостами, обрамлены парками с фонтанами, утопавшими в цветах террасами. Толпа тысячеоконных небоскребов сгрудилась вокруг вокзальной площади: отели, магазины, банки, конторы. По бульварам и широким улицам, кишевшим людьми, мчались автомобили, трамвайные вагоны, поезда подземной дороги. Бесконечные кварталы города терялись в туманной дали горизонта. На переднем плане слева были изображены сказочные портовые сооружения, амбары, доки, набережные, где кипела работа, и пароходы теснились труба к трубе, мачта к мачте, справа -- бесконечный солнечный пляж с тысячами шезлонгов и плетеных кресел, а позади -- огромные и роскошные курортные отели. И Под изображением этого ослепительного, сказочного города стояла надпись: "Город Мака Аллана через десять лет". Верхние две трети гигантского плаката занимало залитое солнцем небо. А совсем наверху, у самого края плаката, скользил аэроплан величиной с чайку. Можно было заметить, что пилот сбрасывал за борт что-то сначала казавшееся песком, потом быстро увеличивавшееся, порхавшее в воздухе, разлетавшееся все шире, -- было видно, что это листовки, а над самым городом некоторые из

них уже настолько увеличились в размере, что можно было отчетливо прочесть на них: "Покупайте строительные участки!"

Эскиз этого плаката принадлежал Хобби, которому надо было только немного напрячь фантазию, чтобы придумать самые изумительные вещи.

В тот же день эти плакаты, уменьшенные до соответствующего формата, были приложены ко всем крупным газетам. Каждый квадратный фут Нью-Йорка был покрыт ими. Во всех бюро, ресторанах, барах, салонах, на поездах, на станциях, на речных пароходиках, везде перед глазами был чудо-город, который Аллан хотел вызвать к жизни из голых дюн. Люди посмеивались, дивились, восхищались, и к вечеру каждый во всех подробностях знал город Мака Аллана. Всему Нью-Йорку казалось, что он уже побывал там.

В самом деле, этот малый знал, как заставить о себе говорить:

"Bluff! Bluff! Fake! The greatest bluff of the world!" [Блеф! Блеф! Афера! Величайший блеф в мире! (англ.)]

Но среди десяти человек, кричавших "блеф", всегда находился один возмущавшийся, который тряс соседа за плечо и до изнеможения орал:

-- Блеф? Вздор, дружище! Опомнись! Мак это сделает!!! Вот увидишь! Мак -- это человек, который делает все, что обещает!

Были ли вообще эти гигантские города возможны и осуществимы? Над этим вопросом многие ломали себе головы.

Уже на следующий день газеты напечатали ответы самых известных статистиков, экономистов, банкиров, крупных промышленников. "Мистер Ф. сказал то-то и то-то!.." Все они сходились на том, что одно только управление туннелем и его техническое обслуживание потребуют многих тысяч людей, которые могут составить население нескольких больших городов. Пассажирское движение между Америкой и Европой, по мнению некоторых авторитетов, будет происходить на три четверти, а по мнению других -- на девять десятых через туннель. В настоящее время в пути между обоими континентами ежедневно находится в среднем около пятнадцати тысяч человек. Полагали, что с открытием туннеля движение возрастет в шесть раз, а по мнению иных -- в десять. Цифры могут взлететь до непостижимых пределов. Чудовищные толпы людей ежедневно будут прибывать в туннельные города. Может случиться, что через двадцать, через пятьдесят или сто лет эти туннельные города примут такие размеры, которых мы, сегодняшние люди, с нашими скромными масштабами, даже не можем себе представить.

Аллан наносил удар за ударом.

На другой день он опубликовал цены на участки!

Нет, Аллан не был так бесстыден, чтобы потребовать те же громадные суммы, которые платили в Манхэттене, где каждый квадратный метр земли надо было покрыть тысячедолларовыми ассигнациями, -- нет, но все-таки цены были бессовестные, и самых приличных людей они заставляли раскрыть от изумления рот. Посредники бесновались, словно укушенные змеей. Они так жестикулировали, что казалось, будто они обожгли пальцы и язык. Ого-го! Они мяли свои котелки, Мак! Где он, этот подлец, разрушивший их надежды в несколько лет составить себе состояние? Кто дал ему право совать все деньги в собственный карман?

Было ясно, как день: эта затея Аллана была самой большой и самой смелой земельной спекуляцией всех времен! Аллан, этот негодяй, скупил кучи песка гектарами, а теперь продавал их квадратными метрами! В самой дешевой зоне своих проклятых мошеннических городов, которых даже еще не было на свете, он умножил свой капитал в сто, а в самой дорогой зоне в тысячу раз.

Спекулянты оцепенели. (Однако некоторые из них зорко следили друг за другом. Они чуяли тайные покушения, возможность создания трестов, концернов!) Враждебной фалангой противостояли они наглым притязаниям Аллана. У Аллана хватило еще смелости заявить, что эти "льготные" условия останутся в силе только в течение трех месяцев. Ладно! Время покажет, найдутся ли охотники до его грязных луж, ха-ха! Будет видно, отыщет ли он дураков, которые за простую воду будут платить, как за виски... И они увидели!

Как раз пароходные компании, которые так яростно ополчились против Аллана, первыми обеспечили себе строительные участки -- набережные и доки. Банк Ллойда проглотил здоровый куш, его примеру последовал торговый дом Ваннамекера.

Теперь выхода не было! Надо было подписываться! Каждый день газеты сообщали о новых покупках -- безумные суммы за песок, за груды камня -- в этом городе-блефе! Но выхода не было, медлить было опасно. Бывают на свете дела, исхода которых никогда нельзя предвидеть. Помоги бог, -- возврата не было...

Аллан не унимался. Он основательно подогрел публику и хотел извлечь из этого пользу.

Четвертого января огромными объявлениями в газетах он пригласил весь мир подписаться на первые три миллиарда долларов, из которых две трети должны были падать на Америку и одна треть -- на Европу. На один миллиард предполагалось выпустить акции, на остальные -- временные свидетельства.

Призыв к подписке содержал все основные сведения о расходах по постройке, об открытии туннеля для движения, о его доходности, капитализации, амортизации. При ежедневном провозе тридцати тысяч пассажиров туннель уже оказывался выгодным. Но, без сомнения, их будет сорок тысяч и больше. К этому еще прибавятся громадные доходы от грузов, от почтовых отправлений, от спешной пневматической почты и телеграмм...

Мир не знал таких цифр! Смущающие, гипнотизирующие, жуткие цифры, от которых захватывает дух и мутится разум!

Приглашение на подписку скрепили учредители и крупные акционеры синдиката -- самые блестящие имена Соединенных Штатов и крупнейшие банки. Руководителем финансовой части, к удивлению Нью-Йорка, стал

человек, известный всем как Lloyds righthandman [правая рука Ллойда (англ.)], некто С.Вульф, до тех пор состоявший директором банка Ллойда.

3

Сам Ллойд поставил С.Вульфа во главе синдиката, и этим имя С.Вульфа было навеки связано с сооружением туннеля.

Его портрет появился в вечерних газетах: почтенный, серьезный, несколько тучный джентльмен восточного типа. Толстые губы, большой, с горбинкой нос, короткие, черные, курчавые волосы и черные бачки, темные выпуклые глаза с чуть-чуть меланхолическим блеском.

"Начал свою деятельность торговлей старым платьем -- теперь финансовый руководитель С.А.Т. с окладом в двести тысяч долларов в год. Знает двенадцать языков".

История со старым платьем была побасенкой, когда-то в шутку пущенной самим Вульфом. Но, без сомнения, С.Вульф поднялся из низов. До двенадцати лет он месил ногами грязь венгерского местечка Сентеш, звался Самуилом Вольфзоном и питался луком. Его отец обмывал покойников и исполнял обязанности могильщика. Тринадцати лет Самуил поступил учеником в один из будапештских банков и оставался там пять лет. Здесь, в Будапеште, ему, как он выражался, впервые "стало тесно в его одежде". Снедаемый честолюбием, отчаянием, стыдом и жаждой власти, он томился сумасбродными желаниями, собирал силы для отчаянного прыжка. И собрал! Со скрежетом зубовным, с неистовой энергией Самуил Вольфзон трудился день и ночь. Он изучал английский, французский, итальянский, испанский, русский, польский языки. И что ж, его мозг впитывал эти языки без труда, как промокательная бумага -- чернила. Он знакомился с продавцами ковров и апельсинов, с кельнерами, студентами, карманными ворами, чтобы упражняться в произношении. Целью его стремлений была Вена! Он приехал в Вену, но и здесь ему было "тесно". Он чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Целью его стремлений стал Берлин! Самуил Вольфзон чутьем находил свой маршрут. Он нагрузил свою память еще сотней тысяч слов и зубрил наизусть иностранные газеты. Через три года ему удалось получить грошовое место корреспондента у биржевого маклера в Берлине. Но и здесь ему было "тесно"! Тут ему напомнили, что он венгр и еврей. Тогда он сказал себе, что его путь лежит в Лондон, и начал бомбардировать банкирские дома Лондона предложениями услуг. Безуспешно. Лондонцы в нем не нуждались, но он, Самуил Вольфзон, хотел их заставить нуждаться в нем. Инстинкт подсказал ему, что надо заняться китайским. Его мозг впитал и этот трудный язык. В произношении он упражнялся с одним китайским студентом, которого вознаграждал почтовыми марками. Самуил Вольфзон жил хуже собаки. Он не давал ни пфеннига на чай, у него хватало мужества пропускать мимо ушей брюзжание самых наглых берлинских кельнеров. Он никогда не пользовался трамваем и героически таскал по городу свои мучительно ноющие плоские ступни, обросшие мозолями. Он давал уроки иностранных языков за восемьдесят пфеннигов, он переводил. Деньги! Сумасшедшие желания подхлестывали его, честолюбие грызло, самые смелые мечты туманили его мозг. Он не давал себе передышки. Ни отдыха, ни сна, ни любовных похождений! Выпавшие на его долю унижения и невзгоды не могли расслабить его. Он сгибал спину и снова выпрямлял ее. На щите или со щитом! Внезапно он поставил все на карту. Он отказался от службы! Заплатил тридцать марок за искусственные зубы. Купил элегантные ботинки, заказал у одного из лучших портных костюм английского фасона и джентльменом отправился в Лондон. После бесплодных попыток, продолжавшихся целый месяц, он наткнулся у банкиров Тэйлера и Терри на другого Вольфзона, уже успевшего проделать подобную метаморфозу. Этот Вольфзон говорил на стольких же языках и потехи ради вздумал осрамить молодого всезнайку. Но он потерпел неудачу. Это был большой успех Самуила Вольфзона. Преуспевший Вольфзон позвал переводчика китайца и был поражен, услышав, что Самуил Вольфзон ведет с ним свободный разговор. Через три дня Самуил Вольфзон снова прибыл в Берлин, но отнюдь не для того, чтобы там остаться! Он стал теперь мистером С.Вольфсоном (через "с") из Лондона, говорил исключительно по-английски и в тот же вечер отбыл в Шанхай в качестве знатного путешественника, третирующего проводников спального вагона. В Шанхае он почувствовал себя уже лучше. Он ощутил свободу, увидел новые горизонты. Но ему все еще было "тесновато". Его здесь не признавали за англичанина, как старательно ни копировал он своих сочленов по клубу. Он крестился, принял католичество, хотя никто этого от него не требовал. Накопил денег (старик Вольфзон мог отказаться от омовения покойников) и отправился в Америку. Наконец-то он мог свободно вздохнуть! Наконец-то на нем был костюм, в котором ему не было тесно! Путь был открыт, здесь он мог развернуть во всю ширь накопленную энергию. Не колеблясь; он отбросил последние слоги своего имени и фамилии, как ящерица -- хвост, и назвал себя Сэмом Вольфом. Но, чтобы никому не пришло в голову принять его за _немца_, он изменил еще одну букву и стал С.Вульфом. Он отделался от английского акцента, сбрил усы, которые носил по английской моде, и стал говорить в нос. Он вел себя развязно и весело и первый начал разгуливать по улице без сюртука. Как чистокровный американец развалился он в кресле чистильщиков сапог. Однако прошло время, когда из него можно было лепить любую форму -- треугольную, квадратную, круглую -- смотря по надобности. Этому С.Вульф положил конец. Все его превращения в свое время были нужны ему, чтобы стать самим собой. Точка! Несколько лет он вертелся на чикагской хлопковой бирже, потом переехал в Нью-Йорк. В жизни своей он двигался точно задом наперед, и, чтобы попасть наконец на свое место, ему пришлось объехать вокруг света. Его занятия, его гений, его неслыханная работоспособность быстро завоевали ему положение, и теперь он тяжело ступал патентованными подошвами по плечам ниже его стоящих, как некогда другие ходили по его плечам. Он оставил крикливый тон биржевика, стал

солиден и, в знак того, что теперь он преуспел и волен делать все, что захочет, обзавелся индивидуальным лицом: отрастил себе небольшие баки.

В Нью-Йорке ему повезло так же, как когда-то в Лондоне. Он натолкнулся на второго С.Вульфа, но на этот раз С.Вульфа грандиозного калибра: он натолкнулся на Ллойда! В то время С.Вульф работал на федеральной бирже, но отнюдь не на первых ролях. К счастью, ему поручили начать небольшой маневр против Ллойда. Вульф сделал несколько удачных ходов, и Ллойд, знаток всех дебютов в этой разновидности шахматной игры, почувствовал, что имеет дело с талантом. Это не была тактика У.П.Гриффита и Т.Льюиса, нет! Ллойд постучал пальцем, выскочил С.Вульф, и Ллойд ангажировал этот талант. С.Вульф шел в гору и в гору, и его взлет был так стремителен, что он не мог остановиться, пока не очутился на самом верху. Так, к сорока двум годам, уже немного отяжелевший астматик, прожженный честолюбием, причалил он к зданию Синдиката Атлантического туннеля!

С.Вульф только раз приостановился на своем пути, и это дорого ему обошлось. Он влюбился в Чикаго в красивую венку и женился на ней. Но красота венки, воспламенившая его чувства, быстро отцвела, и осталась сварливая, заносчивая, болезненная жена, терзавшая его своей ревностью. Ровно шесть недель назад она умерла. С.Вульф не горевал о ней. Двух сыновей он отвез в пансион, но не в Европу, а в Бостон, где из них должны были сделать свободных, образованных американцев. Потом, сняв для одной светловолосой шведки, учившейся пению, маленькую квартирку в Бруклине, он сказал себе, что передышка кончена, и приступил к своей деятельности в синдикате.

В первый же день он ознакомился со своим громадным штатом помощников, доверенных, кассиров, бухгалтеров, счетоводов, стенографисток, на второй день принял бразды правления, а на третий день казалось, будто он уже годами занимает этот пост. Ллойд рекомендовал С.Вульфа как самого выдающегося финансиста, какого ему приходилось встречать на своем веку, и Аллан, которому С.Вульф как личность был чужд и мало симпатичен, уже через несколько дней должен был признать, что С.Вульф по меньшей мере изумительный работник.

4

Призыв к подписке был опубликован, и туннель начал проглатывать поступавшие деньги.

Цена акций была тысяча долларов, временные свидетельства выпускались на сто, двадцать и десять долларов.

В громадном голом зале нью-йоркской фондовой биржи в день выпуска бумаг стоял чудовищный шум. Уже много лет не появлялось на рынке бумаг, судьбу которых так трудно было предугадать. Эти бумаги могли оказаться блестящим помещением капитала и могли не стоить ни гроша. Спекулянтов охватило лихорадочное волнение, но они держались выжидательно, так как никто не решался быть первым. Но недаром С.Вульф несколько недель провел в спальных вагонах, зондируя позицию, занятую в отношении синдиката крупной промышленностью, наиболее заинтересованной в туннеле. Он не подписывал ни одного заказа, не убедившись, что контрагент настроен дружественно. Поэтому ровно в десять часов агенты крупной промышленности открыли энергичный спрос. Они приобрели акций примерно на семьдесят пять миллионов.

Плотина была прорвана...

Но Аллан стремился главным образом к тому, чтобы получить деньги от народа. Не шайка капиталистов и спекулянтов должна была строить туннель, он должен был стать собственностью народа, Америки, _всего мира_.

И народные деньги не заставили себя ждать.

Люди всегда преклонялись перед смелостью и богатством. Смелость -- это торжество над смертью, богатство -- торжество над голодом, а люди ничего не боятся больше, чем смерти и голода.

Сами бесплодные, они всегда набрасываются на чужие идеи, чтобы согреться, воодушевиться ими и позабыть о собственной бледности и бессодержательности. Это была армия читателей газет, трижды в день питающих свою душу судьбами неизвестных им людей. Это была армия зрителей, ежечасно наслаждавшихся рискованными прыжками и смертоносным падением своих ближних, в тупом гневе на собственное бессилие и нищету. Только избранные могли позволить себе роскошь личных переживаний. У остальных не хватало ни времени, ни денег, ни мужества, -- им нечего было ждать от жизни. Их увлекал за собой свистящий приводной ремень, вихрем мчавшийся вокруг земного шара, и кто приходил в содрогание, у кого захватывало дух, тот падал, разбивался вдребезги, и никому до него не было дела. Ни у кого не хватало ни времени, ни денег, ни мужества заняться несчастным, -- сострадание тоже стало роскошью. Старая культура обанкротилась, но много ли нужно было дать массам? Чуточку искусства, чуточку религии и "христианской науки", армию спасения, теософию и спиритическое опьянение, -- ведь если подумать, то этого было бы недостаточно, чтобы удовлетворить душевные запросы даже горсточки людей. Немного дешевых развлечений -- театр, кино, бокс и варьете, -- чтобы преодолеть головокружение, когда на несколько часов останавливался свистящий приводной ремень. Многие же были всецело поглощены тренировкой своего тела, -- они старались набраться сил, чтобы завтра мчаться дальше. Эту тренировку они называли спортом.

Жизнь была горяча и стремительна, безумна и гибельна, пуста, бессмысленна. Тысячи отбрасывали ее. Довольно старых песенок! Нельзя ли новый мотив?

И Аллан дал им его. Он дал им песнь из железа и треска электрических искр, и они поняли: это была песнь их эпохи, и они слышали ее неумолимый ритм в грохоте проносящихся над их головами поездов надземной дороги.

Этот человек не сулил никаких участков в царстве небесном, не утверждал, что душа человека имеет семь этажей. Этот человек не жонглировал давно забытым прошлым или туманным будущим, -- этот человек был

современность. Он обещал нечто осязательное, всем понятное: он хотел просверлить дырку в земном шаре -- вот и все!

Но, несмотря на простоту проекта, каждый сознавал его необычайную смелость. А главное: проект был окружен ослепительным сверканием миллионов!

Вначале деньги "маленьких людей" притекали скудно, но потом полились рекой. По Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, по всей Америке носились слова _туннельные акции_. Вспоминали об акциях "Виктория Рэнд-Майн", об акциях "Континенталь-Радиум", обогативших их держателей. Туннельные акции могли оставить далеко за собой все бывшее до них. Можно было... О, что и говорить, их необходимо было купить! Речь ведь шла не о лишней тысяче долларов, -- речь шла о том, чтобы обеспечить себе отступление в старость, пока еще не вывалились из челюстей зубы.

Неделями людской поток наводнял гранитные лестницы здания синдиката. Несмотря на то что акции с таким же успехом можно было приобрести в сотне других мест, каждый хотел получить их свеженькими из первоисточника. Кучера, шоферы, официанты, лифтеры, конторщики, продавщицы, ремесленники, воры... Евреи, христиане, американцы, французы, немцы, русские, поляки, армяне, турки -- все нации и все оттенки кожи... Люди толпились перед синдикатом и горячо спорили об акциях, дивидендах, прибылях. Воздух был насыщен запахом денег! Казалось, будто с серого зимнего неба на Уолл-стрит лился дождь верных денег, солидных долларовых банкнот.

В иные дни скопление народа было так велико, что у служащих не оставалось времени сложить в пачки собранные деньги. Это было, право, совсем как в давно минувшие дни франклиновского синдиката, дни покойного "520-процентного Миллера". Кассиры просто бросали деньги на пол позади себя. Они ходили по щиколотку в деньгах, и артельщики без перерыва уносили деньги в бельевых корзинах. Этот все нараставший поток денег вызывал блеск неистовой жадности в глазах людей, просовывавших голову в окошечко. Одной горсточки, которую можно зажать в кулаке, достаточно, чтобы они -- безличные номера, моторы, автоматы, машины -- превратились в людей. Одурманенные, словно после попойки, опьяненные мечтой, с горящими глазами, они уходили, чувствуя себя миллионерами.

В Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско, во всех больших и маленьких городах Соединенных Штатов разыгрывались подобные сцены. Не было фермера, не было ковбоя, не было рудокопа, не спекулировавшего акциями С.А.Т.

А туннель глотал, туннель пил деньги, словно допотопное чудовище, обуреваемое жаждой. Он глотал их по обе стороны океана.

5

Огромная машина работала полным ходом, и Аллан следил за тем, чтобы она не сбавляла его. Он считал, что всякое дело можно сделать за половину того времени, которое обычно считают необходимым. Все приходившие с ним в соприкосновение безотчетно заражались его темпом. В этом была сила Аллана.

Тридцатидвухэтажный человеческий улей из железа и бетона -- от подвальных кладовых до радиостанций на плоской крыше -- был пропитан потом и трудом. Его восемьсот ячеек кишели служащими, конторщиками, стенографистками. Его двадцать лифтов весь день сновали вверх и вниз. Здесь были открытые лифты; в которые можно было вскочить, когда они проходили мимо. Были лифты-экспрессы, не останавливавшиеся до десятого, до двадцатого этажа, был один лифт, взлетавший без остановок до самого верхнего этажа. Ни один квадратный метр тридцати двух этажей не лежал втуне. Почта, телеграф, кассы, управления, ведавшие надземными и подземными сооружениями, силовыми станциями, городским строительством, машинами, пароходами, железом, сталью, бетоном, деревом. До поздней ночи здание высилось феерически освещенной башней среди пестрой, многозвучной сумятицы Бродвея.

Во всю длину четырех верхних этажей тянулась грандиозная картина-реклама, сделанная по эскизу Хобби из тысяч разноцветных электрических лампочек. Огромная карта Атлантического океана, окруженная звездно-полосатыми флагами. Океан из голубых, вечно колышущихся волнистых линий. Слева -- Северная Америка, справа -- Европа с британскими островами: плотные сверкающие звездные кучи. Туннельный город, Бискайя, Азорские острова, Бермудские и Финистерре -- пятна рубиновых огней, слепящих, как прожекторы. На океане ближе к Европе -- четкое изображение парохода из цветных огней. Но пароход не двигается с места. Под голубыми волнистыми линиями очерчена красными огнями главная кривая, ведущая через Бермудские и Азорские острова к берегам Испании и Франции: туннель. По туннелю от континента к континенту непрестанно мчатся взад и вперед огненные поезда. Шестивагонные поезда -- каждые пять секунд! Светящийся туман подымается от сверкающей картины, основанием которой служат спокойные, самоуверенные, широкие молочно-белые гигантские буквы: "Атлантический туннель".

Чем лихорадочнее была окружавшая Аллана атмосфера, тем лучше он себя чувствовал. Настроение у него было отличное, жизнь била в нем ключом, он был здоровее и сильнее, чем когда-либо. Еще свободнее стала посадка его головы, а плечи -- еще шире и крепче. Глаза утратили свое детское, добродушное выражение, взор был сосредоточен и уверен. Даже губы, прежде сжатые, теперь словно расцвели неуловимой улыбкой. Он ел с аппетитом, спал глубоким, спокойным сном и работал без торопливости, равномерно и неутомимо.

Мод, в противоположность ему, потеряла долю своей свежести и красоты. Ее юность прошла, из девушки она превратилась в женщину. Ее щеки лишились прежнего свежего румянца, они немного поблекли и похудели. Она

всегда была теперь настороженной, гладкий лоб прорезали задумчивые складки.

Она страдала.

В феврале и марте она провела несколько чудесных недель, вознаградивших ее за скучную и бессодержательную зиму. Она побывала с Маком на Бермудских и Азорских островах и в Европе. Особенно на море она весь день могла наслаждаться обществом Мака. Тем тяжелее ей было по возвращении опять привыкать к Бронксу.

Неделями Мак бывал в разъездах: Буффало, Чикаго, Питтсбург, Туннельный город, электрические станции на побережье. Он жил в экспрессах. А в Нью-Йорке его уже снова ждала груда работы.

Правда, он сдержал свое обещание и чаще приезжал теперь в Бронкс, но почти всегда, даже на воскресные дни, привозил неотложную работу. Часто он являлся только к ночи -- выспаться, принять ванну, позавтракать -- и опять исчезал.

В апреле солнце уже высоко стояло на небе и было даже несколько нестерпимо душных дней. Мод прогуливалась с Эдит, которая уже бодро семенила рядом с нею по парку, благоухавшему влажной землей и свежей зеленью. Как и в прошлое лето. Мод часами стояла с Эдит на руках перед клеткой обезьян и весело смеялась. Маленькая Эдит с раскрасневшимися от восторга щечками каталась на изящном шотландском пони, бросала хлеб медведям, сидевшим с раскрытой пастью у решеток, останавливалась перед львятами. Так проходили послеобеденные часы. Иногда Мод отваживалась посетить с ребенком шумный, пыльный центр Нью-Йорка, -- у нее была потребность ощущать вокруг жизнь. После этого она обычно садилась отдохнуть в парке Баттери, где поезда воздушной железной дороги гремят над головами играющих детей. Это было самое любимое место Мод во всем необъятном Нью-Йорке.

Рядом с аквариумом стояли скамьи. Тут Мод располагалась и уносилась мыслями далеко за пределы залива, пока ее дочурка, пыхтя от напряжения и удовольствия, возилась с пестрыми формочками в песке. Белые пароходики шныряли взад и вперед между Хобокеном, Эллис-Айлендом, Бедлоз-Айлендом, Стэйтен-Айлендом, Бруклином. Широкая молочно-белая бухта и Гудзонов залив кишели ими, -- Мод насчитывала иногда сразу тридцать штук. На всех пароходиках безостановочно подымался и опускался белый двуплечий рычаг, похожий на коромысло весов. Казалось, будто пароходики шагают в семимильных сапогах. Паром от Центрального вокзала Нью-Джерси проходил нагруженный железнодорожными вагонами, буксирные и таможенные катера беспокойно шныряли по воде. Вдали в солнечном тумане высился светлый силуэт статуи Свободы, и казалось, будто она парит над водой. Еще дальше тянулась голубая, еле заметная полоса, -- это был Стэйтен-Айленд. Из пароходных труб вырывалась белая струя пара, и через некоторое время слышен был гудок или свисток. Бухта гудела тысячами голосов -- от пронзительного визга буксирных катеров до низкого, сотрясавшего воздух рева океанских пароходов. Беспрерывно звенели цепи, вдали раздавались удары по железу. Шум был такой многоголосый, что производил впечатление своеобразного концерта я побуждал к грезам и раздумью.

Вдруг загудело совсем близко: огромный пассажирский пароход пробирался, залитый солнцем, по мутной, зеленоватой воде Гудзона. На борту играл оркестр, вся палуба была усеяна точками -- человеческими головами, а на корме чернела плотная масса палубных пассажиров.

-- Помаши ручкой, Эдит, помаши пароходу!

И Эдит поднималась, махала маленьким жестяным ведерком и кричала -- совсем как свисток катера.

Когда они собирались домой, Эдит всегда просилась к отцу. Но Мод объясняла ей, что папе мешать нельзя.

Мод опять усердно занялась музыкой. Она возобновила уроки и прилежно упражнялась. Как много она позабыла! Несколько недель подряд она посещала все интересные концерты и два раза в месяц играла в общежитии продавщиц и швей. Но к наслаждению, которое приносила ей музыка, все чаще примешивалась мучительная тоска. От этого Мод все реже и реже стала подходить к роялю и в конце концов совсем забросила музыку. Она посещала лекции по воспитанию детей, гигиене, этике и защите животных. Ее имя мелькало даже в списках покровительниц разных обществ по призрению инвалидов и воспитанию сирот -- этих современных амбулаторий, где перевязывают раны, нанесенные в немилосердной борьбе за хлеб насущный.

Но она ощущала какую-то внутреннюю пустоту, пустоту, в которой клокотали гнев и желание.

Под вечер она неизменно вызывала Мака то телефону, и ей становилось легче от одного звука его голоса.

-- Мак, ты приедешь сегодня к обеду? -- спрашивала она и напряженно ждала его ответа, еще не докончив фразы.

-- Сегодня? Нет, сегодня это невозможно! Но завтра я приеду, я это устрою. Как поживает Эдит?

-- Лучше, чем я, Мак! -- Но она говорила это смеясь, чтобы не расстраивать его.

-- Пусть она подойдет к телефону, Мод.

И Мод, счастливая, что он вспомнил о ребенке, поднимала девочку, а Эдит лепетала несколько слов в телефон.

-- Ну, до свидания, Мак! Не беда, что сегодня не вышло, но завтра тебе не будет пощады, слышишь?

-- Да, я слышу. Завтра -- непременно. Спокойной ночи, Мод!

Но впоследствии часто случалось, что Лайону никак не удавалось вызвать Мака к телефону, так как он не мог оторваться от делового разговора.

И Мод, несчастная и рассерженная, нервно швыряла трубку, с трудом удерживаясь от слез.

По вечерам Мод читала. Она прочла целые шкафы книг, но быстро убедилась в том, что большинство книг не содержало ничего, кроме лжи. No, my dear [нет, мой дорогой (англ.)], жизнь -- нечто совсем другое! Но иногда ей попадалась книга, изображавшая ее же горе во весь его рост. Глубоко расстроенная, со слезами на глазах, блуждала она взад и вперед по пустым и безмолвным комнатам. Наконец ее осенила замечательная мысль самой написать книгу. Совсем особенную -- такую, чтобы она стала сюрпризом для Мака. Эта мысль захватила ее. Несколько часов

она бегала по городу в поисках такой тетради, какую она представила себе накануне. Наконец, нашла то, что хотела. Это был дневник, тонкой желтоватой бумаги, в переплете из крокодиловой кожи.

После обеда Мод приступила к работе. На первой странице она написала: "_Жизнь моей маленькой дочурки Эдит и то, что она говорила. Написано ее матерью Мод_".

"Да хранит ее бог, мою драгоценную Эдит", -- написала она на второй странице. А на третьей уже начиналось описание жизни Эдит: "To begin with my sweet little daughter was born..." [начну с того, что моя дорогая маленькая дочурка родилась... (англ.)]

Книгу она собиралась подарить Маку на рождество. Эта работа приводила ее в восторг, и она скоротала за нею много одиноких вечеров. Она добросовестно записывала каждую мелочь из жизни своей маленькой Эдит. Все забавные словечки, все наивные и мудрые вопросы, замечания и мысли ее девочки.

Иногда она отвлекалась от работы, углублялась в собственные заботы и размышления.

Она жила от воскресенья до воскресенья, когда Мак приезжал к ней. Воскресенья для нее были праздником. Она украшала дом, придумывала особое меню, которое должно было вознаградить Мака за всю неделю. Но иногда Аллан не мог вырваться и в воскресенье.

В один воскресный день он был внезапно вызван на сталелитейный завод в Буффало. А в следующее воскресенье он привез с собой в Бронкс некоего Шлоссера, начальника стройки на Бермудах, и Мод не получила от приезда Мака почти никакого удовольствия, так как мужчины использовали этот день для обсуждения технических вопросов.

И вот в один прекрасный день Мод явилась в необычное время в здание синдиката и попросила Лайона передать Маку, что ей необходимо немедленно с ним поговорить.

Она ждала в столовой, рядом с кабинетом Мака, и слышала, как чей-то хриплый, жирный голос перечислял названия банков:

-- "Манхэттен"... "Морган и Компания"... "Шерман"...

Она узнала голос С.Вульфа, которого терпеть не могла. Вдруг голос замолк, и Мод услышала слова Мака:

-- Сию минуту. Скажи, Лайон, что сию минуту.

Лайон вышел и шепотом передал ответ.

-- Я не могу ждать, Лайон!

Китаец смущенно заморгал глазами и тихо вышел из комнаты.

Тотчас же появился Мак, разгоряченный работой, в наилучшем настроении.

Заливавшаяся слезами Мод закрывала лицо платком.

-- Мод, что с тобой? -- испуганно спросил он. -- Что-нибудь с Эдит?

Мод заплакала еще сильнее. Эдит, Эдит... А о ней он и не подумал. Разве с ней ничего не могло случиться?.. Ее плечи вздрагивали от рыданий.

-- Я просто больше не в силах выносить это! -- всхлипывала она, прижимая платок к лицу.

Ее рыдания все усиливались. Она уже не могла перестать, как расплакавшийся ребенок. Вся ее злоба, вся печаль рвались наружу.

Мак стоял совершенно растерянный. Потом дотронулся до плеча Мод и сказал:

-- Послушай, Мод, я ведь не виноват, что Шлоссер испортил нам воскресный день. Он приехал со своего участка и никак не мог пробыть больше двух дней.

-- Не в одном этом воскресенье дело! Вчера вот был день рождения Эдит... Я ждала... Я думала...

-- День рождения Эдит? -- смущенно переспросил Аллан.

-- Да. Ты забыл о нем!

Мак стоял пристыженный.

-- Как же это так? -- пробормотал он. -- Еще позавчера я помнил об этом! -- Помолчав, он продолжал: -- Послушай, дитя мое, мне о стольких вещах приходится помнить эти дни. Ведь так будет только пока все наладится...

Мод вскочила и топнула ногой. Покраснев от гнева, она смотрела на мужа сквозь заливште ее лицо слезы:

-- Ты без конца это говоришь, уже месяцы ты это говоришь! О, что за жизнь!

Всхлипывая, она снова бросилась на стул и закрыла лицо. Мак окончательно растерялся. Он стоял, как провинившийся школьник, и краснел. Никогда еще не видел он Мод в таком волнении.

-- Послушай, Мод! -- снова начал он. -- Иногда оказывается работы больше, чем человек ожидает, но все это скоро изменится...

И он просил ее потерпеть еще, рассеяться, заняться музыкой, посещать концерты, театры.

-- Ах, все это я уже пробовала, скучно! Я сыта всем этим по горло! Все только ждать и ждать!..

Мак покачал головой и беспомощно посмотрел на Мод.

-- Да, так что же нам с тобой придумать? -- тихо спросил он. -- Не поехать ли тебе на несколько недель в деревню? В Беркшир?

Мод вскинула голову и взглянула на него еще влажными, расширенными глазами.

-- Ты хочешь совсем от меня отделаться? -- спросила она.

-- Да нет же, нет! Я думал только о твоей пользе, дорогая Мод! Мне тебя жаль, искренне жаль...

-- Я не хочу, чтобы ты меня жалел, не хочу...

И снова неудержимо полились эти глупые слезы.

Мак посадил ее к себе на колени и старался ласками успокоить.

-- Вечером я приеду в Бронкс! -- сказал он наконец, как будто этого обещания было достаточно, чтобы загладить его вину.

Мод вытерла заплаканное лицо:

-- Хорошо. Но если ты приедешь позже половины девятого, я разведусь с тобой! -- Сказав это, Мод тотчас густо покраснела. -- Я часто об этом думала, не смейся, Мак! Так нельзя обходиться с женой. Я не шучу!

Она обняла Мака, прижалась своей горячей щекой к его загорелому лицу и прошептала:

-- Ведь я так тебя люблю, Мак, так люблю!

Ее глаза блестели, когда она спускалась в лифте с тридцать второго этажа. Она чувствовала себя хорошо, на сердце у нее стало так тепло, но вместе с тем ей было немного стыдно. Она вспомнила смущение Мака, огорчение в его взоре, его беспомощность и скрытое удивление, что она не могла понять, как необходима эта работа.

"Я себя вела как дура. Ужасно глупо! -- досадовала она. -- Что Мак теперь подумает обо мне? Что у меня не хватает бодрости и терпения и что я не способна понять его работу... И как глупо было лгать, что я уже часто думала о разводе!"

Мысль о разводе пришла ей в голову только во время разговора с мужем.

-- Да, право, дура! -- пробормотала она, садясь в автомобиль, и улыбнулась, чтобы справиться с неприятным ощущением стыда, которое вызвало в ней ее поведение.

Аллан поручил Лайону в три четверти восьмого "выкинуть его из конторы". Точно! Около восьми часов он забежал в магазин, накупил груду подарков для Эдит и несколько вещей для Мод, не особенно тщательно выбирая, так как ничего не смыслил в этих делах.

"Мод права", -- думал Аллан, в то время как автомобиль мчался по шестимильной, прямой как стрела, улице Лексингтона. Он ломал себе голову над тем, как ему устроиться в будущем, чтобы можно было больше времени посвящать семье. Но ни к какому решению он не пришел. Все дело было в том, что количество работы с каждым днем возрастало, а не убывало.

"Что же мне делать? Если бы я мог кем-нибудь заменить Шлоссера, -- он так беспомощен!"

Мак вспомнил, что у него в кармане лежит несколько спешных писем, перечел и подписал их. У Гарлем-Ривера он покончил с этим и велел остановить автомобиль, чтобы опустить письма. Было двадцать минут девятого.

-- Сверни на Бостонскую дорогу, Энди, let her rip [дай хорошего ходу (англ.)], но не сбей никого!

И Энди помчался по Бостонской дороге так, что прохожие шарахались в сторону, а конный полицейский галопом бросился им вдогонку. Мак положил ноги на противоположное сиденье, зажег сигару и, утомленный, закрыл глаза. Он уже засыпал, когда автомобиль сразу остановился. Весь дом был празднично освещен.

Мод, как ребенок, сбежала с лестницы и бросилась Маку на шею. Еще из палисадника она закричала:

-- О, какая я дура, Мак!

Ее не смущало, что шофер слышит ее.

Да, теперь она вооружится терпением и никогда не будет жаловаться.

-- Клянусь тебе в этом, Мак!

6

Мод сдержала слово, но это далось ей нелегко.

Она больше не жаловалась, если Мак не приезжал в воскресный день или если он привозил с собой столько работы, что едва мог уделить минутку жене. Мак взял на себя сверхчеловеческий труд, -- она это понимала, -- труд, какого не выдержал бы никто на его месте. От нее зависело не взваливать на его плечи лишней обузы. Напротив, она должна была стремиться к тому, чтобы дать ему возможность вполне насладиться коротким досугом.

Она была весела и беззаботна, когда он приезжал, и ничем не выдавала тоску, томившую ее в его отсутствие. И странно -- он, Мак, никогда не спрашивал об этом, ему и в голову не приходило, что она страдает.

Настало лето. Пришла осень, в бронкском парке пожелтели листья, и деревья перед домом сбрасывали свой зеленый убор, не ожидая вмешательства ветра.

Мак спросил Мод, не хочет ли она переехать в Туннельный город. Она скрыла свое удивление. Ему, пояснил он, придется раза два в неделю бывать там, и он намерен устраивать по воскресным утрам нечто в роде аудиенций, когда всякий, инженер или рабочий, мог бы высказывать ему свои пожелания и жалобы.

-- Если хочешь, Мак...

-- Мне кажется, что так будет лучше всего, Мод! Вообще я собираюсь, как только представиться возможность, перевести всю свою контору в Туннельный город. Боюсь, впрочем, что тебе покажется там скучно.

-- Хуже, чем в Бронксе, не будет, Мак! -- с улыбкой ответила Мод.

Переезд должен был состояться весной. Но, готовясь к нему, Мод часто задумывалась: "Что я буду делать в этой цементной пустыне?.."

Необходимо было взяться за какое-нибудь дело, которое захватило бы ее и прогнало бы глупые мысли и мечты.

Наконец в голову Мод пришла чудесная мысль, и она ревностно взялась за ее осуществление. Эта мысль оживила ее, она повеселела и улыбалась так таинственно, что даже Маку это бросилось в глаза.

Мод некоторое время наслаждалась любопытством Мака, но не сумела долго хранить свою тайну. Дело в том, сказала она, что ей необходимо чем-нибудь заняться, необходимо найти себе настоящую работу, и такую, чтобы это

не было пустой игрой. И вот ей пришла в голову мысль работать в госпитале Туннельного города.

-- Не вздумай смеяться надо мной, Мак! Это совершенно серьезное намерение.

Она, впрочем, уже начала слушать курс лекций, пояснила Мод, в детской клинике доктора Вассермана.

Мак задумался.

-- Ты в самом деле уже слушаешь лекции, Мод? -- недоверчиво спросил он.

-- Да, Мак, вот уже месяц, как я их посещаю. Когда весной я переберусь в Туннельный город, у меня будет определенное занятие. Без этого я не могу.

Мак был смущен, стал задумчив и серьезен. Он изумленно моргал, не находя слов. Мод потешалась над ним.

-- Может быть, это и неплохо, если ты чем-нибудь займешься, Мод! -- задумчиво сказал он, кивая и растягивая слова. -- Но почему непременно в госпитале?..

Вдруг он весело рассмеялся. Он представил себе свою маленькую Мод в костюме сестры милосердия.

-- Ты что же, потребуешь большой оклад?

Мод была недовольна его шутливым тоном. Мак принял ее намерение за каприз, за шутку, он не верил в ее выдержку. Он совсем не понимал, что работа стала для нее потребностью. Мод оскорбляло это нежелание понять ее.

"Раньше такое отношение нисколько не огорчало меня, -- подумала она на другой день. -- Очевидно, я изменилась". И Мод, терзавшаяся днем и ночью потерей веры в свое счастье, пришла к заключению, что женщина не может удовлетворяться только любовью и поклонением.

Вечером Мод осталась одна, шел приятный, освежающий дождь, и она взялась за свой журнал.

Она записала несколько фраз маленькой Эдит, явно свидетельствовавших о наивной жестокости и детском эгоизме ее обожаемой дочурки. "Качества, свойственные всем детям", -- не забыла прибавить Мод. Она продолжала развивать эту мысль и написала: "Мне думается, что только матери и жены бывают действительно самоотверженны. Дети и мужчины лишены этого качества. Мужчины отличаются от детей лишь в одном: они легко жертвуют мелкими, внешними, я сказала бы -- несущественными вещами. Но от своих глубоких, затаенных желаний и стремлений они никогда не откажутся ради любимого человека. Мак -- мужчина и эгоист, как все мужчины. Несмотря на свою любовь к нему, я не могу избавить его от этого упрека".

Убедившись в том, что Эдит спит, Мод накинула шаль и вышла на веранду. Тут она села в плетеное кресло и стала прислушиваться к шуму дождя. На юго-западе тускло пламенело зарево: Нью-Йорк.

Собираясь уйти в спальню, она бросила взор на раскрытую книгу на письменном столе. Она прочла свою запись, мудростью которой в глубине души немного гордилась. Но теперь она недовольно покачала головой и приписала: "Пишу час спустя, послушав, как шумит дождь. Не бросаю ли я Маку незаслуженных упреков? Может быть, это я эгоистка? Разве Мак требует чего-нибудь от меня? Не я ли требую жертв от него? Теперь все записанное прежде в дневнике кажется мне полнейшим абсурдом. Сегодня мне уж не найти истины. Как хорошо шумит дождь. Он приносит умиротворение и сон. -- Мод, маленькая дурочка Мака".

Часть третья

1

Тем временем на всех пяти станциях бурильные машины Мака Аллана уже врезались во тьму на много миль вглубь. Словно страшные ворота, ведущие в ад, были устья туннеля.

День и ночь без перерыва из этих ворот на поверхность земли вылетали со скоростью экспресса нагруженные камнем поезда; день и ночь без перерыва с бешеной скоростью кидались под землю поезда с рабочими и материалом. Эти двойные штольни были похожи на раны, черные, страшные раны, все время извергавшие гной и поглощавшие свежую кровь. А там, в глубине, неистовствовал тысячерукий человек!

То, что делал Мак Аллан, было не похоже на труд в привычном смысле этого слова. Это была яростная, адская борьба за секунды. Он _мчался_ сквозь камень!

При тех же машинах, при тех же материалах, но при старых методах работы Аллану понадобилось бы для окончания туннеля девяносто лет. Но он трудился не по восемь, а по двадцать четыре часа в сутки. Работал по воскресеньям и праздникам. При проходке он работал в шесть смен, он заставлял своих рабочих за четыре часа проделывать работу, которая при обычных темпах отняла бы восемь часов. Таким путем он добивался шестикратной производительности.

Место, где работала бурильная машина, называлось у туннельных рабочих "адом". Там царил такой грохот, что почти все рабочие глохли, несмотря на то, что закладывали уши ватой. Пробивавшие породу буры Аллана врезались в нее со звонким и резким звуком. Она кричала, как тысяча младенцев, объятых смертельным страхом, она хохотала, как толпа сумасшедших, она бредила, как целая больница одержимых горячкой, и грохотала, как огромный водопад. По знойным штольням на пять миль разносились ужасные, небывалые звуки, и никто не услышал бы, если бы произошел обвал. Рев заглушал команду и сигналы труб, поэтому все приказания передавались оптическими приборами. Огромные прожекторы бросали яркие снопы то ослепительно-белого, то кроваво-красного света на хаотическое смешение облитых потом людей, тел, рушащихся глыб, тоже похожих на

человеческие тела, и пыль катилась, словно густые клубы пара, в световых конусах рефлекторов. Среди этого хаоса кишащих тел и камней, содрогаясь, полз серый, покрытый пылью колосс, как допотопное чудовище, вывалявшееся в тине, -- бурильная машина Аллана.

Продуманная Алланом до мельчайших деталей, она походила на огромного панцирного осьминога, с кабелем и электромотором вместо кишок, с черепом, наполненным голыми человеческими телами, и волочащимся позади хвостом из проводов и кабелей. Она расходовала энергию, равную мощности двух курьерских паровозов. Это чудовище с горящими челюстями и многократно расщепленной пастью ползло вперед, касаясь породы своими губами и щупальцами. Покачиваясь и дрожа от первобытной ярости, оно наслаждалось своей разрушительной силой и с ревом и воем въедалось по голову в камни. Оно вытягивало щупальца и губы, впрыскивая что-то в разъеденные им дыры. Его щупальца и губы -- это буры с венцами из "алланита", полые, охлаждаемые водой, а впущенное в отверстия вещество -- динамит. Подобно морскому осьминогу, оно внезапно меняет свой цвет. Его челюсти дымятся кровью, спинной бугор зловеще сверкает, и вот этот страшный осьминог пятится, окутанный красным дымом, а потом снова ползет вперед. Взад и вперед, день и ночь, годами, без передышки.

Как только меняется цвет чудовища и оно отходит назад, толпа людей бросается вверх по скалистой стене и с лихорадочной поспешностью соединяет торчащие из пробуренной скважины проволоки. Потом люди, словно охваченные ужасом, мчатся прочь. Грохот, гром, гул. Раздробленная порода грозно преследует бегущих, ей предшествует град камней, осыпающих броневые плиты бурильной машины. Тучи пыли вздымаются навстречу знойному багровому туману. Вдруг опять -- ослепительно-белый свет, и полунагие люди кидаются в клубящееся облако пыли, взбегая по еще дымящейся куче обломков.

Продвигаясь вперед, чудовище алчно вытягивает свои прожорливые страшные щупальца -- клещи, краны, сует свою стальную нижнюю челюсть вперед, вверх и _пожирает_ камни, скалы, щебень, которые сотни людей с искаженными, блестящими от пота лицами бросают ему в пасть. Челюсти двигаются, отвисшее до земли брюхо всасывает и переваривает все это, и сзади выходит наружу бесконечный поток камней и обломков скал.

Сотни обливающихся потом дьяволов маячат вверху среди камней, тянут за цепи, орут, ревут, и гора мусора заметно тает и оседает у них под ногами. Прочь с пути, камень должен освободить дорогу -- в этом задача!

И вот пестрые от грязи толпы людей уже долбят, сверлят, роют под прожорливыми щупальцами чудовища, чтобы разровнять ему путь. Кряхтя, тащат рабочие шпалы и рельсы. Рельсы свинчиваются, и чудовище движется вперед.

За его покрытое грязью тело, за его бедра, брюхо, за горбатую спину цепляются крохотные человечки. Они высверливают дыры в потолке и стенах, в земле, в нависших камнях, чтобы, заложив патроны, в любой момент можно было произвести взрыв.

С тем же лихорадочным, исступленным рвением, как перед бурильной машиной, шла работа и позади нее, куда вытекал бесконечный поток камней. За каких-нибудь полчаса необходимо было на двести метров расчистить машине обратный путь, чтобы она могла откатиться на время взрыва.

Как только на непрерывно движущейся решетке под чревом машины появлялись камни, на нее вскакивали молодцы атлетического телосложения и устремлялись к самым крупным камням, которые не под силу поднять человеку. Двигаясь вместе с решеткой, выступавшей на десять шагов за машиной, они прикрепляли цепи для обматывания этих громадных глыб к кранам, торчавшим с задней стороны машины и поднимавшим камни.

Непрерывно двигающаяся решетка с треском и грохотом ссыпала груды камней в низкие и пузатые железные тележки, похожие на рудничные вагонетки и соединенные в целые поезда, которые по полукруглым соединительным рельсам переводились с левого пути на правый и стояли под решеткой ровно столько, сколько нужно было для погрузки. Эти поезда вагонеток везли рудничные аккумуляторные локомотивы. Куча бледнолицых рабочих, с кашей из грязи на губах, толпилась вокруг решетки и вагонеток, роя, сгребая, перекатывая и крича. Прожекторы заливали их немилосердно ярким светом, а воздух из вентиляторов обдавал свистящим вихрем.

Битва не на живот, а на смерть кипела вокруг бурильной машины, и каждый день бывали здесь раненые, а иногда и убитые.

После четырехчасовой бешеной работы приходила смена. Наконец измученные, сварившиеся в собственном поту, бледные, почти без сознания от сердечной слабости, рабочие бросались в вагонетку, на мокрые камни, и мгновенно засыпали, и пробуждались лишь на следующий день.

Рабочие пели песню, сочиненную кем-то из их рядов. Эта песня начиналась так:

В недрах, где туннель грохочет,
В черных недрах ада, братья,
Страшным жаром отдает!
Лишний доллар в час работы,
В час работы лишний доллар
Мак уплатит за твой пот...

Сотни убегали из "ада", многие, поработав короткое время, теряли трудоспособность. Но _всегда приходили новые_!

2

Маленький рудничный локомотив пробегал с вагонетками по туннелю несколько километров, до того места, где стояли железнодорожные платформы. Там кранами поднимали вагонетки на воздух и опорожняли их.

Как только платформы наполнялись, поезд отходил -- каждый час по десятку таких поездов и больше, -- и на его месте уже стоял другой с рабочими и материалом.

Американские штольни к концу второго года продвинулись на девяносто пять километров, и на всем этом огромном участке кипела лихорадочная работа. Аллан ежедневно, ежечасно требовал максимального напряжения сил. Не считаясь ни с чем, он увольнял инженеров, не сумевших одолеть заданной кубатуры проходки; не считаясь ни с чем, рассчитывал рабочих, не поспевавших за общим темпом.

Еще грохочут железные вагонетки, еще штольня полна пыли, каменных осколков и грохота взрыва, а партия рабочих уже тащит при свете рефлекторов балки, столбы и доски для укрепления штольни против каменных обвалов. Толпы техников укладывают электрический кабель, временные шланги и трубы для воды и нагнетаемого воздуха.

У поездов копошится клубок людей, занятых разгрузкой материалов и распределением их вдоль пути, чтобы бревна, доски, скобы, железные балки, болты, трубы, кабели, буры, взрывные гильзы, цепи, рельсы, шпалы всегда были под рукой, как только они понадобятся.

Через каждые триста метров отряды запыленных людей неистово прижимают буры к стенам штольни. Они взрывают и пробивают нишу в высоту человеческого роста, а как только с воем проносится поезд, скрываются между столбами. Но скоро ниша достигает такой глубины, что им уже не нужно прятаться от поездов, а через несколько дней стена дает пустой звук, обрушивается, и рабочие оказываются в параллельной штольне, где также мчатся поезда. Тогда они переходят на триста метров дальше, чтобы взяться за новый квершлаг. Квершлаги служат для вентиляции и для сотни других целей.

По пятам этих рабочих следует новый отряд. Его задача заключается в том, чтобы искусно обмуровать узкие соединительные ходы. Из года в год они заняты только этой работой. Только каждую двадцатую поперечную штольню они оставляют неотделанной.

Дальше! Вперед!

Вот с шумом подходит поезд и останавливается у двадцатой штольни. Толпа черных от сажи рабочих выскакивает из вагонов и с молниеносной быстротой переносит на плечах в поперечную штольню буры, кирки, балки, мешки с цементом, рельсы, шпалы, а позади уже нетерпеливо заливаются сигнальные колокола задержанных поездов. Вперед! Поезда проносятся мимо. Поперечная штольня поглотила черных людей, буры визжат, раздается треск, камни разлетаются, штольня становится все шире и шире. Она расположена наискось к трассе туннеля. Ее стены, потолок и пол укрепляются железом и бетоном. В штольне продолжен рельсовый путь: здесь -- стрелка.

Значение этих стрелок неоценимо. Благодаря им беспрестанно шныряющие поезда с материалом и камнем можно через каждые шесть километров переводить в параллельную штольню.

Этим чрезвычайно простым способом каждый шестикилометровый участок может быть изолирован для дальнейшей отделки.

Шестикилометровый лес деревянных балок, столбов, подпорок, перекладин превращался в шестикилометровый лес железных каркасов.

Где есть ад, там есть и чистилище. И как были в туннельных штольнях "обитатели ада", так были и "обитатели чистилища".

Здесь, в "чистилище", путь свободен, и целое море вагонов, облепленных со всех сторон рабочими, проносится по этим участкам. В ста местах сразу начинается битва: пушечная пальба, трубные сигналы, вспышки прожекторов. Штольню взрывами увеличивают до нужной ширины и высоты. Раздается грохот, как от удара снарядов по броненосцу. Это падают наземь сбрасываемые балки и рельсы. Красное, как сурик, железо, балки, листы, прокатанные на заводах Пенсильвании, Огайо, Оклахомы и Кентукки, наводняют штольню. Старые рельсы снимаются, динамит и мелинит взрывают скалу, сверкают кирки и лопаты. Посторонись! Шум, крики, искривленные рты, вздувшиеся мускулы, бьющиеся на висках жилки, извилистые как змеи, тело, прижатое к телу. Они тащат огромные двутавровые балки, предназначенные служить опорами туннельному рельсу (туннельная дорога -- однорельсовая). Десятки инженеров с измерительными приборами и аппаратами лежат на земле и работают с величайшим нервным напряжением, обливаясь потом, оставляющим грязные полосы на их полунагих телах. Опорная балка в четыре метра длиной и восемьдесят сантиметров высотой, по концам слегка загнутая кверху, заливается бетоном. Словно строя корпус корабля, укладывают балку за балкой, а вслед им льется, поглощая их, поток бетона. Шпалы. Словно муравьи соломинку, тащат сотни людей, с натугой, еле держась на ногах, огромные тридцатиметровые рельсы и прикрепляют их к шпалам. За ними ползут другие, с тяжелыми частями конструкций, которые железным каркасом должны охватить весь овал туннеля. Собранные вместе, эти части дают фигуру эллипса, несколько приплюснутого у основания. Четыре части образуют ребро: основание, два боковых бруса (контрфорсы) и потолочный брус. Эти части сделаны из железа в дюйм толщиной и соединяются в крепкий каркас. Грохочут клепальные машины, штольня гудит. Решетка из красного железа окружила штольню. А позади каменщики уже копошатся в каркасе, заполняя свод туннеля метровой железобетонной броней, которую не разрушит никакое давление в мире.

По обеим сторонам огромного рельса на должном расстоянии прокладываются, свариваются и свинчиваются трубы всех размеров. Трубы для телефонных и телеграфных проводов, для электрического кабеля, огромные водопроводные трубы, мощные трубы для воздуха, который надземные машины днем и ночью без перерыва

нагнетают в штольни. Особые трубы для пневматической почты. Трубы закрываются песком и щебнем. А сверху укладывают шпалы и рельсы для обыкновенных товарных поездов, прочный путь, по которому поезда с материалами и камнем могут мчаться со скоростью экспресса. Едва кончается впереди клепка каркаса, как путь уже открывается для движения на шестикилометровом участке. Поезда проходят по новой галерее, в то время как каменщики еще висят под сводом.

Позади, за тридцать километров от места, где грохочет бурильная машина, отделка штольни уже была завершена.

3

Но это было еще не все. Следовало предусмотреть тысячи вещей. К моменту, когда американские штольни соединятся со штольнями, идущими в гнейсах им навстречу с Бермудских островов, весь путь должен быть готов к сдаче в эксплуатацию.

План Аллана был разработан до мельчайших подробностей на несколько лет.

Через каждые двадцать километров он приказал вырубать маленькие станции в скале. Здесь предстояло жить линейным сторожам. Через каждые шестьдесят километров он наметил средние станции, а через каждые двести сорок километров -- большие. Все они предназначались под склады для запасных аккумуляторов, машин и съестных припасов. На средних и больших должны были разместиться трансформаторы, станции высокого напряжения, холодильные и вентиляционные машины. Кроме того, нужны были еще боковые штольни, чтобы отводить поезда с главной линии.

Для всех этих работ были подготовлены особые рабочие отряды, и все они вгрызались в скалу и выбивали лавины камней.

Устья туннеля, как разъяренные вулканы, день и ночь извергали камни. Беспрерывно один за другим вылетали из зияющих ворот нагруженные поезда. С легкостью, восхищавшей глаз, они одолевали подъем, чтобы, взобравшись наверх, на миг остановиться. Но то, что казалось на платформах только камнями и мусором, вдруг оживало, и на землю соскакивали почерневшие, грязные, неузнаваемые фигуры. Поезд с камнями удалялся, извиваясь по сотне стрелок. Широкой дугой пройдя через Мак-Сити (так обычно называли Туннельный город в Нью-Джерси), он сворачивал наконец на один из сотни путей на берегу моря, где его разгружали. Здесь у моря все шумели и были в хорошем настроении, -- у них была "легкая неделя".

Мак Аллан извлек двести двойных километров камня -- количество, достаточное для постройки стены от Нью-Йорка до Буффало. Он владел самой большой каменоломней в мире, но не расходовал зря ни одной лопаты камня. Все огромное пространство берега было целесообразно пронивелировано. Аллан поднял отлогий берег и на несколько километров оттеснил мелкое море. Но там, где море было уже глубже, ежедневно высыпались в него тысячи вагонов камня, и медленно вырастал врезавшийся в море огромный мол. Это была одна из набережных гавани Аллана, так поразившей мир на плане будущего города. За две мили от города его инженеры сооружали самый большой, самый благоустроенный в мире пляж. Здесь намечалось разместить гигантские курортные отели.

Но сам Мак-Сити был похож на огромную свалку мусора, где не было ни дерева, ни кустика, не было ни зверя, ни птицы. Освещенный солнцем, он сверкал так, что было больно глазам. На громадном протяжении эта пустыня была покрыта рельсами, опутана железнодорожными путями, веерообразно расходившимися с обеих сторон, подобно фигурам, образуемым железными опилками у полюсов магнита. Повсюду шныряли поезда, электрические, паровые, дымились локомотивы, везде был гул, свист. Во временном порту Аллана дымили десятки пароходов и стояли высокие парусники, привезшие сюда железо, лес, цемент, хлеб, скот, всевозможные съестные припасы из Чикаго, Монреаля, Портленда, Ньюпорта, Чарлстона, Саванны, Нью-Орлеана, Галвестона. На северо-востоке стояла непроницаемая стена густого дыма, -- там была станция для товарных поездов:

Бараки исчезли. Над выемкой трассы туннеля сверкали стеклянные крыши: машинные помещения, силовые станции и примыкающие к ним многоэтажные здания контор. Посреди каменной пустыни возвышался двадцатиэтажный отель "Атлантический туннель". Это белостенное здание сверкало новизной и служило приютом для толп инженеров, агентов, представителей больших фирм и для тысяч любопытных, приезжавших каждое воскресенье из Нью-Йорка.

Ваннамекер выстроил против отеля пока только двенадцатиэтажный универсальный магазин. Широкие улицы, совершенно готовые, прямыми линиями прорезывали это мусорное поле. Над выемкой трассы были переброшены виадуки. На периферии каменной пустыни расположились приветливые рабочие поселки со школами, церквами, площадками для игр, с барами и пивными, где хозяйничали бывшие чемпионы бокса или жокеи. Вдали, в лесу карликовых сосен, одиноко стояло забытое и безжизненное здание, напоминавшее синагогу, -- крематорий с длинными пустыми галереями. Лишь в одной из них уже стояли урны. И под английскими, французскими, русскими, немецкими, итальянскими, китайскими именами -- всюду виднелись одинаковые эпитафии: "Погиб при постройке Атлантического туннеля", "При взрыве...", "При обвале скалы...", "Раздавлен поездом..." Словно надписи на могилах павших воинов.

У моря расположились белые новые госпитали, построенные по последнему слову больничной техники. Тут же внизу, немного поодаль, среди только что разбитого сада стояла новая вилла. Здесь жила Мод.

4

Мод забрала в свои маленькие ручки всю доступную ей власть.

Она была попечительницей дома для выздоравливающих женщин и детей Мак-Сити. Она была членом врачебного комитета, на обязанности которого лежало наблюдение за гигиеной рабочих квартир, уход за роженицами и младенцами. Она основала школу рукоделия и домашнего хозяйства, детский сад, клуб для женщин и молодых девушек, где каждую пятницу устраивались лекции и музыкальные вечера. Работы было вдоволь. У нее была своя контора, точно так же, как у Мака, она имела свою личную секретаршу и свою стенографистку. Целый сонм сестер милосердия и учительниц -- все дочери лучших семей в Нью-Йорке -- помогал ей.

Мод никого не обижала, она была внимательна ко всем, любезна, приветлива, искренне сочувствовала чужому горю, и поэтому все ее любили и уважали.

В качестве члена гигиенического комитета она посетила почти все дома рабочих. В итальянских, польских и русских кварталах она повела энергичную и успешную кампанию против грязи и насекомых. Она настояла на том, чтобы время от времени все дома дезинфицировались и основательно чистились. Дома были цементные, и их можно было вымыть, как прачечную. Посещения рабочих приблизили Мод к ним, и она всегда готова была помочь советом и делом. Ее школа домоводства была переполнена. Она подобрала отличных преподавательниц по кулинарии и по кройке и шитью. Мод неустанно следила за работой своих учреждений, ни на минуту не выпуская их из поля зрения. Она проштудировала целую библиотеку специальной литературы, чтобы овладеть необходимыми теоретическими знаниями. И право, ей было не так легко все наладить и довести до совершенства, тем более что природа не наделила ее особыми организаторскими талантами. Однако дело шло. И Мод гордилась похвалами, которые пресса расточала ее учреждениям.

Но главным полем ее деятельности был дом для выздоравливающих женщин и детей.

Этот дом находился рядом с ее виллой, -- надо было лишь пройти через два сада. Мод приходила ежедневно в девять утра и начинала свой обход, интересуясь каждым опекаемым и часто помогая из собственных средств, когда бюджет санатория бывал исчерпан. Особенными заботами окружала она доверенных ей детей. Мод работала, была довольна своей работой, которой сопутствовал успех, ее любовь к людям и к жизни стала плодотворнее, но она была достаточно честна, чтобы не скрывать от себя, что все это вместе взятое не могло заменить ей супружеское счастье. Два-три года она жила с Маком, наслаждаясь ничем не омраченным счастьем, пока не появился туннель и не отнял у нее Мака. Муж и теперь любил ее, -- это было несомненно. Он был внимателен, любезен, конечно, но это было не то, что прежде, -- бесспорно не то!

Теперь она виделась с ним чаще, чем в первые годы строительства. Он сохранил бюро в Нью-Йорке, но устроил себе, кроме того, контору в Туннельном городе, где часто оставался почти безвыходно неделями. На это ей жаловаться не приходилось. Но Мак сам стал другим. Его добродушие, его наивная жизнерадостность, поражавшие ее и приводившие в восторг в начале их брака, исчезали с каждым днем. Дома он был так же серьезен, как за работой и в обществе. Он старался казаться по-прежнему веселым и бодрым, но это ему не всегда удавалось. Он был рассеян, поглощен работой, и ему стал свойствен тот отсутствующий взгляд, который бывает у людей, постоянно занятых одной мыслью. Он похудел, и черты его лица стали жестче.

Прошли времена, когда он сажал Мод к себе на колени и ласкал. Он и теперь целовал ее, когда приходил домой, смотрел ей в глаза, улыбался, но ее женский инстинкт нельзя было обмануть. Было странно, что, загруженный работой, он за все эти годы ни разу больше не забыл ни одного из "знаменательных дней", вроде дня рождения ее или Эдит, дня свадьбы или рождества. Но однажды она случайно заметила, что в его записной книжке эти дни были подчеркнуты красным. Она грустно улыбнулась: Мак помнил о них механически -- уже не сердцем, которое прежде постоянно напоминало ему об этих днях.

Ее постигла та же участь, что и большинство ее подруг, мужья которых работали изо дня в день на заводах, в банках и лабораториях, обожали своих жен, задаривали их кружевами, жемчугами и мехами, предупредительно сопровождали в театр, но думали постоянно только о своей работе. Такова была жизнь, но Мод находила это ужасным. Она предпочла бы жить в бедности, в неизвестности, вдали от света, но зато быть окруженной вечной любовью и вечной лаской. Да, о такой жизни она мечтала, хотя иногда ей самой это казалось глупым.

Мод любила, кончив работу, сидеть за рукоделием и отдаваться своим грезам. В воспоминаниях она постоянно возвращалась к той поре своей жизни, когда Мак ухаживал за ней. Он казался ей в ту пору крайне юным и наивным. Совсем неопытный в обращении с женщинами, он не находил оригинальных способов для выражения своих чувств: он подносил ей цветы, книги, билеты в концерты и театры, оказывал маленькие рыцарские услуги, как все, самые обыкновенные, мужчины. И все же теперь ей это больше нравилось, чем в то время. Потом неожиданно он изменил свое отношение и стал больше похож на того Мака, которого она знала теперь. Однажды вечером, получив уклончивый ответ, он сказал ей определенно и почти резко: "Подумайте об этом. Я даю вам срок до пяти часов вечера завтрашнего дня. Если вы не придете к какому-нибудь решению, вы никогда больше не услышите от меня ни одного слова об этом. Good bye!" [До свидания! (англ.)] И ровно в пять часов он пришел!.. Мод всегда с улыбкой вспоминала об этой сцене, но она не забыла также, в каком волнении провела ночь и назначенный день.

Чем больше туннель отнимал у нее Мака, тем настойчивее, с тем большим упорством, возбуждавшим одновременно боль и радость, возвращались ее мысли к их первым прогулкам, разговорам, маленьким и все же многозначительным событиям их супружеской жизни. В душе у нее поднималась неприязнь к туннелю. Она возненавидела его, ибо он был _сильнее_ ее! О, вспышка тщеславия давно прошла. Ей было теперь безразлично, повторяют ли имя Мака на пяти материках или нет. Ночью, когда призрачный отблеск освещенного Туннельного

города проникал в комнату, ее ненависть к нему была так сильна, что она закрывала ставни, чтобы его не видеть. Она готова была заплакать от досады, а подчас слезы и в самом деле, крадучись, втихомолку, подступали к глазам. Когда она видела, как поезда исчезали в штольнях, она качала головой. Ей это казалось безумием. Но для Мака не существовало ничего более естественного. Вопреки всему -- и эта надежда ее поддерживала -- она ждала, что когда-нибудь Мак снова будет всецело принадлежать ей. Туннель когда-нибудь _вернет же ему свободу_! Когда пойдет первый поезд...

Но, боже, этого ведь ждать еще годы! Мод вздохнула. Терпение! Терпение! Пока у нее есть своя работа. У нее любимая дочь, теперь уже большая и смотрящая на жизнь любопытными, умными глазами. Мак чаще приходит домой, чем прежде. Есть Хобби, почти ежедневно приходящий обедать, неистощимый в забавных рассказах, -- Хобби, с которым так чудесно можно болтать. Хозяйство также предъявляет к ней теперь большие требования, чем прежде. Мак часто приводил гостей -- знаменитостей со столь громкими именами, что он разрешал им вход в туннель. Мод радовалась гостям. Эти знаменитости большей частью были пожилыми мужчинами, с которыми она чувствовала себя легко. Все они обладали одним качеством: простотой и даже робостью. Это были крупные ученые, которых приводили к Маку геологические, физические и технические вопросы и которые иногда неделями жили со своими инструментами на станциях, на тысячу метров ниже уровня моря, чтобы производить необходимые изыскания. Мак обходился с учеными людьми точно так же, как обходился с ней или с Хобби.

Но когда эти великие люди прощались с Маком, они отвешивали ему глубокий поклон, жали руку и благодарили без конца. А Мак скромно и добродушно улыбался, говоря: "All right" [Ладно! Ладно! (англ.)], -- и желал им счастливого пути, так как обычно эти люди приезжали издалека.

Однажды Мод посетила одна дама.

-- Меня зовут Этель Ллойд, -- отрекомендовалась она, подымая вуаль.

Да, в самом деле, это была Этель! Она покраснела, так как у нее, собственно говоря, не было прямого повода для посещения. И Мод тоже покраснела, должно быть, потому, что покраснела Этель. У Мод мелькнула в голове мысль, что Этель очень смела, и ей показалось, что это мнение о себе гостья прочла в ее глазах.

Но Этель сейчас же оправилась.

-- Я так много читала о школах, которые вы создали, госпожа Аллан, -- свободно и плавно заговорила она, -- что у меня в конце концов явилось желание познакомиться с вашими учреждениями. Ведь и я, как вам, вероятно, известно, причастна в Нью-Йорке к подобной деятельности.

Этель Ллойд обладала врожденной гордостью и естественным достоинством и приводила в восторг своей откровенностью и сердечностью. Она утратила ту детскую простоту, которая несколько лет назад бросилась в глаза Аллану, и превратилась в настоящую даму. Ее прежняя немного слащавая и слишком нежная красота созрела. Если несколько лет назад она была похожа на пастель, то теперь все в ней казалось ясным и живым: и глаза, и рот, и волосы. У нее всегда был Такой вид, как будто она только что вышла из своего будуара. Лишай у подбородка слегка увеличился и чуть-чуть потемнел, но Этель больше не старалась скрыть его под пудрой.

Из вежливости Мод должна была лично ознакомить гостью со всеми своими учреждениями. Она, показала Этель госпиталь, школы, детский сад и скромное помещение женского клуба. Этель нашла все великолепным, но не уподобилась молодым дамам, расточающим преувеличенные похвалы. В конце концов Этель обратилась к Мод с вопросом, может ли она быть чем-нибудь полезна. Нет?.. Ну что же, Этель не обиделась на это. Она так мило разговаривала с Эдит, что девочка сейчас же прониклась к ней симпатией. Мод постаралась преодолеть свою ни на чем не основанную антипатию и пригласила Этель остаться к обеду. Этель телеграфировала своему "папочке" и осталась.

Мак привез с собой к обеду Хобби. Это придало Этель большую уверенность, которой она никогда не приобрела бы в присутствии тихого и молчаливого Мака. Она занимала всех разговором. Если раньше она деловито, не преувеличивая, подобно другим молодым дамам, хвалила основанные Мод учреждения, то теперь расхваливала их с энтузиазмом. Этим она снова пробудила подозрительность Мод. "Она целится на Мака", -- подумала Мод. Но, к ее величайшему удовольствию, Мак уделял Этель не больше внимания, чем требовала вежливость. Он смотрел на прекрасную и избалованную женщину тем же равнодушным взором, каким обычно смотрел на какую-нибудь стенографистку.

-- Библиотека женского клуба мне кажется еще не особенно богатой, -- сказала Этель.

-- Мы собираемся со временем пополнить ее.

-- Мне доставило бы большое удовольствие, если бы вы разрешили мне внести свою лепту, госпожа Аллан! Хобби, поддержите меня.

-- Если у вас есть лишние книги... -- сказала Мод.

Через несколько дней Этель прислала целые тюки книг, около пяти тысяч томов. Мод поблагодарила ее, но раскаялась в том, что пошла ей навстречу, так как с этого времени Этель стала приезжать часто. Она делала вид, будто очень дружна с Мод, и осыпала маленькую Эдит подарками. Однажды она попросила у Мака разрешения как-нибудь спуститься в туннель.

Мак удивленно посмотрел на нее. В первый раз женщина обращалась к нему с такой просьбой.

-- Нет, это невозможно! -- ответил он кратко и почти резко.

Но Этель не обиделась. Она весело рассмеялась и сказала:

-- Но зачем же сердиться, господин Аллан? Разве я дала вам для этого повод?

С тех пор она стала появляться реже. И Мод не имела ничего против. Она не могла заставить себя лучше относиться к Этель.

Мод принадлежала к числу людей, которые могут встречаться лишь с теми, к кому они искренне расположены.

Поэтому ей было так приятно общество Хобби. Он бывал в ее доме ежедневно. Приходил к завтраку и к обеду, не считаясь с тем, дома ли Аллан. Дошло до того, что ей недоставало его, когда он отсутствовал. И даже в те дни, когда Мак бывал с нею.

5

-- У Хобби всегда такое чудесное настроение! -- говорила Мод.

-- Он всегда был прекрасным малым, Мод, -- отвечал Аллан.

При этих словах он улыбался и не подавал виду, что в частых упоминаниях Мод о хорошем настроении Хобби он слышал легкий упрек себе. Мак не был Хобби. Он не умел быть таким веселым, так легко ко всему относиться. Он не мог, подобно Хобби, после двенадцатичасовой работы отплясывать негритянские танцы, исполнять популярные песенки, предаваться всяким веселым дурачествам. Видел ли кто-нибудь Хобби не смеющимся и не отпускающим шуток? У Хобби смеется вся физиономия. Стоит ему пошевелить языком, и рождается едкая острота. Где ждут Хобби, там все заранее настраиваются на веселый лад, -- Хобби обязан быть остроумным. Нет, он не был Хобби... Единственное, что он мог, -- это не мешать чужому веселью, он так и старался себя держать. Но гораздо серьезнее было то, что его отношения с Мод теряли с годами свою сердечность. Он не обманывал себя. Он горячо любил Мод и свою дочурку и в то же время думал, что такому человеку, как он, было бы лучше не иметь семьи. Кончив работу, Хобби считал себя свободным. Он же, Аллан, никогда не бывал свободен. Туннель рос, а с ним росла и работа. К тому же у него были еще заботы особого рода, о которых он ни с кем и никогда не говорил!

Уже теперь у него возникали сомнения, удастся ли закончить строительство в пятнадцатилетний срок. По его вычислениям, это было возможно лишь в лучшем случае. Он со спокойной совестью определил этот срок, чтобы привлечь на свою сторону общественное мнение и народные средства. Если бы он назначил двадцать или двадцать пять лет, ему не дали бы и половины этих денег.

Ему едва удастся справиться за это время с двойными штольнями Бискайя -- Финистерре и Америка -- Бермудские острова.

К концу четвертого года штольни американской линии продвинулись на двести сорок километров от американского побережья и на восемьдесят километров от Бермудских островов. С европейской стороны было пробурено круглым счетом двести километров от Бискайи и семьдесят километров от Финистерре. Но атлантическая линия не была готова даже на одну шестую. Как овладеть этими огромными дистанциями: Финистерре -- Азорские островам -- Бермудские острова?

К этому присоединились финансовые трудности. Подготовительные работы, змеевидные туннели Бермудской линии поглотили значительно большие суммы, чем Мак предполагал в своих калькуляциях. До седьмого года постройки или, в лучшем случае, до шестого нельзя было и помышлять о новом трехмиллиардном займе. Предстояло продолжать сооружение туннеля на значительном протяжении без вторых штолен, что должно было чрезвычайно усложнить работу. Как вывозить при такой системе камень, который все рос и разбухал и уже теперь грозил задушить штольни? Он лежал везде, между рельсами, в поперечных ходах, на станциях, и поезда пыхтели под его тяжестью.

Аллан целые месяцы проводил в туннеле, изыскивая более быстрые способы работы. В американских штольнях испытывали каждую машину, каждое новое изобретение и усовершенствование, прежде чем применить их в других пунктах работ. Здесь обучали отряды рабочих, рабочих "ада" и "чистилища", которых впоследствии перебрасывали на другие станции, чтобы они показывали нужный темп в работе. Их приходилось весьма постепенно приучать к бешеной быстроте движений и к жаре. Нетренированный человек свалился бы на первом часу работы в "аду".

Любой, хотя бы самый незначительный, рабочий процесс Аллан старался производить с наименьшим расходом сил, денег и времени. Он применял разделение труда, доведенное до крайних пределов, так что каждый отдельный рабочий из года в год проделывал одни и те же движения во все более быстром темпе, пока не приобретал полного автоматизма. У Аллана были особые специалисты, обучавшие и муштровавшие отряды рабочих, пока те не устанавливали _рекордов_ (например, по быстроте выгрузки вагонов), и эти рекорды он принимал уже как _нормальную_ выработку. Потерянную секунду нельзя было нагнать _никогда_, и она стоила целое состояние. Если рабочий из минуты терял бы всего одну секунду, то при армии в сто восемьдесят тысяч человек, из которых непрерывно работали шестьдесят тысяч, это составило бы за день потерю в двадцать четыре тысячи рабочих часов! Из года в год Аллану удавалось повышать производительность труда в пять процентов. И все же дело шло слишком медленно!

Особенно заботила Аллана проходка. Совершенно немыслимо было увеличить число рабочих на последних пятистах метрах, так как это создало бы только невозможную толчею. Мак производил опыты с самыми разнообразными взрывчатыми веществами, пока не нашел состава "Туннель-8", дробившего скалу на приблизительно равные, легко вывозимые глыбы. Он часами выслушивал доклады своих инженеров. Неутомимо обсуждал их предложения, испытывал, проверял.

Неожиданно, словно вынырнув из моря, он появился на Бермудских островах. Шлоссер слетел. Его перевели в строительное бюро Мак-Сити. Молодой, едва достигший тридцати лет англичанин, по имени Джон Фарбен, занял

его место. Аллан созвал инженеров, уже переутомленных нынешним бешеным ритмом работы, и заявил, что они должны повысить темпы на двадцать пять процентов. Должны! Ибо он, Аллан, должен выдержать срок. Как им с этим справиться -- это их дело...

Неожиданно появился он на Азорских островах. На этот участок работы ему удалось привлечь немца Михаэля Мюллера, несколько лет занимавшего один из руководящих постов по сооружению туннеля под Ла-Маншем. Мюллер весил сто двадцать пять килограммов и был известен под прозвищем "Толстый Мюллер". Рабочие любили его главным образом за полнотелость, дававшую повод для шуток. Это был неутомимый работник! В последнее время Мюллер продвигал свои штольни даже быстрее, чем Аллан и Гарриман в Нью-Джерси. Этого вечно смеющегося колосса буквально преследовало счастье. В геологическом отношении его участок был самым интересным и продуктивным и достаточно убедительно доказывал, что эти части океана когда-то были сушей. Он натолкнулся на огромные залежи калия и железной руды.

Акции Питтсбургской компании плавильных заводов, которая приобрела право собственности на все добытые при постройке туннеля ископаемые, благодаря удаче Мюллера поднялись на шестьдесят процентов. Добыча ископаемых не стоила компании ни одного цента, ее инженерам приходилось лишь отмечать интересовавшие компанию вагоны -- и их сейчас же отцепляли. Ежедневно, ежечасно акционеры трепетали от волнения при мысли, что на них могут свалиться неслыханные богатства. В последние месяцы Мюллер наскочил на пласт каменного угля мощностью в пять метров, "великолепного угля", как он говорил. Но это было не все. Этот пласт шел точно по оси штольни, и ему не было конца. Мюллер мчался сквозь породу. Его единственным, его злейшим врагом была вода. Штольни лежали теперь на восемьсот метров ниже морского дна, и все же в них просачивалась вода. У Мюллера стояла батарея громадных центробежных насосов, непрерывно выбрасывавших в море целые потоки грязной воды.

Аллан появился в Финистерре и Бискайе так же неожиданно, как и на Бермудских островах, и заявил, что срок должен быть выдержан и что он требует ускорения работы. Главного инженера французского участка строительства мосье Гайяра, седого, элегантного француза, обладавшего большими знаниями, он сместил, не считаясь с шумом, поднятым французской прессой, и поставил на его место американца Стефана Олин-Мюлленберга.

Словно из-под земли, появлялся Аллан на разных электрических станциях, и даже малейшие недостатки в работе не ускользали от его внимания. Инженеры с облегчением вздыхали, когда он уезжал и можно было немного прийти в себя.

Аллан появился в Париже, и газеты целые столбцы заполняли статьями о нем и вымышленными интервью. Через неделю стало известно, что французское общество получило концессию на постройку железной дороги Париж -- Бискайя. Благодаря ей туннельные поезда смогут доходить прямо до Парижа. Одновременно все большие европейские города были наводнены огромными плакатами, изображавшими один из волшебных городов Хобби: туннельную станцию "Азора". Феерический город Хобби возбуждал, то же недоверчивое удивление и то же восхищение по эту сторону океана, как в свое время волшебный город в Америке. Фантазия Хобби разыгралась. Особенно поражал набросок в углу огромного плаката, показывавший нынешний и будущий размер острова. Синдикат приобрел полосу острова Сан-Жоржи, несколько маленьких островков и группу песчаных мелей. Через несколько лет эта площадь должна была учетвериться. Острова соединялись громадными широкими плотинами, и отмели сливались с основным массивом. В первую минуту не приходило в голову, что Мак мог в этом месте бросить в море четыре тысячи двойных километров (и больше, если бы захотел) камня и таким путем создать этот большой остров своеобразной формы...

В будущей "Азоре", как и в американском фантастическом городе, предполагалась постройка огромного великолепного порта, с набережными, молами, маяками. Особенно же бросался в глаза восхитительный курорт с отелями, террасами, парками и необъятным пляжем.

Но величайшее изумление, чтобы не сказать смущение, вызвали цены, назначенные Туннельным синдикатом за участки земли. Для европейских понятий они были чудовищны! Но синдикат обратил свой холодный, немилосердный взор на европейский капитал, как змея на птицу. Ведь легко было видеть, что "Азора" вберет в себя все пассажирское движение Южной Америки. Не нужно было также большого ума, чтобы понять, что "Азора", куда можно будет попасть за четырнадцать часов из Парижа и за шестнадцать часов из Нью-Йорка, станет самым знаменитым курортом мира, местом встречи высшего света Англии, Франции и Америки.

И европейский капитал откликнулся. Образовались группы земельных спекулянтов, покупавших большие участки, чтобы через десять лет перепродать их квадратными метрами.

Из Парижа, Лондона, Ливерпуля, Берлина, Франкфурта, Вены текли деньги и вливались в big pocket -- широкий карман С.Вульфа, вошедший в народе в поговорку.

6

С.Вульф всосал эти деньги так же, как и три миллиарда, полученные от капиталистов и народа, и как суммы, поступавшие от продажи земли на Бермудских островах, в Бискайе, Финистерре и Мак-Сити. Благодарности от него никто не слышал. В свое время не было недостатка в предостережениях, в предсказаниях волны банкротств, если такой мощный поток денег направится в одну сторону. Эти пророчества финансовых дилетантов оправдались лишь в самой ничтожной доле. Несколько промышленных предприятий оказались на мели, но и они потом быстро оправились.

Ибо деньги у С.Вульфа не залеживались. Ни цента. Едва они попадали в его руки, как начинали свой неизменный круговорот.

Он рассылал их по всему земному шару.

Огромный поток золота катился через Атлантический океан во Францию, Англию, Германию, Швецию, Испанию, Италию, Турцию, Россию. Он переливался через Урал и вторгался в сибирские леса, в байкальские горы. Он растекался По Южной Африке, Калекой провинции. Оранжевой реке, Австралии, Новой Зеландии. Наводнял Миннеаполис, Чикаго и Сент-Луис, Скалистые горы, Неваду и Аляску.

Доллары С.Вульфа -- это были миллиарды крошечных неустрашимых воинов, сражавшихся с деньгами всех наций и всех рас. Все они были маленькими С.Вульфами, полными инстинкта С.Вульфа, их лозунгом было: money! [деньги! (англ.)] Легионами мчались они по кабелю на дне моря. Они неслись по воздуху. Но, добравшись До поля битвы, они меняли облик. Они превращались в маленькие стальные молоточки, день и ночь стучавшие в алчном экстазе, они превращались в проворные ткацкие челноки Ливерпуля, оборачивались неграми-чернорабочими, трудившимися по колено в песке на алмазных приисках Южной Африки. Они превращались в шатуны тысячесильной машины, в гигантский рычаг из блестящей стали, который круглые сутки то побеждал пар, то отбрасывался им обратно. Они превращались в поезд, груженный железнодорожными шпалами, идущий из Омска в Пекин, в трюм судна, везущего ячмень из Одессы в Марсель. В Южном Уэльсе они в рудничных клетях кидались на восемьсот метров под землю и вылетали с углем наверх. Они сидели в тысячах зданий мира и размножались, они косили хлеб в Канаде и расстилались табачными плантациями на Суматре.

Они боролись! По одному мановению Вульфа они показывали спину Суматре и добывали золото в Неваде. Они молниеносно покидали Австралию и целым роем появлялись на хлопковой бирже Ливерпуля.

С.Вульф не давал им отдыхать. День и ночь подвергал он их тысяче перевоплощений. Он сидел в кресле своей конторы, жевал сигару, потел, диктовал одновременно десяток телеграмм и писем, прижав телефонную трубку к уху и в то же время разговаривая с помощником. Левым ухом он прислушивался к голосу в аппарате, правым -- к докладу служащего. Говорил одним голосом со служащим, другим рявкал в телефон. Одним глазом он следил за стенографистками и машинистками -- не ждут ли они продолжения, другим -- смотрел на часы. Он думал о том, что Нелли уже двадцать минут ждет его и дуется за то, что он опаздывает к обеду, и одновременно он думал о том, что его помощник в деле Рэнд-Майнс рассуждает по-идиотски, в деле же братьев Гарнье проявляет дальновидность. Он думал -- какими-то недрами своего волосатого, выделявшего испарину черепа -- о большой битве, предстоящей завтра на венской бирже, в которой он непременно победит.

Еженедельно ему нужно было свыше полутора миллионов долларов наличными для расплаты с рабочими и служащими, а в конце каждого квартала -- сотни миллионов для уплаты процентов и амортизации. Перед этими сроками он целыми днями просиживал в своей конторе. Сражение тогда шло особенно бурно, и С.Вульф добивался победы ценой большой затраты пота, жира и дыхания.

Он отзывал свои войска. И они приходили: каждый доллар -- маленьким храбрым победителем, принесшим добычу, -- кто восемь, кто десять, кто двадцать центов. Многие возвращались инвалидами, кое-кто погибал на поле битвы -- таков закон войны!

Эту неустанную, неистовую борьбу С.Вульф вел годами. День и ночь был он начеку, помышляя о том, когда лучше всего развернуть наступление, начать атаку или совершить отход. Ежечасно он отдавал приказания своим полководцам в пяти частях света и ежечасно рассматривал их донесения.

С.Вульф работал великолепно. Он был финансовым гением, он чуял деньги на расстоянии. Несметное множество акций он переправлял контрабандой в Европу, так как в американских деньгах он был уверен: они выручат его, если ему придется призвать под ружье свою резервную золотую армию. Он выпускал проспекты, которые звучали, как стихи Уолта Уитмена. С такой ловкостью, как он, никто не умел в нужный момент сунуть в нужную руку нужную сумму чаевых. Благодаря этой тактике он обделывал в менее цивилизованных странах (таких, как Россия или Персия) дела, приносившие двадцать пять и сорок процентов, дела, считающиеся приемлемыми лишь в финансовой сфере. На годичных общих собраниях он уверенно шел к цели, и синдикат за эти несколько лет довел его оклад до трехсот тысяч долларов. Он был незаменим.

С.Вульф работал так, что из его легких вырывалось хрипение. На каждом листе бумаги, побывавшем в его руках, оставался жирный след его большого пальца, хотя он сто раз в день мыл руки. Он выделял целые тонны жира и, несмотря на это, становился все жирнее. Но, облив вспотевшую голову холодной водой, причесав волосы и бороду, надев свежий воротничок и выйдя из конторы, он преображался в почтенного джентльмена, который никогда не торопится. Он садился в свой элегантный черный автомобиль, серебряный дракон которого гудел наподобие сирены океанского парохода, чтобы проехаться по Бродвею и насладиться вечером.

Обедал он обычно у одной из своих юных приятельниц. Он любил хорошо поесть и выпить бокал крепкого дорогого вина.

Каждый вечер в одиннадцать часов он приходил в клуб поиграть час-другой в карты. Он играл обдуманно, не слишком крупно, не слишком мелко, молча, изредка посмеиваясь толстыми красными губами в черную бороду.

В клубе он всегда выпивал только чашку кофе -- и ничего больше. С.Вульф был образцом джентльмена.

У него был лишь один порок, который он тщательно скрывал от всех на свете, -- его чрезвычайная чувственность. От взора его темных, по-звериному блестящих глаз с черными ресницами не ускользало ни одно красивое женское тело. Кровь стучала у него в ушах при виде молодой красивой девушки с округлыми бедрами. Каждый год он раза четыре ездил в Париж и Лондон и в обоих городах содержал одну или двух красоток, для которых снимал

роскошные квартиры с зеркальными альковами. Он приглашал на ужины с шампанским десяток молодых очаровательных созданий, причем сам щеголял во фраке, а богини -- во всем сверкающем великолепии своей кожи. Часто он привозил из своих поездок "племянниц", которых поселял в Нью-Йорке. Девушки должны были быть прекрасны, юны, полны и белокуры. Особое предпочтение он оказывал англичанкам, немкам и скандинавкам. Этим С.Вульф мстил за бедного Самуила Вольфзона, у которого в прежние годы конкуренты -- хорошо сложенные теннисисты и обладатели солидного месячного бюджета -- отбивали красивых женщин. Он мстил надменной светловолосой расе, некогда пинавшей его ногой, тем, что теперь покупал ее женщин. Главным образом он вознаграждал себя за полную лишений юность, не давшую ему ни досуга, ни возможности утолять свою жажду.

Из каждой поездки он привозил трофеи: локоны, пряди волос -- от холодных светло-серебристых до самых жгучих рыжих -- и хранил их в японском лакированном шкафчике своем нью-йоркской квартиры. Но этого никто не знал, ибо С.Вульф умел молчать.

Еще и по другой причине любил он свои поездки в Европу. Он навещал отца, к которому был привязан с сентиментальной нежностью. Два раза в год он заглядывал на два дня в Сентеш, предупреждая о своем приезде телеграммами. Весь Сентеш волновался. Великий сын старика Вольфзона! Счастливец! Какая голова!.. Он едет...

С.Вульф выстроил своему отцу красивый дом, наподобие виллы, окруженный прекрасным садом. Приходили бродячие музыканты, играли и плясали, и весь Сентеш теснился перед железной оградой.

Старик Вольфзон раскачивался взад и вперед, качал маленькой, высохшей головой и проливал слезы радости.

-- Великим человеком ты стал, мой сын! Кто бы мог подумать! Великим, гордость ты моя! Я каждый день благодарю бога!

В Сентеше С.Вульфа любили за его приветливый нрав. Со всеми -- богатыми и бедными, молодыми и старыми -- он обращался с американской демократической простотой. Такой великий и такой скромный!..

Старик Вольфзон лелеял еще лишь одно желание и мечтал, чтобы оно исполнилось, прежде чем бог отзовет его.

-- Я бы хотел увидеть его, -- говорил он, -- этого господина Аллана! Что за человек!

И С.Вульф отвечал на это:

-- Ты его увидишь! Как только он поедет в Вену или в Берлин, -- а он поедет непременно, -- я дам тебе телеграмму. Ты отправишься к нему в гостиницу, скажешь, что ты мой отец. Он будет рад тебе!

Но старый Вольфзон простирал к небу маленькие дряхлые руки, качал головой и плакал:

-- Никогда я его не увижу, этого господина Аллана! Никогда не осмелюсь его побеспокоить! Ноги не донесут меня до него!

Прощание бывало для обоих тяжелой минутой. Старый Вольфзон несколько шагов плелся за салон-вагоном своего сына и плакал навзрыд. С.Вульф тоже проливал слезы. Но как только он закрывал окно и вытирал глаза, он снова становился С.Вульфом, и его темная голова раввина не давала ответа ни на один вопрос.

С.Вульф пробил себе дорогу. Он был богат, известен, его боялись, министры финансов больших государств принимали его почтительно, он отличался, если не считать легких приступов астмы, хорошим здоровьем. Его аппетит и пищеварение были великолепны, аппетит к женщинам -- также. И все же он не был счастлив.

Его несчастье заключалось в привычке все анализировать и в том, что в пульмановских вагонах и на палубах пароходов у него оставалось время для размышлений. Он думал обо всех людях, которых когда-либо встретил и запечатлел кинематографом памяти. Он сравнивал этих людей друг с другом и себя с этими людьми. Он был умен и обладал критическим взором. И он с ужасом обнаружил, что был _совершенно обыденным_ человеком! Он знал рынок, он был олицетворением курсового бюллетеня, биржевого телеграфа, человеком, набитым цифрами до кончиков ногтей, но кем же он был помимо этого? Был ли он тем, что принято называть личностью? Нет. Его отца, отставшего от него на две тысячи лет, скорее можно было назвать личностью, чем его. Он стал австрийцем, потом немцем, англичанином, американцем. При каждом из этих превращений он сбрасывал свою кожу. Теперь... Чем же он стал теперь? Да, одному дьяволу известно, кем он теперь стал! Его память, его чудовищная память, механически, на годы удерживавшая номер железнодорожного вагона, в котором он ехал из Сан-Франциско в Чикаго, эта память была его вечно бдящей совестью. Он знал, откуда взята им мысль, которую он выдвигал за свою, где заимствована им манера снимать шляпу, манера говорить, манера улыбаться и манера смотреть на собеседника, наводившего на него скуку. Как только он все это осознал, он понял, почему инстинкт навел его на позу, которая была наиболее ему подходящей: на позу спокойствия, достоинства, молчаливости. И даже эта поза была составлена из миллиона элементов, перенятых им от других.

Он думал об Аллане, Хобби, Ллойде, Гарримане. Все они были людьми! Всех, до Ллойда включительно, он считал ограниченными, считал людьми мыслящими по шаблону, людьми вообще _никогда_ не мыслящими. И в то же время они были людьми своеобразными, которые, хотя причину этого и трудно было бы определить, воспринимались как самостоятельные личности! Он думал о достоинстве, с которым держался Аллан. В чем оно выражалось? Кто мог бы объяснить, почему в нем было столько достоинства? Никто. Его могущество, страх, который он внушал!.. В чем тут было дело? Никто не мог этого сказать. Этот Аллан не позировал, он всегда был естествен, прост, всегда был самим собой и -- производил впечатление! Вульф часто всматривался в его красноватое, покрытое веснушками лицо. Оно не выражало ни благородства, ни гениальности и все же приковывало взор простотой и ясностью своих черт. Аллану стоило только что-нибудь сказать, хотя бы мимоходом, -- и этого было достаточно. Никому и в голову не пришло бы игнорировать его приказания.

Однако С.Вульф не принадлежал к числу людей, способных день и ночь заниматься подобными проблемами. Он лишь изредка отдавался им, когда поезд скользил среди полей. Но тогда это неминуемо раздражало его и приводило

в скверное настроение.

При подобных размышлениях он всегда останавливался на одном: на своих отношениях с Алланом. Аллан уважал его, был с ним предупредителен, держался по-товарищески, но все же не так, как с другими, и он, С.Вульф, это прекрасно чувствовал.

Он слышал, как Аллан почти всех инженеров, начальников участков и служащих называл просто по имени. Почему же ему он всегда говорил "господин Вульф", никогда не ошибаясь? Из почтения?.. О нет, друг мой, этот Аллан питал почтение лишь к самому себе! И как это ни казалось смешно самому С.Вульфу, но самым сокровенным его желанием было, чтобы Аллан когда-нибудь похлопал его по плечу и сказал: "Hallo, Woolf, how do you do!" [А, Вульф! Здравствуйте! (англ.)]

Но он ждал этого уже годы.

В такие минуты С.Вульфу становилось ясно, что он _ненавидит_ Аллана! Да, он ненавидел его -- без всякой причины. Он жаждал, чтобы самоуверенность Аллана была поколеблена, хотел видеть его смущенным, видеть его в зависимости от него, С.Вульфа.

С.Вульф страстно мечтал об этом. Это было не так уж невозможно! Ведь мог же настать день, когда С.Вульф... Разве не может случиться, что когда-нибудь он станет абсолютным властителем синдиката?

С.Вульф опускал свои восточные веки на черные блестящие глаза, его жирные щеки подергивались.

Это была самая смелая мысль за всю его жизнь, и эта мысль гипнотизировала его.

Будь у него на миллиард акций в запасе -- он показал бы Маку Аллану, кто такой С.Вульф...

С. Вульф зажигал сигару и предавался своим честолюбивым грезам.

7

Компания "Эдисон-Био" продолжала делать блестящие дела своими еженедельно сменяемыми туннельными фильмами.

Она показывала черную тучу пыли, постоянно висевшую над товарной станцией Мак-Сити. Она показывала тысячи дымящихся паровозов, которые собирали сюда бесчисленное множество вагонов из всех штатов. Погрузочные эстакады, поворотные краны, лебедки, портальные краны. Она показывала "чистилище" и "ад", полные исступленно мечущихся людей. Фонограф тут же передавал гул, разносящийся по штольням на две мили от "ада". Этот оглушительный гул, хотя и заснятый через модератор, был так невыносим, что зрители закрывали уши.

"Эдисон-Био" показывала всю библию современного труда. И все было устремлено к одной определенной цели: туннель!

И зрители, за десять минут до того наслаждавшиеся жуткой мелодрамой, чувствовали, что все эти пестрые, дымящиеся и грохочущие картины труда, воспроизводимые на полотне, были сценами значительно более величественной и сильной драмы, героем которой была их эпоха.

"Эдисон-Био" возвещала эпос железа, более великий и могущественный, чем все эпосы древности.

Железные рудники в северной Испании -- в Бильбао, в Швеции -- в Елливаре, в Гренгесберге. Заводской город в Огайо, где падает пепельный дождь, где дымовые трубы торчат густо, как копья. Пылающие доменные печи в Швеции -- языки пламени на ночном горизонте. Ад! Металлургический завод в Вестфалии. Стеклянные дворцы, машины-мамонты -- продукт человеческого мозга, а рядом с ними карлики, создавшие их и ими управляющие. Группа толстых дьяволов, вышиной с башню, дымящиеся доменные печи, схваченные железными поясами, выплевывают в небо огонь. Тележки с рудой взлетают наверх. Печь загружают. Ядовитые газы проносятся в чреве толстых дьяволов и нагревают дутье до тысячи градусов, так что уголь и кокс сами начинают гореть. Триста тонн чугуна выплавляет в день доменная печь. Пробивают летку, ручей металла устремляется в ров, люди пылают, их мертвенные лица ослепительно светятся. Бессемеровские и томасовские груши, словно вздутые тела пауков, вышиной в несколько этажей, движимые напором воды, то стоя, то лежа, продувают воздух сквозь чугун, извергая огненные змеи и снопы искр. Пламя, жар, ад и триумф! Мартеновские печи, вращающиеся печи, паровые молоты, прокатные станы, дым, пляски искр, горящие люди... Гениальность, победа в каждом дюйме. Раскаленная болванка потрескивает, пробегая свой путь по рольгангу, между валками, и тянется как воск, становится все длиннее, длиннее, бежит назад сквозь последний "ручей" и лежит, горячая и вспотевшая, черная, побежденная, готовая. Это Крупп прокатывает в Эссене туннельные рельсы.

Для финала -- штольня в угольных копях. Лошадиная голова, лошадь, мальчуган в высоких сапогах, идущий рядом, за ним бесконечный поезд тележек с углем. Лошадь с каждым шагом подымает и опускает голову, мальчик тяжело ступает, пока не вырисовывается крупным планом, улыбаясь публике всем своим закопченным, бледным лицом.

Конферансье поясняет: "Таким мальчиком из шахты был двадцать лет назад Мак Аллан, строитель туннеля".

Взрыв ликования! Люди приветствуют человеческую энергию и силу, приветствуют самих себя и свои надежды!

В тридцати тысячах театров "Эдисон-Био" ежедневно показывала туннельный фильм. Не было уголка в Сибири или Перу, где бы не видели этих фильмов. И было совершенно естественно, что главные деятели постройки туннеля становились таким путем столь же известны, как сам Аллан. Их имена запечатлевались в народной памяти, как имена Стефенсона, Маркони, Эрлиха, Коха.

Лишь сам Аллан еще не удосужился посмотреть туннельный фильм, хотя правление "Эдисон-Био" старалось чуть не насильно затащить его к себе.

Правление ждало особенного успеха от фильма "Мак Аллан смотрит себя в Эдисоновском биоскопе".

8

-- Где Мак? -- спросил Хобби.

Мод остановила качалку.

-- Дай-ка подумать! В Монреале, Хобби.

Вечер. Они оба сидят на веранде второго этажа, выходящей к морю. Под ними во тьме лежит безмолвный сад. Усталой зыбью равномерно шумит и журчит море, а вдали звенит и грохочет работа. Перед ужином они сыграли четыре сета в теннис, потом поужинали и решили отдохнуть еще часок. Дом погружен во мрак и спокоен.

Хобби устало зевает, похлопывая себя по губам. Равномерное журчание моря убаюкивает его.

А Мод раскачивается в качалке, не помышляя о сне.

Она смотрит на Хобби. Благодаря светлому костюму и белокурым волосам весь он в темноте почти белый, и только лицо и галстук кажутся темными. Будто негатив. Мод улыбается: она вспомнила историю, которую рассказал Хобби за ужином об одной из "племянниц" С.Вульфа, подавшей на него в суд за то, что он ее выставил за дверь. От этого воспоминания мысли Мод снова возвращаются к Хобби. Он ей всегда нравился. Даже его мальчишеские выходки нравились ей. Между ними установились прекрасные товарищеские отношения, у них не было секретов друг от друга. Иногда он порывался даже рассказывать ей вещи, которых она не хотела знать, и ей приходилось просить его замолчать. К Эдит Хобби относился так сердечно и дружески, словно она была его дочерью, и подчас казалось, что хозяин этого дома -- Хобби.

"Хобби мог бы с таким же успехом быть моим мужем, как Мак", -- подумала Мод и почувствовала, как краска прилила к ее лицу.

В этот миг Хобби тихонько усмехнулся.

-- Чему ты смеешься, Хобби?

Хобби потянулся так, что кресло заскрипело.

-- Я сейчас думал о том, как я проживу ближайшие семь недель.

-- Ты опять проигрался?

-- Да. Если у меня полные руки козырей, разве я должен пасовать? Я пустил на ветер шесть тысяч долларов, Вандерштифт выиграл, -- богачи всегда в выигрыше.

-- Тебе стоит только намекнуть Маку о своих затруднениях, -- рассмеялась Мод.

-- Да, да, да... -- ответил Хобби, зевая и опять похлопывая себя по губам. -- Такова судьба глупцов.

Оба опять отдались своим мыслям. Мод придумала трюк: раскачиваясь, она умудрялась передвигаться взад и вперед. То она была на шаг ближе, то на шаг дальше. И все время она не теряла Хобби из виду.

Ее душа была полна смятения, страха перед судьбой и желания.

Хобби закрыл глаза, и Мод, приблизившись, вдруг спросила его:

-- Франк, как сложилась бы наша жизнь, если бы я вышла замуж за тебя?

Хобби открыл глаза -- он сразу очнулся.

Вопрос Мод и его имя, которого она не произносила уже многие годы, смутили его. Он испугался: лицо-Мод вдруг оказалось совсем рядом, хотя только что находилось в двух шагах от него. Ее мягкие маленькие руки лежали на локотнике его кресла.

-- Откуда же мне знать? -- неуверенно произнес он с деланным смехом.

Глаза Мод приблизились к его глазам. Они светились теплом и мольбой, идущими из глубины души. Под пробором темных волос узкое ее лицо казалось бледным, опечаленным.

-- Почему я не вышла за тебя, Фрэнк?

Хобби глубоко вздохнул.

-- Потому что Мак тебе больше нравился, -- через несколько мгновений сказал он.

Мод утвердительно кивнула.

-- Были бы мы счастливы с тобой. Франк?

Смущение Хобби росло, тем более что он не мог двинуться с места, не задев Мод.

-- Кто знает, Мод? -- улыбнулся он.

-- Ты меня действительно любил тогда, Фрэнк, или только делал вид? -- тихо шепнула Мод.

-- Нет, в самом деле!

-- Как ты думаешь, Фрэнк, был бы ты счастлив со мной?

-- Думаю, что да.

Мод кивнула, и ее тонкие брови мечтательно поднялись.

-- Да? -- еще тише прошептала она, исполненная счастья и боли.

Хобби едва сдерживался. Как Мод могло прийти в голову касаться этих давно ушедших в прошлое вещей? Он хотел сказать ей, что все это бессмыслица, хотел перевести разговор на другую тему. Да, черт возьми, Мод все еще нравилась ему, и он в свое время немало перенес...

-- А теперь мы стали добрыми друзьями, Мод, не так ли? -- спросил он, стараясь произнести эти слова как можно более невинным, обыденным тоном.

Мод чуть заметно кивнула. Она все еще смотрела на него, и так они сидели одну-две секунды, глядя друг другу в глаза. И вдруг свершилось! Он слегка пошевелился, так как не мог дольше оставаться в том же положении -- да, но как же это вышло? -- их уста встретились, словно сами собой.

Мод отшатнулась. Послышался легкий подавленный возглас, она поднялась, постояла минутку неподвижно и исчезла во тьме. Стукнула дверь.

Хобби медленно выбрался из плетеного кресла и со смущенной, рассеянной улыбкой уставился во мрак, ощущая на своих губах теплый поцелуй мягких губ и непреодолимую усталость в теле.

Он быстро пришел в себя. И снова услышал шум моря и отдаленный грохот поезда. Он бессознательно посмотрел на часы и, пройдя по темным комнатам, спустился в сад.

"Больше никогда! -- подумал он. -- Стоп, мой милый! Мод не скоро меня увидит!"

Он снял с вешалки шляпу, дрожащими руками зажег папиросу и, взволнованный, счастливый, смущенный, покинул дом.

"Однако, черт возьми, как же это случилось?" -- вспомнил он, замедляя шаги.

Тем временем Мод сидела съежившись в своей темной комнате, положив руки на колени, не поднимая испуганных глаз от пола, и шептала: "Позор, позор... О, Мак, Мак!" И она тихо и сокрушенно заплакала. Никогда она не посмеет взглянуть Маку в глаза, никогда. Она должна ему сознаться, она должна развестись, да! А Эдит? Она может гордиться своей матерью, действительно!..

Она вздрогнула. Снизу донеслись шаги Хобби. "Как легко он ходит, -- подумала она, -- какой легкий у него шаг!" Сердце билось учащенно. Встать, крикнуть: "Хобби, вернись!" Ее лицо пылало, она ломала руки. О боже, нет, это позор!.. Что это на нее нашло? Весь день в голове бродили сумасбродные мысли, а вечером она не могла оторвать глаз от Хобби, ее не покидало желание, -- да, она честно в этом сознается, -- чтобы он ее поцеловал!.. Лежа в кровати, Мод поплакала еще немножко от горя и раскаяния. Потом она успокоилась и овладела собой. "Я все скажу Маку, когда он приедет, и попрошу его простить меня, дам клятву... "Не оставляй меня так долго одну, Мак!" -- скажу я ему. А как это было прекрасно... Хобби смертельно испугался. Спать, спать, спать!"

На другое утро, купаясь вместе с Эдит, она ощущала лишь легкую тяжесть на душе. Но эта тяжесть оставалась даже тогда, когда она совсем не думала о вчерашнем вечере. Все опять пойдет по-хорошему, непременно! Ей казалось, что никогда она не любила Мака так горячо, как теперь. Но ему не следовало так забывать о ней. Только иногда она погружалась в раздумье и смотрела вдаль невидящим взором, волнуемая горячими, быстрыми, тревожными мыслями. А что, если она действительно любит Хобби?..

Хобби не показывался три дня. Днем он как дьявол работал, вечера проводил в Нью-Йорке, играл и пил виски. Он взял в долг четыре тысячи долларов и проиграл их до последнего цента.

На четвертый день Мод послала ему записку с просьбой непременно прийти вечером. Чтобы поговорить с ним.

Хобби пришел. Мод покраснела, увидев его, но встретила веселым смехом.

-- Мы никогда больше не сделаем такой глупости, Хобби! -- сказала она. -- Ты слышишь? О, я так упрекала себя! Я не могла спать, Хобби! Нет, это не должно повториться. Ведь виновата я, а не ты, я себя не обманываю. Сперва я думала, что должна покаяться перед Маком. Теперь же решила ничего ему не говорить. Или, ты думаешь, лучше сказать?

-- Скажи при случае, Мод! Или я...

-- Нет, не ты. Слышишь, Хобби! Да, при случае -- ты прав! А теперь опять будем прежними добрыми друзьями, Хобби!

-- All right! [хорошо! (англ.)] -- сказал Хобби и взял ее руку, любуясь блеском ее волос и думая о том, что краска смущения ей очень к лицу, что она добра и верна и что этот поцелуй обошелся ему в четыре тысячи долларов. Never mind! [Не беда! (англ.)]

-- Пришли мальчишки подавать мячи. Хочешь поиграть?

Так они вновь стали прежними друзьями, но только Мод не могла удержаться, чтобы иной раз не напомнить Хобби взглядом, что у них есть общая тайна.

Часть четвертая

1

Словно призрак, стоял Мак Аллан над миром и своим беспощадным бичом подгонял всех, кто строил туннель. Весь мир с напряжением следил за исступленной работой под морским дном. Газеты ввели постоянный отдел, куда, как на известия с театра военных действий, прежде всего обращали взор читатели.

Но в первые недели седьмого года строительства Аллана постиг тяжелый удар. В октябре в американских штольнях разразилась большая катастрофа, поставившая под угрозу все предприятие.

Небольшие происшествия и отдельные несчастные случаи бывали ежедневно. Проходчики гибли от каменных обвалов, при взрывах, под поездами. Смерть чувствовала себя в туннеле как дома и без особых церемоний выхватывала жертвы из рядов строителей. Во все штольни неоднократно врывались массы воды, с которой едва могли справиться насосы, и тысячи рабочих подвергались опасности затопления. Эти храбрецы работали иногда по

грудь в воде. Подчас врывавшаяся вода была горяча как кипяток, и от нее валил пар, словно от гейзера. Правда, в большинстве случаев можно было предвидеть появление больших масс воды и заранее принять меры. Специально сконструированными аппаратами, похожими на передатчики беспроволочного телеграфа, по способу, впервые предложенному доктором Леви из Геттингена, в скалу посылались электрические волны, которые при наличии больших количеств воды (или рудных залежей) отражались назад и вступали в интерференцию с отправными волнами. Неоднократно обломки засыпали бурильные машины, и это также влекло за собой человеческие жертвы. Кому не удавалось спастись в последнюю минуту, тот был раздавлен. Отравления окисью углерода, анемия были обыденными явлениями. Туннель породил даже особую болезнь, похожую на кессонную. Народ назвал ее "the bends" -- "корчи". Аллан построил на берегу моря специальный санаторий для пострадавших этой необыкновенной болезнью.

В общем, однако, за шесть лет строительства туннель поглотил не больше жертв, чем любое крупное техническое сооружение. Общая сумма жертв составила относительно небольшую цифру в тысячу семьсот тринадцать человеческих жизней.

Но десятое октября седьмого года было для Аллана злосчастным днем...

Аллан имел обыкновение ежегодно в октябре производить генеральный смотр работ на американском участке, продолжавшийся несколько дней. Инженеры и служащие называли эти дни "страшным судом". Четвертого октября он осматривал город. Аллан заходил в рабочие дома, на бойни, в бани и больницы. Он посетил дом для выздоравливающих, которым руководила Мод. Мод весь день была в большом волнении и густо покраснела, когда Аллан похвалил ее деятельность. Следующие дни были посвящены осмотру конторских зданий, товарных станций и машинных залов, где с шумом вращался бесконечный ряд динамо-машин, работали насосы тройного, действия, рудничные вентиляторы и компрессоры.

Затем он вместе с Хобби, Гарриманом и инженером Берманом отправился в туннель.

Осмотр туннеля длился несколько дней, так как Аллан проверял каждую станцию, каждую машину, каждую стрелку, каждый квершлаг, каждое депо. Покончив с каким-либо пунктом, они сигналом останавливали ближайший поезд, вскакивали в вагон и двигались дальше.

В штольнях было темно, как в погребе. Иногда проносился рой огней, мелькали железные каркасы, человеческие тела, примостившиеся на лесах. Ослепительно вспыхивал красный фонарь, резко звучал колокол поезда, и тени шарахались в сторону.

В темных штольнях стоял гул от мчавшихся поездов. Они гремели и кряхтели, пронзительные крики доносились из темной дали. Словно где-то выли волки, фыркал и отдувался вынырнувший гиппопотам, мощным басом яростно спорили циклопы, и казалось, что можно даже разобрать отдельные слова. Хохот катился по штольням, и в конце концов все эти странные и жуткие звуки сливались воедино: туннель гремел, шумел, гудел, и внезапно поезд попадал в бурю такого грохота и трезвона, что нельзя было разобрать собственных слов. За сорок километров от бурильной машины в туннеле стоял такой гул, что чудилось, будто это гигантский бараний рог, в который трубил сам ад. Здесь места работы, залитые светом прожекторов, сверкали, как раскаленные добела плавильные печи.

Весть о прибытии Аллана в туннель распространилась со скоростью лесного пожара. Куда бы он ни приходил, покрытый пылью и грязью до неузнаваемости и все же всеми узнанный, -- отряды горняков запевали "Песнь о Маке":

Three cheers and a tiger tor him!
[Трижды ура и один рев тигра в его честь!
(американское народное выражение)]
Кепи долой перед Маком!
Мы все, как один, за него.
Нет того, что бы Мак не осилил,
God damn you, yes [черт бы вас взял,
да (англ.)], такой уж наш Мак,
Three cheers and a tiger for Mac!

Сменившиеся рабочие сидели на груженных камнем платформах, и по гремящим и грохочущим штольням разносился отзвук их пения.

Мак был популярен и -- насколько это допускала фанатическая ненависть между трудом и капиталом -- пользовался симпатией рабочих. Он был из их среды и, несмотря на свою громадную власть, сделан из того же теста, что и они.

"Мак!.. -- говорили они обычно. -- Да, Мак -- это парень!" Это было все, и это было высшей похвалой.

Его популярности особенно содействовали "Воскресные приемы". И о них сложили песню такого содержания: "Если у тебя неприятности, черкни словечко Маку. Он справедлив, он из нашей среды. Или лучше пойди на его воскресный прием. Мы его знаем, он тебя не отошлет, не разобрав дела. Он знает сердце рабочего".

В "чистилище" электрические клепалки трещали и жужжали, как пропеллеры на полном газу, гремело железо. И тут рабочие пели. Белки глаз сверкали на грязных лицах, рты равномерно раскрывались, но не было слышно ни звука.

Последние тридцать километров продвинувшейся южной штольни Аллану и его спутникам пришлось большей частью пройти пешком или проехать на медленно движущихся товарных поездах. Здесь штольня представляла собой лес грубых столбов, лес из балок, сотрясаемых непонятным шумом, мощь которого то забывалась, то вновь ярко ощущалась. От жары (сорок восемь градусов по Цельсию) столбы и балки трескались, хотя их часто поливали водой и вентиляционная система непрерывно вгоняла свежий, охлажденный воздух. Здесь была тяжелая, испорченная рудничная атмосфера.

В маленькой поперечной штольне лежал запачканный маслом полунагой труп. Монтер, застигнутый параличом сердца. Вокруг кипела работа, и ноги торопившихся людей переступали через него. Ему не удосужились даже закрыть глаза.

Дошли до "ада". Среди воющих шквалов пыли стоял низенький японец с землистым цветом лица, неподвижный как статуя, и отдавал распоряжения оптическими сигналами. То красным, то белым огнем сверкал его рефлектор, а иногда он швырял в отряд копошившихся рабочих травянисто-зеленый луч, придававший им вид покойников, не прекративших своего труда и после смерти.

Здесь никто не обращал внимания на прибывших. Ни слов приветствий, ни пения. Тут были вконец измученные люди, метавшиеся в полусознательном состоянии. Аллану и его инженерам пришлось самим внимательно следить, чтобы их не сбило с ног бревно, которое тащили тяжело дышавшие рабочие, или громадный камень, который взвалили на тележку шесть пар жилистых, ободранных рук.

Тут штольня залегала уже очень глубоко -- на четыре тысячи четыреста метров ниже уровня моря. Знойная атмосфера, наполненная мелкой пылью, мучительно раздражала дыхательные пути. Хобби беспрерывно зевал от недостатка воздуха, глаза побагровевшего Гарримана вылезали на лоб, словно он задыхался. Легкие же Аллана привыкли к воздуху, бедному кислородом. Грохот работы, толпы людей, кидающихся в разные стороны, возбуждали его. Взгляд его невольно зажегся гордостью и торжеством. Он вышел из свойственного ему состояния спокойствия и молчаливости, сновал туда и сюда, жестикулировал, и его мускулистая спина блестела от пота.

Гарриман подполз к Аллану с образцом породы в руке и поднес камешек к его глазам. Потом сложил руки рупором у рта и заорал ему в ухо:

-- Это и есть неведомая руда!!

-- Руда?! -- таким же способом переспросил Аллан.

Это была ломкая, аморфная каменная порода цвета ржавчины. Первое геологическое открытие за время сооружения туннеля. Неизвестная доселе руда, названная субмаринием, содержала большое количество радия, и Компания плавильных заводов ждала каждый день, что вот-вот наткнутся на большие залежи новой руды. Гарриман все это прокричал Аллану в ухо.

Аллан рассмеялся:

-- Это было бы им кстати!

Из бурильной машины вылез рыжеволосый человек могучего телосложения с длинными руками гориллы. Столб из грязи и масла, с серой каменной кашей на сонных веках. Он был похож на откатчика руды, на самом же деле это был один из лучших инженеров Аллана, ирландец по имени О'Нейл. Его правая рука была в крови, и кровь смешалась с грязью в черную массу, похожую на колесную мазь. Он беспрерывно плевался пылью и чихал. Рабочий поливал его водой, как поливают слона. О'Нейл, совершенно голый, вертелся и пригибался под водяной струей и подошел, весь мокрый, к Аллану.

Ирландец потряс головой и выжал большими руками воду из волос.

-- Гнейс становится все более серым! -- прокричал он в ухо Аллану. -- Все более серым и твердым. Красный гнейс -- игрушка по сравнению с этим. Нам каждый час приходится менять коронки у буров. И жара, черт ее побери!

-- Мы скоро опять начнем подыматься!

О'Нейл усмехнулся.

-- Через три года! -- проревел он.

-- Нет ли впереди воды?

-- Нет.

Вдруг все они позеленели и стали призрачно бледны: японец навел на них свой световой конус.

О'Нейл без церемонии отодвинул Аллана в сторону -- бурильная машина шла назад.

Аллан пробыл здесь три смены, потом взобрался на груженный камнями поезд и поехал с Гарриманом и Хобби назад. Они мигом заснули от утомления, но Аллан и сквозь сон еще долго ощущал каждую помеху, которую встречал поезд на своем длинном четырехкилометровом пути вверх. Скрипели тормоза, вагоны толкали друг друга с такой силой, что камни валились на рельсы, какие-то фигуры взбирались на поезд, раздавались окрики, сверкал красный свет. Поезд полз через стрелку и надолго останавливался. Аллан сквозь сон видел темные фигуры, шагавшие через него.

-- Это Мак, не наступите на него!

Поезд шел, останавливался, шел опять. Вдруг он помчался с большой быстротой, Аллану показалось, что они летят, и он погрузился в глубокий сон.

Он проснулся, когда яркий, жестокий дневной свет, как сверкающий нож, ударил ему в глаза.

Поезд остановился у здания станции, и Мак-Сити вздохнул свободно: "страшный суд" миновал и кончился благополучно. Инженеры отправились в купальню. Хобби, казалось, заснул в своем бассейне с папиросой в зубах. Гарриман пыхтел и фыркал, как бегемот.

-- Не пойдешь ли к нам завтракать, Хобби? -- спросил Аллан. -- Семь часов. Мод, вероятно, уже встала.

-- Я должен выспаться, -- ответил Хобби, не выпуская папиросы изо рта. -- Ночью я опять спущусь в туннель. Но я непременно приду к ужину.

-- К сожалению, меня здесь уже не будет.

-- В Нью-Йорк?

-- Нет, в Буффало. Мы испытываем новый тип бура. Его изобрел "Толстый Мюллер".

Хобби не слишком интересовался бурами. Он перевел разговор на "Толстого Мюллера" и тихонько засмеялся.

-- Пендлтон написал мне с Азорских островов, Мак, -- сонным голосом сказал он, -- что этот Мюллер страшный пьяница.

-- Все немцы пьют как лошади, -- возразил Аллан, прогуливаясь щеткой по ноге.

-- Пендлтон пишет, будто Мюллер на своих пикниках так накачивает всех, что они валятся под стол.

В этот миг мимо них прошел одетый с иголочки японец. Он отработал уже вторую смену. Японец вежливо поклонился.

Хобби приоткрыл один глаз.

-- Good morning, Jap! [С добрым утром, японец! (англ.)] -- поздоровался он.

-- Он дельный малый! -- сказал Аллан, когда японец закрыл за собой дверь.

Через двадцать четыре часа этого дельного малого давно уже не было в живых.

2

Катастрофа произошла на другой день, за несколько минут до четырех часов утра.

Место, где бурильная машина продвинутой южной штольни в этот злосчастный день, десятого октября, дробила скалу, находилось на расстоянии ровно четырехсот двадцати километров от устья туннеля. В тридцати километрах позади работала бурильная машина параллельной штольни.

Скалу только что взорвали. Прожектор, с помощью которого вчерашний маленький японец отдавал приказания, лил белый свет на катящиеся камни и на отряд полунагих людей, взбегавших по дымящейся горе щебня. В этот миг один из рабочих вскинул руки кверху, другой повалился навзничь, третий внезапно исчез неведомо куда.

Дымящаяся гора щебня со скоростью бушующей лавины покатилась вперед, проглатывая тела, головы, руки и ноги. Неистовый шум работы потонул в глухом реве, таком чудовищном, что человеческое ухо уже почти не воспринимало его. Тяжесть сжимала голову, барабанные перепонки лопались. Маленький японец внезапно исчез. Настала черная ночь. Каждый из работников "ада" успел увидеть разве только зашатавшегося человека, чей-нибудь искаженный рот или падавший столб. Никто ничего не слышал. Бурильная машина, этот броненосец из стали, который двигала сила, равная мощи двух курьерских паровозов, была поднята с рельсов, словно легкий барак, отброшена к стене и раздавлена. Человеческие тела неслись, как пушечные снаряды, по воздуху среди града каменных осколков; железные тележки для камня были сметены, разорваны, скручены в комок. Лес столбов рухнул, и осевшая гора похоронила под собой все живое.

Это было делом одной секунды. Через мгновение наступила мертвая тишина, и гул взрыва катился уже где-то вдали.

Взрыв повредил и разрушил двадцать пять километров штольни, и туннель гудел на протяжении восьмидесяти километров, как будто океан грохотал в штольнях. На смену реву, унесшемуся вдаль, как огромное чугунное ядро, пришла _жуткая_ тишина. Потом -- тучи пыли, а за пылью -- дым: туннель горел!

Из дыма бешено вылетали поезда, обвешанные гроздьями обезумевших людей. Потом выбегали неузнаваемые призраки, пробиравшиеся пешком, во тьме, а потом -- не появлялся уже никто.

Катастрофа произошла, к несчастью, в момент смены, и на последних двух километрах столпилось около двух тысяч пятисот человек. Больше половины было вмиг раздроблено, разорвано на куски, убито, засыпано, и никто не слышал ни одного крика.

Но когда грохот взрыва заглох вдали, гробовую тишину черной, как ночь, штольни прорезали отчаянные крики, громкие стоны, безумный смех, пронзительные вопли, мольбы о помощи, проклятия, хрипение и звериный вой. Во всех углах что-то закопошилось и зашевелилось. Сыпались камни, трещали доски, что-то ползло, скользило, скрипело. Мрак был невыносим. Пыль падала, как густой дождь пепла. Отодвинулась в сторону балка, из ямы, со стоном, чихая от пыли, выполз человек и, ошеломленный, присел на кучу мусора.

-- Где вы? -- кричал он. -- Бога ради!..

Он все время повторял одно и то же, но ему отвечали лишь дикие крики и звериные стоны. Человек выл все громче и громче от ужаса и боли, и голос его звучал все пронзительнее и безумнее.

Вдруг он умолк. Во мраке мелькнул отблеск огня. Пламя пробилось сквозь щель в огромной груде обломков и вдруг вскинулось вверх снопом тлеющих искр. Человек -- это был негр -- издал крик, перешедший в ужасный хрип, ибо -- боже милостивый -- среди пламени показался человек. Этот человек карабкался вверх сквозь огонь, страшный, дымящийся призрак с желтым лицом китайца. Призрак безмолвно полз все выше и выше, и казалось, что он повис на большой высоте, потом он соскользнул вниз. Внезапно в расстроенном мозгу негра пробудилось воспоминание. Он узнал призрак.

-- Хобби! -- закричал он -- Хобби!

Но Хобби не слышал, не отвечал. Он пошатнулся, упал на колени, стряхнул с одежды искры и захрипел, жадно ловя губами воздух. С минуту, ошеломленный, он просидел на земле -- темный ком, освещенный заревом огня. Казалось, он вот-вот упадет, но он только оперся на обе руки и медленно, машинально пополз вперед, инстинктивно -- на голос, непрерывно повторявший его имя. Неожиданно он наткнулся на темную фигуру и остановился. Негр сидел скорчившись, с залитым кровью лицом и кричал. На Хобби глядели то один, то два белых глаза. Это происходило оттого, что кровь вновь и вновь заливала один глаз негра, и он судорожными усилиями раскрывал его.

Они сидели некоторое время друг против друга и обменивались взглядами.

-- Вперед! -- бессознательно пробормотал Хобби и автоматически встал на ноги.

Негр ухватился за него.

-- Хобби, -- в ужасе завопил он, -- Хобби, что случилось?!

Хобби провел языком по губам, пытаясь сосредоточиться.

-- Вперед! -- хрипло повторил он, все еще не приходя в себя.

Негр уцепился за него и попытался встать, но с ревом повалился на землю.

-- Нога! -- кричал он. -- Боже праведный, что с моей ногой?

Хобби ничего не соображал. Совершенно инстинктивно он делал то, что обычно делают, когда видят падающего человека: он постарался поднять негра. Но оба упали на землю.

Подбородком Хобби так ударился о балку, что в голове затрещало. Боль отрезвила его. В полусознательном состоянии ему показалось, что его ударили по челюсти, и он приготовился к отчаянной обороне. Но тут -- тут с ним случилось что-то странное. Он не увидел противника, его кулаки зарылись в мусор. Хобби очнулся. Он вдруг осознал, что находится в штольне и что произошло нечто _ужасное_! Он задрожал, все мускулы его спины конвульсивно задергались, как у испуганной лошади.

Хобби понял. "Катастрофа..." -- подумал он.

Он приподнялся и увидел, что горит бурильная машина. С изумлением увидел он кучи лежащих на мусоре страшно скрюченных, нагих и полунагих людей, и никто из них не шевелился. Он видел их повсюду, рядом с собой, вокруг. Они лежали кто с открытым ртом, растянувшись во весь рост, кто с раздробленной головой, стиснутые между балками, насаженные на кол, разорванные на куски. Они лежали везде! У Хобби волосы встали дыбом. Одни из лежавших были засыпаны до подбородка, другие свернулись в клубок. И сколько здесь было глыб камня, балок, столбов и разбитых тележек, столько голов, спин, ног и рук торчало из обломков. Нет, больше! Хобби сжался от ужаса, его тряс озноб, и он должен был за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Теперь он понял странные звуки, наполнявшие вблизи и вдали полутемную штольню. Это мяуканье, рычанье, визг, сопенье и вой, которые, казалось, могли издавать только животные, -- эти ужасные, неслыханные звуки исходили от людей! Его тело, его лицо и руки коченели, как от стужи, ноги были парализованы. Совсем рядом с ним сидел человек, у которого кровь ручьем лилась из угла рта. Человек уже не дышал, но все еще подставлял ладонь, и Хобби слышал, как журчала и плескалась кровь. Это был маленький японец, Хобби узнал его. Вдруг рука японца опустилась, голова поникла, и он упал.

-- Вперед, вперед, -- шептал потрясенный Хобби. -- Нам надо выбраться отсюда...

Негр ухватился за его пояс и старался двигаться, действуя неповрежденной ногой. Так они ползли вместе среди хаоса столбов, трупов и камней, навстречу воплям и звериным крикам.

-- Хобби, -- стонал негр, всхлипывая от страха, -- мистер Хобби, the Lord bless your soul [да хранит вас бог (англ.)], не оставляйте меня, не бросайте меня здесь! О боже милостивый!.. У меня жена и двое маленьких детей... Не оставляйте бедного негра. Будьте милосердны!

Горящая бурильная машина бросала яркие и зловещие языки света и черные трепещущие тени в темный хаос, и Хобби пришлось напрячь все внимание, чтобы не наступать на тела и головы, торчавшие из обломков породы. Вдруг между двумя опрокинутыми железными тележками появилась фигура, чья-то рука протянулась к Хобби, и он отшатнулся. Он увидел бессмысленно глядевшее на него лицо.

-- Что тебе надо? -- спросил Хобби, до смерти перепугавшись.

-- Выйти отсюда! -- прохрипел человек.

-- Пошел прочь! -- ответил Хобби. -- Ты идешь в обратном направлении.

Выражение лица не изменилось. Но лицо это медленно отодвинулось. И, не издав ни звука, фигура исчезла, словно проглоченная землей.

В голове у Хобби прояснилось, он старался собраться с мыслями. Ожоги причиняли боль, из его левой руки сочилась кровь, но, собственно говоря, он был невредим. Он вспомнил, что Аллан послал его с поручением к О'Нейлу. Еще за десять минут до взрыва он, стоя у тележки для камней, разговаривал с рыжим ирландцем. Потом он влез в бурильную машину. Зачем -- этого он уже не помнил. Едва он вошел в машину, как почувствовал, что земля под ним колеблется. Он увидел два изумленных глаза -- и больше он ничего не видел. До этого времени он все знал, но для него было загадкой, как он выбрался вновь из бурильной машины. Быть может, он был выброшен взрывом?

Таща за собой стонавшего и причитавшего негра, он обдумывал положение. Оно не казалось ему безнадежным. Если он доберется до квершлага, где вчера лежал труп монтера, он спасен. Там были запасы перевязочных материалов, кислородные аппараты, аварийные фонари. Он ясно помнил, что Аллан проверял действие этих фонарей. Квершлаг находился вправо. Но как далеко от него? Три мили, пять миль? Этого он не знал. Если ему не

удастся выбраться отсюда, он задохнется, так как дым с каждой минутой становится сильнее... Хобби с отчаянной энергией пробирался вперед.

Вдруг совсем близко он услышал голос, с трудом произносивший его имя. Он остановился и прислушался. От волнения у него запрыгали губы.

-- Сюда! -- прохрипел голос. -- Это я, О'Нейл!

Да, это был О'Нейл, огромный ирландец. Его тело, обычно занимавшее так много места, было стиснуто двумя столбами, правая часть лица была в крови. Он весь посерел, словно его посыпали золой, глаза были как две красные горящие раны.

-- Со мной все кончено, Хобби! -- прохрипел О'Нейл. -- Что случилось? Со мной все кончено, и я ужасно страдаю... Застрели меня, Хобби!

Хобби попробовал отодвинуть балку в сторону. Он собрал оставшиеся силы, но почему-то вдруг повалился на землю.

-- Не трудись, Хобби, -- сказал О'Нейл. -- Со мной все кончено. Мне очень больно. Застрели меня и спасайся сам!

Да, с О'Нейлом все было кончено. Хобби это понял. Он вынул из кармана револьвер. Ему казалось, что револьвер был страшно тяжел, он едва мог поднять его.

-- Закрой глаза, О'Нейл!

-- Зачем, Хобби? -- О'Нейл горестно улыбнулся. -- Скажи Маку, что я не виноват. Спасибо, Хобби!..

Дым ел глаза, но зарево постепенно блекло. Хобби надеялся, что оно погаснет. Тогда опасность миновала бы. Но раздались два коротких, сильных взрыва. "Вероятно, взрывные гильзы", -- подумал он.

Тотчас же стало опять светло. Высокий столб был объят пламенем и на большом расстоянии освещал штольню. Хобби видел, как одни фигуры вылезали из-под обломков, другие медленно, шаг за шагом, пробирались вперед. Их грязные голые спины и руки в свете пожара казались желтыми, как сера. Из-под обломков неслись крики и стоны, руки высовывались, судорожно крюча пальцы, и манили к себе. Немного дальше земля приподнималась толчками, но слой щебня каждый раз оседал на прежнее место.

Хобби с тупым упорством полз вперед. Он хрипел. Пот капал с его лица. От сильного напряжения он почти терял сознание. Он не обратил внимания на руку, высунувшуюся из щебня и пытавшуюся схватить его за ногу, апатично миновал лужу стекавшей с потолка крови. "Как много крови в человеческом теле!" -- подумал он, продолжая свой путь и переползая через лежавшего на животе мертвеца.

Негр, навязанный ему судьбой в этот ужасный час, уцепился руками за его шею. Он плакал и выл от боли и страха, целовал его волосы и умолял не покидать его.

-- Меня зовут Уошингтон Джексон, -- прохрипел негр, -- я из Афин в Джорджии, мою жену зовут Аманда Балл, она из Дэниельсвилля. Три года назад я поступил на работу в туннель грузчиком камня. У меня двое детей: шести и пяти лет.

-- Перестань болтать, парень! -- рассердился Хобби. -- И не цепляйся так за меня!

-- О мистер Хобби, -- вкрадчиво говорил Джексон, -- говорят, вы добры... О мистер Хобби... -- он поцеловал Хобби в голову и ухо.

Но, когда Хобби ударил его по рукам, он пришел в бешеную ярость: ему показалось, что тот хочет отделаться от него. Изо всех сил он стиснул руками шею Хобби и зашипел:

-- Ты хочешь дать мне подохнуть здесь, Хобби! Ты этого хочешь?.. Ох!

И он с отчаянным криком упал на землю, так как Хобби большими пальцами вдавил ему глаза.

-- Хобби, мистер Хобби, -- визжал он, с плачем простирая к нему руки, -- не покидайте меня, во имя вашей матери, вашей доброй старушки матери...

Хобби задыхался. Грудь была как в тисках, и собственное тело казалось ему негнущимся и длинным. Он думал, что подходит его конец.

-- Идем, дьявол проклятый! -- пробормотал он, когда немного пришел в себя. -- Надо пролезть под этим поездом. Если ты опять станешь душить меня, я тебя убью!

-- Хобби, добрый мистер Хобби!

И Джексон полз, кряхтя и плача, за Хобби, держась одной рукой за его пояс.

-- Hurry up, you idiot! [Скорей, идиот! (англ.)]

Хобби казалось, что его виски вот-вот лопнут.

На протяжении трех миль штольня была почти совсем разрушена, завалена столбами и камнями. Повсюду ползли окровавленные, раненые люди и с криками, плачем, стонами продвигались со всей доступной им быстротой вперед. Они карабкались через сброшенные с рельсов поезда, груженные камнем и материалами, взбирались на груды щебня и спускались с них, протискивались между балками.

Чем дальше, тем больше встречали они других потерпевших, спешивших, как и они, вперед. Здесь было совершенно темно, и только изредка сюда достигал бледный отсвет огня. Едкий дым все приближался, и, едва ощутив его, они удваивали свои усилия, спеша дальше.

Они шагали через тела медленно ползущих раненых, они кулаками сбивали друг друга с ног, чтобы выиграть хоть один шаг, а какой-то негр размахивал ножом и в слепом исступлении вонзал его в каждого, кто мешал ему пройти.

Перед узким проходом между опрокинутыми вагонами и кучей деревянных крепей шла настоящая битва. Раздавались револьверные выстрелы, и крики настигнутых пулей мешались с яростным ревом людей, душивших

друг друга. Но один за другим сражавшиеся исчезали в узкой щели, а раненые со стоном ползли им вслед.

Потом путь стал свободнее. Здесь стояло меньше поездов, и взрыв не вырвал всех столбов. Но здесь было совсем темно. Кряхтя, скрипя зубами, обливаясь потом и кровью, скользили по скатам и карабкались вперед спасавшиеся. Они натыкались на балки и вскрикивали, они падали с вагонов и шарили руками во тьме. Вперед! Вперед! Ярость инстинкта самосохранения постепенно ослабевала, и вновь пробуждалось чувство товарищества.

-- Сюда, здесь путь свободен!

-- Есть ли там проход?

-- Правее, вдоль вагонов!

Через три часа после катастрофы первые рабочие выбрались в параллельную штольню. Световая проводка была испорчена и здесь. Стоял полный мрак. Все взвыли от гнева. Ни одного поезда! Ни одного фонаря! Отряды, работавшие в параллельной штольне, давно убежали, и все поезда ушли.

Дым приполз и сюда, и бешеная гонка возобновилась. Люди ползли, бежали, мчались в темноте около часа, потом начали валиться с ног от изнеможения.

-- Нет смысла! -- кричали они. -- Нам не пробежать четырехсот километров!

-- Что же нам делать?

-- Ждать, пока за нами придут!

-- Придут? Кто может прийти?..

-- Мы умрем с голоду.

-- Где склады с припасами?

-- Где аварийные фонари?

-- Да, где же они?..

-- Мак!..

-- Ну, погоди, Мак!..

И вдруг в них вспыхнула жажда мести!

-- Погоди, Мак! Дай нам только выбраться!..

Но дым настиг их, и они снова побежали вперед, пока у них не подогнулись колени.

-- Вот станция!

На станции было темно и пустынно. Машины бездействовали, все бежали отсюда в общей панике.

Толпа ворвалась на станцию. Здесь рабочим было все хорошо знакомо. Они знали, что тут стоят запломбированные ящики со съестными припасами, которые надо только открыть.

Во тьме раздались треск и удары. Никто, собственно, не хотел есть, ужас прогнал ощущение голода. Но вид припасов пробудил в людях дикий инстинкт, стремление набить себе желудок, и они, как волки, кинулись на ящики. Все наполняли карманы съестным. Мало того, одурев от ужаса и гнева, они высыпали на землю мешки сухарей и сушеного мяса, разбивали сотни бутылок.

-- Вот фонари! -- крикнул кто-то.

Это были аварийные фонари с сухими батареями, которые надо было только включить.

-- Стоп! Не зажигать, я буду стрелять!

-- В чем дело?

-- Может произойти взрыв!

Одного этого предположения было достаточно, чтобы все застыли на месте. Страх утихомирил их.

Но потом снова повалил дым, и они опять пустились бежать.

Вдруг до них донеслись крики и выстрелы. Свет! Они ринулись через квершлаг в параллельную штольню. И увидели, как вдали толпы людей боролись из-за места в вагоне, пуская в ход кулаки, ножи, револьверы. Поезд ушел, и они в отчаянии бросились на землю, крича:

-- Мак! Мак! Погоди! Уж мы до тебя доберемся!

3

Паника очистила туннель от людей. Тридцать тысяч человек вымела она из штолен. Отряды в неповрежденных штольнях, услышав грохот взрыва, немедленно прекратили работу.

-- Море ворвалось! -- закричали они и бросились бежать. Инженеры с револьверами в руках удерживали их. Когда же их настигло облако пыли и стали прибегать объятые ужасом люди, их уже не могли удержать никакие угрозы.

Рабочие кидались на поезда с камнем и уезжали.

На стрелке один из поездов сошел с рельсов и этим сразу задержал десять других.

Толпы рабочих бросились в параллельную штольню. Они задерживали проходившие там поезда, становясь на рельсы и крича. Но поезда были уже переполнены, и началась ожесточенная борьба за места.

Паника усиливалась еще тем, что никто не знал, что же, собственно, произошло. Было только известно, что случилось нечто ужасное! Инженеры сначала пытались образумить людей, но когда с поездами стало прибывать все больше и больше обезумевших рабочих, кричавших: "Туннель горит!", когда дым стал подползать из темных штолен, они сами поддались панике. Все поезда шли теперь к выходу из туннеля. Толпа, мчавшаяся с диким ревом, задерживала входившие поезда с материалами и сменами рабочих и гнала их в обратном направлении.

Таким образом, через два часа после катастрофы туннель на протяжении ста километров был всеми покинут. Машинисты внутренних станций тоже обратились в бегство, и машины остановились. Лишь кое-где два-три отважных инженера остались на станциях.

Инженер Берман защищал последний поезд.

Этот поезд, в котором было десять вагонов, стоял на готовой части "чистилища", где происходила клепка железных конструкций, в двадцати пяти километрах от места катастрофы. Осветительная установка и здесь была испорчена. Но Берман установил аккумуляторные лампы, мерцавшие сквозь дым.

Три тысячи человек работали в "чистилище", около двух тысяч уже уехало, последнюю тысячу Берман хотел вывезти на оставшемся поезде.

Они прибегали, тяжело дыша, небольшими кучками и а диком страхе кидались на вагоны. Народ все прибывал. Берман ждал терпеливо, так как многим рабочим "чистилища" нужно было идти до поезда три километра.

-- В путь, давай отправление!

-- Мы должны подождать остальных! -- крикнул Берман. -- No dirty business now! [Прекратить безобразия! (англ.)] В моем револьвере шесть зарядов!

Берман был немец, маленького роста, седой, коротконогий. Шутить он не любил.

Он ходил вдоль поезда, кричал и бранился, обращаясь к головам и кулакам, возбужденно двигавшимся наверху, в дыму:

-- Не безобразничать! Вы все выберетесь!

Берман держал взведенный револьвер в руке (при катастрофе обнаружилось, что все инженеры были вооружены).

Когда в конце концов угрозы стали слишком громки, он поместился на локомотиве, рядом с машинистом, и пообещал застрелить его, если тот осмелится пустить поезд без приказания. На всех буферах и цепях висели люди, и все кричали в один голос: "В путь, трогай!"

Но Берман все еще ждал, несмотря на то, что дым становился невыносимым.

Вдруг раздался выстрел, и Берман свалился на землю. Поезд тронулся.

Толпы отчаявшихся людей в бешенстве гнались за ним и в конце концов хрипя, запыхавшись, останавливались.

И эти толпы оставшихся отправлялись по шпалам и щебню в четырехсоткилометровый путь. Чем дальше они продвигались, тем более грозно звучали возгласы: "Мак, твои дни сочтены!"

Но за ними, далеко позади, шли еще толпы, другие, еще и еще...

Начался страшный бег по туннелю, бег ради спасения жизни, которым впоследствии полны были газеты.

Чем дальше бежали толпы, тем яростнее и бешенее они, становились. По дороге они разрушали все склады и машины. Их ярость и страх не уменьшились даже тогда, когда они достигли места, где еще горел электрический свет. И когда появился первый спасательный поезд, который должен был всех увезти, они боролись друг с другом за места с ножами и револьверами в руках, хотя находились уже вне всякой опасности.

Когда глубоко в туннеле произошла катастрофа, в Мак-Сити была еще ночь. Было пасмурно. Тяжелые, плотные тучи на небе тускло багровели в зареве светлых ночных испарений самого бессонного города этой бессонной эпохи.

Мак-Сити лихорадил и шумел, как днем. Земля до самого горизонта была покрыта непрестанно двигавшимися раскаленными потоками лавы, от которых подымались искры, вспышки огня и клубы пара. Мириады огоньков сновали туда и сюда, как инфузории в микроскопе. Стеклянные крыши машинных залов на уступах выемки трассы сверкали, как зеленый лед в лунную зимнюю ночь. Резко звучали свистки и звонки, кругом гремело железо и сотрясалась земля.

Поезда мчались вверх и вниз, как обычно. Огромные машины -- динамо, насосы, вентиляторы -- наполняли шумом сверкавшие чистотой помещения.

Было прохладно, и рабочие, возвращавшиеся из туннельного пекла, зябко прижимались друг к другу. Как только поезд останавливался, они, стуча зубами, бежали в буфет выпить кофе или грога. Затем с веселым гамом вскакивали в трамвай, который развозил их по рабочим казармам и домам.

В самом начале пятого часа уже распространился слух о том, что в туннеле случилось несчастье. В четверть пятого разбудили Гарримана, и он, заспанный, едва волоча ноги от усталости, пришел в главную контору.

Гарриман был энергичный и решительный человек, закаленный на полях индустриальных битв. Но как раз сегодня он был в самом жалком состоянии. Он всю ночь проплакал. Вечером ему была доставлена телеграмма, сообщавшая, что его сын, единственная радость, оставшаяся у него в жизни, скончался в Китае от лихорадки. Горе его было безмерно велико, и в конце концов он принял двойную дозу снотворного порошка, чтобы заснуть. Он и теперь еще спал, когда звонил по телефону в туннель, чтобы узнать о подробностях катастрофы. Никто ничего не знал. Гарриман апатично и безучастно сидел в кресле и спал с открытыми глазами. В то же время осветились сотни рабочих домов в поселках. Послышались голоса и шепот на улицах, тот испуганный шепот, который почему-то доходит до слуха даже крепко спящих людей. Стали сбегаться женщины. Из южных и северных поселков, приближаясь к сверкающим стеклянным крышам над выемкой, темными массами двигались к главной конторе группы женщин и мужчин.

Они собирались перед унылым высоким зданием. И, когда образовалась большая толпа, послышались возгласы:

-- Гарримана! Мы хотим знать, что случилось!

Вышел клерк с вызывающе равнодушной физиономией:

-- Мы сами не знаем ничего определенного.

-- Долой клерка! Не желаем разговаривать с клерками! Нам нужен Гарриман! Гарриман!!!

Толпа росла. Со всех сторон стекались темные фигуры, Присоединявшиеся к толпе перед зданием конторы.

Наконец Гарриман вышел сам, бледный, старый, усталый и заспанный, и сотни голосов на разных языках, с различными интонациями бросили ему один и тот же вопрос:

-- Что случилось?

Гарриман сделал знак, что хочет говорить, и водворилась тишина.

-- В южной штольне у бурильной машины произошел взрыв. Больше нам ничего не известно.

Гарриман едва говорил. Язык прилипал у него к гортани.

Дикий рев был ответом на его слова:

-- Лжец! Мошенник! Ты скрываешь от нас правду!

Гарриману кровь бросилась в лицо, глаза выпучились от гнева, он сделал над собой усилие, хотел заговорить, но голова отказывалась работать. Он ушел и хлопнул за собой дверью.

В воздухе пронесся камень и разбил оконное стекло в первом этаже. Видно было, как один из служащих испуганно обратился в бегство.

-- Гарриман! Гарриман!

Гарриман снова показался в дверях. Он умылся холодной водой, и бодрость начала возвращаться к нему. Его лицо под шапкой седых волос побагровело.

-- Что за безобразие бить стекла! -- громко крикнул он. -- Мы знаем только то, что я вам сказал. Будьте благоразумны!

Из толпы закричали, перебивая друг друга:

-- Мы хотим знать, сколько убитых! Кто убит? Имена!

-- Вы -- стадо дураков! Бабы! -- гневно закричал Гарриман. -- Откуда я могу сейчас это знать?

Гарриман медленно повернулся и опять ушел, бормоча ругательства.

-- Гарриман! Гарриман!

Женщины протискивались вперед.

Вдруг посыпался град камней. Народ, обычно беспрекословно подчиняющийся установлениям юстиции, в подобные моменты создает свои законы, вытекающие из врожденного правосознания, и тут же применяет их.

Взбешенный Гарриман снова вышел, но не промолвил ни слова.

-- Покажи нам телеграмму!

Гарриман помолчал.

-- Телеграмму? У меня нет телеграммы. Я получил сообщение по телефону.

-- Давай его сюда!

Гарриман и глазом не моргнул.

-- Хорошо, вы его получите.

Через минуту он вернулся с листком из телефонного блокнота в руке и громко прочел написанное. Далеко разносились слова, на которых он делал ударение: "Бурильная машина... южная штольня... взрыв во время подрывных работ... от двадцати до тридцати раненых и убитых. Хобби".

Гарриман передал листок стоявшему поблизости и вернулся в дом.

В один миг листок был изорван в клочья, -- так много людей хотело прочесть его. Толпа на некоторое время успокоилась. От двадцати до тридцати убитых -- это, конечно, ужасно, но это не такая уж большая катастрофа. Не нужно отчаиваться. Разве непременно он должен был оказаться около бурильной машины? Больше всего успокаивало их то, что телефонное извещение исходило от Хобби.

И все-таки женщины не расходились. Странно! Их снова охватило прежнее волнение, глаза сверкали, сердца учащенно бились. Тяжесть легла на их души. В толпе обменивались робкими взглядами.

-- А что, если Гарриман лгал?

Женщины устремились к станции прибытия поездов и ждали, дрожа от холода, кутаясь в платки и одеяла. Со станции видна была линия железной дороги до самого устья туннеля. Мокрые рельсы блестели в свете дуговых фонарей, сливаясь вдали в тонкую нить. Внизу зияли две серые дыры. В одной из них показался свет, вспыхнул ярче, затем появилось огненное пятно, и внезапно, сверкая глазом циклопа, на линию вынырнул поезд.

Поезда ходили еще вполне регулярно. Через равные промежутки времени спускались поезда с материалами, и по обыкновению без расписания вылетали вверх поезда с камнями, то один, то три, то пять, то десять подряд, как это происходило изо дня в день вот уже шесть лет. Это была картина, которую все они наблюдали тысячу раз. И все же они с растущим напряжением встречали подымавшиеся поезда.

Если в поездах приезжали сменившиеся рабочие, толпа обступала прибывших и забрасывала их вопросами. Но те ничего не знали, так как выехали еще до катастрофы.

Непонятно, как через каких-нибудь десять минут после катастрофы мог распространиться слух о ней. Неосторожное слово инженера, невольный возглас у телефона, -- этого было достаточно. Но теперь ничего не было слышно. Ничего! Известия тщательно скрывались.

До шести часов новые партии рабочих и товарные поезда, как обычно, уходили в туннель. (По особому распоряжению поезда шли только до пятидесятого километра!)

В шесть часов очередной смене сообщили, что сошел с рельсов поезд с материалами и надо расчистить путь. Рабочие должны быть наготове. Опытные проходчики качали головами и обменивались многозначительными

взглядами: "Должно быть, там совсем неладно! О господи!"

Женщинам приказано было очистить станцию. Но они не подчинились. Повинуясь какому-то инстинкту, они стояли как вкопанные на рельсах и смотрели вдоль выемки вниз. Толпа все разрасталась. Дети, молодые парни, рабочие, любопытные.

А туннель выплевывал камень -- без конца, без передышки.

Вдруг толпа заметила, что поезда с материалами стали отправляться реже. Сейчас же беспорядочно загудели голоса. Потом отправка поездов в туннель прекратилась совсем, и толпу охватило еще большее беспокойство. Никто не верил басне о том, что сошедший с рельсов поезд загородил путь. Все знали, что такие случаи бывали ежедневно и что движение поездов от этого не прерывалось.

И вот совсем рассвело.

Нью-йоркские газеты уже зарабатывали на катастрофе: "Океан ворвался в туннель! 10.000 убитых!"

Холодный, блестящий свет поднялся из-за моря. Электрические фонари разом потухли. Только далеко на молу, где внезапно стал виден дым пароходных труб, еще вращался огонь маяка, как будто его забыли выключить. Через некоторое время погас и он. Ужасающе будничным показался вдруг сверкающий сказочный город, с холодной сетью рельсовых путей, морем поездов, столбами для проводов и отдельными высокими зданиями, над которыми ползли серые тучи. Усталые лица посинели от стужи, так как с моря вместе с холодным светом пошел ледяной поток воздуха и холодный моросящий дождь.

Женщины посылали детей за пальто, платками, одеялами. Сами же они не двигались с места!

Приходившие теперь поезда привозили не камни, а толпы рабочих. Возвращались даже только что спустившиеся поезда с материалами и рабочими.

Волнение все возрастало.

Но вернувшиеся рабочие не имели никаких сведений о размерах катастрофы. Они вернулись только потому, что возвращались все находившиеся за ними.

И снова встревоженные женщины в мучительном страхе, не отрываясь, смотрели на два маленьких черных отверстия, глядевших вверх, как два коварных разъединенных глаза, взор которых предвещал горе и ужас.

Около девяти часов пришли первые поезда, _плотно набитые_ взволнованно жестикулировавшими рабочими. Они возвращались из глубины туннеля, где паника уже начинала сказываться. Они кричали и вопили: "Туннель горит!"

Поднялся неистовый шум и вопли. Толпа бросалась то вперед, то назад.

Тогда Гарриман, размахивая шляпой и крича, появился на одном из вагонов. В утреннем свете, бледный, без кровинки в лице, он был похож на труп, и каждый объяснял его вид происшедшим несчастьем.

-- Гарриман! Тише, он хочет что-то сказать!

-- Клянусь, что я говорю правду! -- крикнул Гарриман, когда толпа успокоилась; густые клубы пара вырывались с каждым словом из его рта. -- Это вздор, что туннель горит! Бетон и железо не могут гореть. От взрыва загорелось каких-то несколько столбов за бурильной машиной, и это вызвало _панику_. Наши инженеры уже заняты тушением! Вам не надо...

Но ему не дали кончить. Дикий свист и рев прервали его, женщины поднимали камни. Гарриман соскочил с вагона и вернулся на станцию. Обессиленный, он опустился на стул.

Он чувствовал, что все погибло, что только Аллан мог бы предупредить катастрофу тут, наверху.

Но Аллан не мог быть здесь раньше вечера!

Холодный унылый вокзал был переполнен инженерами, врачами и служащими, поспешившими сюда, чтобы быть наготове для оказания помощи пострадавшим.

Гарриман выпил литр черного кофе, чтобы уничтожить действие снотворного. Его вырвало, и он дважды терял сознание.

Что он мог предпринять? Единственное вразумительное сообщение было передано ему по телефону с шестнадцатой станции одним инженером по поручению Бермана.

Берман полагал, что от высокой температуры произошло самовозгорание столбов в обшитой досками штольне и что огонь вызвал взрыв динамитных гильз. Это было правдоподобное объяснение, но не мог же взрыв быть так силен, чтобы его услышали на двенадцатой станции!

Гарриман послал спасательные поезда, но они вернулись, так как встречные поезда по всем _четырем_ путям стремились наружу и вытолкнули их обратно.

Гарриман телеграфировал Аллану в половине пятого, и телеграмма догнала его в спальном вагоне Нью-Йорк -- Буффало. Аллан ответил, что вернется экстренным поездом. Взрыв, телеграфировал он, исключается, так как взрывчатые вещества в огне только сгорают. Кроме того, в самой машине количество взрывчатых веществ ничтожно. Отправить спасательные поезда! Все станции занять инженерами! Горящую штольню затопить!

Аллану легко было распоряжаться. Ведь пока еще ни одному поезду не удалось проникнуть в туннель, хотя Гарриман распорядился о немедленном переводе всех поездов, шедших из туннеля, на выездные пути.

Никто больше не телефонировал, лишь на пятнадцатой, шестнадцатой и восемнадцатой станциях еще были инженеры, сообщавшие, что все поезда прошли.

Но некоторое время спустя путь освободился, и Гарриман послал в туннель четыре спасательных поезда один за другим.

Толпа угрюмо пропускала поезда.

Кое-кто из женщин выкрикивал грубые ругательства по адресу инженеров. Настроение с каждой минутой становилось все более возбужденным. Потом к десяти часам утра прибыли первые поезда с рабочими из "чистилища". Теперь не оставалось сомнения, что катастрофа была ужаснее, чем кто-либо мог предполагать.

Поезд приходил за поездом, и прибывавшие отряды рабочих кричали: "На последних тридцати километрах погибли все!"

4

Людей с грязными желтыми лицами, возвращавшихся из туннеля, окружали и засыпали тучей вопросов, на которые они не могли ответить. Сто раз они должны были повторять все, что знали о катастрофе, а рассказать это можно было в десяти словах. Женщины, нашедшие своих мужей, бросались им на шею и открыто выражали свою радость перед другими, пребывавшими еще в ужасной неизвестности. Страх блуждал на лицах ожидавших, женщины сто раз повторяли вопрос: не видел ли кто-нибудь их мужей? Они тихо плакали, они бросались из стороны в сторону, кричали, посылали проклятия, снова останавливались и смотрели вниз, вдоль пути, пока страх не гнал их опять с места на место.

Надежда еще была, ибо слух, что погибли все находившиеся на последних тридцати километрах, оказался преувеличенным.

Наконец пришел и тот поезд, отходу которого инженер Берман сопротивлялся до тех пор, пока его не застрелили. Поезд привез первого мертвого -- итальянца. Но этот итальянец погиб не от катастрофы. Он вступил в отчаянную драку на ножах с земляком, своим amico [другом (итал.)], из-за места в вагоне и заколол его. Падая, amico успел распороть ему живот, и он скончался уже в пути. Все же это был первый покойник. Оператор "Эдисон-Био" завертел рукоятку своего аппарата.

Когда умершего внесли в станционное здание, никто в толпе уже больше не мог сдерживать своих чувств. Ярость воспламенилась. И вдруг все закричали (как раньше рабочие в туннеле): "Где Мак? Мак заплатит за это!" Истерически рыдавшая женщина пробивала себе дорогу через толпу других. Она бежала за трупом, вырывая из головы целые пучки волос и раздирая на себе ночную кофту.

-- Чезаре! Чезаре!

Да, это был Чезаре.

Но когда взволнованные толпы рабочих с бермановского поезда (большей частью итальянцы и негры) объяснили, что больше поездов не будет, стало сразу совсем тихо...

-- Больше не будет поездов?

-- Мы последние...

-- Кто вы?

-- Мы последние! Мы!

Словно град картечи врезался в толпу. Все бессмысленно заметались из стороны в сторону, сжимая руками виски, как будто их ранили в голову.

-- Последние!!! Они последние!!!

Женщины с воплями бросались на землю, дети плакали, но у иных тотчас же вспыхнула жажда мести. И вдруг вся громадная толпа с шумом и криком двинулась с места.

Смуглый коренастый поляк с воинственными усами вскочил на большой камень и заорал:

-- Мак загнал их в мышеловку!.. В мышеловку!.. Отомстим за товарищей!

Толпа неистовствовала. В каждой руке вдруг очутилось по камню, -- здесь их было вдоволь. Ведь камень -- оружие народа. (В этом одна из причин, почему в больших городах охотно покрывают улицы асфальтом!)

Три секунды спустя во всем станционном здании не было целого окна.

-- Гарримана сюда!

Но Гарриман больше не показался. Он позвонил в милицию, так как ничтожная горсточка полицейских Туннельного города была бессильна. И вот он сидел в углу, бледный, задыхающийся, не в силах овладеть своими мыслями.

Толпа осыпала его руганью и собиралась ворваться в дом. Но поляк внес другое предложение. Ведь виноваты все инженеры, говорил он, -- нужно поджечь их дома, и пусть погибнут в огне их жены и дети!

-- Тысячи, тысячи погибли!

-- Всех их уничтожить! -- кричала итальянка, муж которой был заколот товарищем. -- Всех! Отомстим за Чезаре!

И она помчалась вперед, фурия с взлохмаченными волосами и в разодранном в клочья платье.

С диким ревом толпа повалила под дождем через мусорное поле. Мужья, кормильцы, отцы убиты! Впереди нужда, нищета! Отомстить! Сквозь шум раздавались отрывочные звуки пения, в разных местах одновременно пели "Марсельезу", "Интернационал", гимн Соединенных Штатов. Погибли, погибли -- тысячи погибших!..

Слепая жажда уничтожения, разгрома, убийства овладела взволнованной толпой. Вырывали рельсы, сносили телеграфные столбы, сметали сторожевые будки. Треск и падение обломков сопровождались диким ликованием. Полицейских бомбардировали камнями и освистывали. Казалось, в припадке ярости все забыли о своем горе.

Впереди всех, направляясь к виллам и домам инженеров, мчалась свирепая орда разъяренных женщин.

Тем временем отчаянный бег под океаном продолжался. Все спасшиеся от обвала, огня и дыма без передышки бежали от гнавшейся за ними смерти, едкое дыхание которой уже настигало их. Некоторые брели в одиночку, со всклокоченными волосами, спотыкаясь, стуча зубами, другие шли по двое, с криком и плачем; целые полчища людей, тяжело дыша, тянулись нескончаемой вереницей; раненые, искалеченные лежали на земле и молили о милосердии. Иные останавливались, парализованные страхом, вдруг поняв, что никто не в состоянии проделать этот бесконечный путь пешком. Многие отказывались идти дальше. Они ложились, готовясь умереть. Но были и хорошие бегуны, работавшие ногами, как лошади, перегонявшие других и становившиеся предметом зависти и поношения со стороны усталых людей, у которых уже подкашивались ноги.

Спасательные поезда не жалели звонков, чтобы дать знать о своем приближении. Из мрака, рыдая от радостного волнения, бросались в них люди. Но так как поезд въезжал в глубь туннеля, то вскоре их охватывал страх, и они соскакивали, в надежде добраться пешком до второго поезда, который, как им сказали, ждал на расстоянии пяти миль.

Спасательный поезд продвигался вперед очень медленно. Охваченные ужасом рабочие, спасшиеся на последних товарных поездах, выбросили много камня, чтобы освободить себе место, и теперь приходилось расчищать путь. К тому же мешал дым. Он ел глаза, затруднял дыхание. Но поезд шел вперед, пока прожекторы могли преодолевать стену дыма. На этом спасательном поезде находились самоотверженные инженеры, поставившие на карту свою жизнь. Они соскакивали с поезда, бежали, надев защитные маски, в наполненные синими клубами штольни и звонили. И действительно, им удалось побудить мелкие обессиленные кучки людей, потерявших всякую надежду, к последнему напряжению и заставить их пройти оставшуюся до поезда тысячу метров.

Потом и этот поезд должен был отступить. Немало инженеров заболело от отравления дымом, и двое скончались через день в госпитале.

5

Мод долго спала в этот день. Она замещала в госпитале отсутствовавшую сестру и легла только в два часа ночи. Когда она проснулась, маленькая Эдит уже сидела в кроватке и коротала время, заплетая свои красивые светлые волосы в тонкие косички.

Едва они принялись болтать, как вошла служанка и подала Мод телеграмму.

-- В туннеле произошло большое несчастье, -- сказала она, и в ее глазах была тревога.

-- Почему вы только сейчас подаете мне телеграмму? -- недовольным тоном спросила Мод.

-- Господин Аллан телеграфировал мне, чтобы я дала вам выспаться.

Телеграмма была послана Алланом с дороги. Она гласила: "В туннеле катастрофа. Не выходить из дому. Буду к шести вечера".

Мод побледнела. "Хобби!" -- подумала она. Ее первая мысль была о нем. После ужина, весело и шутливо простившись с ней, Хобби отправился в туннель.

-- Что случилось, мамочка?

-- Произошло несчастье в туннеле, Эдит!

-- Много людей убито? -- равнодушно, нараспев спросила девочка, заплетая косички красивыми движениями маленьких рук.

Мод не ответила ей. Она неподвижно смотрела перед собой. "Неужели он был в это время глубоко в штольнях?"

Эдит обвила руками шею матери и, утешая ее, сказала:

-- Не горюй! Ведь папа в Буффало!

И Эдит засмеялась, желая убедить Мод, что папа вне опасности.

Мод накинула халат и вызвала по телефону главную контору. Ее соединили не скоро. Но там ничего не знали или не хотели знать. Хобби?.. Нет, от господина Хобби никаких известий не было.

Слезы выступили на ее глазах, торопливые слезы, которых никто не должен был видеть. Взволнованная и обеспокоенная, отправилась она вместе с Эдит принимать ванну. Это удовольствие они доставляли себе каждое утро. Мод, так же как и Эдит, любила плескаться в воде, смеяться, болтать в ванной комнате, где так странно и гулко звучали голоса, стоять под душем, -- вода становилась все холоднее, потом делалась совсем ледяной, и маленькая Эдит начинала хохотать, словно ее щекотали. Потом они совершали свой утренний туалет и завтракали. Это был час, доставлявший Мод самую большую радость, и она никогда им не жертвовала. После завтрака Эдит шла в "школу". У нее была своя классная комната с черной доской, -- так она попросила устроить, -- и с настоящей маленькой партой, -- ведь иначе это не была бы школа.

Сегодня Мод сократила время купания и не получила от него обычного удовольствия. Эдит всячески пыталась развеселить мать, и ее детские старания тронули Мод почти до слез. После купания она опять позвонила в главную контору. Наконец ей удалось переговорить с Гарриманом, и он дал ей понять, что несчастье, к сожалению, больше, чем можно было предполагать.

Мод тревожилась все сильнее. Теперь только она вспомнила о странном распоряжении Мака: "Не выходить из дому!" Она не понимала Мака. Садами она прошла в госпиталь и шепотом разговаривала с сестрами, ухаживавшими за больными. Здесь также царили тревога и растерянность. Мод поболтала немного с маленькими больными, но была так рассеяна, что ей не приходило на ум ничего занимательного. В конце концов она вернулась домой еще более встревоженная и взволнованная.

"Почему мне не выходить из дому? -- подумала Мод. -- Нехорошо со стороны Мака подвергать меня домашнему аресту!"

Она опять повозилась у телефона, но на этот раз безуспешно.

Потом она взяла платок: "Пойду посмотрю. Пусть Мак говорит, что хочет. Зачем мне сидеть дома? Именно теперь! Женщины, вероятно, напуганы и больше, чем когда-либо, нуждаются в утешении".

Однако она опять положила платок. Взяв из спальни телеграмму Мака, она в сотый раз перечла ее.

Но почему же? Почему, собственно говоря?

Разве катастрофа была так велика?

Да, но именно теперь она и должна быть на месте! Долг велит ей помочь женам и детям рабочих. Мод даже рассердилась на Мака и решила пойти. Она хотела знать, что, собственно, произошло. И все-таки она боялась нарушить странное распоряжение Мака. Какой-то затаенный страх шевелился в ее груди. Наконец она решительным жестом накинула желтый макинтош и повязала голову платком.

И пошла. Но у дверей ее снова охватило непонятное чувство страха. Ей казалось, что сегодня, именно сегодня она не должна оставлять маленькую Эдит одну. Ах, этот Мак, это он все натворил своей глупой телеграммой!

Она пошла за Эдит в "школу", закутала ее в пелерину, надвинула обрадованной девочке капюшон на светлые волосы.

-- Я вернусь через час! -- сказала Мод служанке, и они пошли.

По мокрой дорожке в саду прыгала лягушка, и Мод испугалась, чуть было не наступив на нее. Эдит ликовала:

-- Ах, какая лягушечка, мама! Какая мокрая! Почему она выходит из дому, когда дождь?

День был тусклый, угрюмый, отвратительный.

На улице ветер усилился, косой дождь лил холодными струями. "А вчера еще было так жарко!" -- подумала Мод. Эдит доставляло удовольствие перепрыгивать через лужи. Несколько минут спустя они увидели перед собой Туннельный город с его конторскими зданиями, трубами и лесом столбов с проводами. Серым и пустынным казался он в дождь и слякоть. Мод сразу заметила, что нет поездов с камнем. За много лет это было впервые! Но трубы дымили как обычно.

"Совсем не так уж вероятно, чтобы он был как раз на месте катастрофы, -- подумала она. -- Туннель так велик!" Но, несмотря ни на что, смутные и зловещие мысли бродили в ее голове.

Вдруг она остановилась.

-- Послушай! -- сказала она.

Эдит стала прислушиваться и взглянула на мать.

К ним доносился шум голосов. Вот уже показались люди, -- серая тысячеголовая движущаяся толпа. Но сквозь туман нельзя было разглядеть, в каком направлении она шла.

-- Почему эти люди так кричат? -- спросила Эдит.

-- Они взволнованы несчастьем, Эдит. Когда отцы всех малюток в опасности, матери, конечно, тревожатся.

Эдит кивнула головой и, подумав, сказала:

-- Верно, это _очень большое_ несчастье? Да, мама?

Мод вздрогнула.

-- Я думаю, что большое, -- ответила она, погруженная в свои мысли. -- Очень большое! Пойдем скорее, Эдит!

Мод торопилась, ей хотелось... Да чего, собственно, ей хотелось? Ей хотелось действовать...

Вдруг она с изумлением заметила, что люди приближаются. Крик усиливался. Она увидела также, что телеграфный столб, только что стоявший на месте, упал и исчез. Над ее головой задрожали провода.

Мод быстро и взволнованно шла вперед, не обращая больше внимания на оживленные вопросы Эдит. Что они делают? Что случилось? Голова ее затуманилась, и на миг у нее мелькнула мысль вернуться и запереться дома, как приказал Мак.

Но ей показалось трусостью бежать от несчастных людей из страха перед зрелищем чужого несчастья. Если она и не принесет большой пользы, то все же хоть чем-нибудь да поможет. И ведь все знали ее -- и женщины и мужчины. Они раскланивались с ней и оказывали ей небольшие услуги, куда бы она ни приходила! А Мак? Что сделал бы- Мак, если бы он был здесь? Он был бы среди них!..

Толпа приближалась.

-- Отчего они так кричат? -- испуганно спросила Эдит. -- И почему они поют, мама?

Да, в самом деле, они пели! По мере их приближения ясно доносилось дикое хриплое пение. Оно смешивалось с возгласами и криками. Это была целая армия, двигавшаяся плечом к плечу по серому пустырю. И Мод заметила, что отделившаяся от толпы кучка людей разрушила паровозик узкоколейки, закидав его камнями.

-- Мама?..

"Что это? Мне не следовало выходить", -- подумала Мод и в испуге остановилась. Но возвращаться было поздно...

Ее узнали. Она видела, как шедшие впереди жестами указывали на нее и вдруг свернули с пути в ее сторону. Она с ужасом заметила, что они бегом устремились к ней. Но ободрилась вновь, увидев, что в большинстве толпа состояла из женщин.

"Ведь это только женщины..."

Она пошла им навстречу, внезапно охваченная безграничным состраданием к этим несчастным. О боже, должно быть, произошло что-то потрясающе страшное!

Первый отряд женщин приближался, тяжело дыша.

-- Что случилось? -- крикнула Мод, и ее участие было искренним.

Но Мод побледнела, когда увидела выражение лиц этих женщин. Все они казались безумными, потерявшими власть над собой. Они были полуодеты, вымокли на дожде, зловещий огонь горел в сотнях глаз.

Мод не слушали. Ей не отвечали. Из искаженных ртов вырывался торжествующий и пронзительный вой.

-- Все погибли! -- кричали ей голоса на все лады и на всех языках.

И вдруг раздался возглас одной из женщин:

-- Это жена Мака, убейте ее!

И Мод увидела, -- она не поверила своим глазам, -- что женщина в лохмотьях, в разорванной блузе, с перекошенным яростью лицом подняла камень. Камень просвистел в воздухе и задел руку Мод.

Она инстинктивно притянула к себе маленькую побледневшую Эдит и выпрямилась.

-- Что вам сделал Мак? -- крикнула она, и ее глаза, полные тревоги, блуждали вокруг.

Никто не слушал ее.

Рассвирепевшая толпа, вся дикая армия обезумевших людей, узнала Мод. Раздался дружный рев. Камни вдруг посыпались со всех сторон. Мод съежилась всем телом. Теперь она видела, что это было серьезно! Она повернулась, но везде были они, в десяти шагах от нее, -- она была окружена. И в глазах всех, на кого бы ни обращался за помощью ее блуждающий взор, пылало то же пламя ненависти и безумия. Мод стала молиться, и холодный пот выступил у нее на лбу.

-- Боже, боже, спаси мое дитя!

Но неумолчно вопил женский голос, словно пронзительный сигнал:

-- Убейте ее! Пусть Мак поплатится!

И вдруг обломок камня с такой силой ударил в грудь Эдит, что она пошатнулась.

Маленькая Эдит не крикнула. Только детская ее ручка дрогнула в руке Мод, и она испуганными, недоумевающими глазами взглянула на мать.

-- О боже, что вы делаете? -- вскрикнула Мод и, присев, обхватила руками Эдит. Слезы испуга и отчаяния полились из ее глаз.

-- Пусть Мак поплатится!

-- Пусть Мак знает, каково нам!

-- Го! Го!

О, эти безумные жесты и безжалостные глаза! И руки, размахивающие камнями...

Если бы Мод была труслива, если бы она бросилась на колени и простерла руки, может быть, в последний миг она пробудила бы человеческие чувства в этой неистовствовавшей толпе. Но Мод, маленькая чувствительная Мод, вдруг ощутила прилив мужества! Она видела, что Эдит смертельно побледнела и что кровь показалась на ее губах. Камни сыпались градом, но Мод не молила о пощаде.

Она вдруг яростно выпрямилась, прижимая к себе ребенка, и со сверкающими глазами бросила слова в распаленные ненавистью лица:

-- Звери! Сброд, подлый сброд! Будь у меня при себе револьвер, я перестреляла бы вас, как собак! О звери! Трусливые, подлые звери!

С силой брошенный камень ударил Мод в висок, и она, взмахнув руками, не издав ни звука, упала через Эдит на землю. Мод была небольшого роста и легка, но звук был такой, будто упал столб и разбрызгал воду.

Поднялся бешеный рев ликования. Крики, хохот, дикие возгласы:

-- Пусть Мак поплатится! Да, пусть поплатится, пусть на своей шкуре испытает... Загнал людей в западню... Тысячи...

Но камней больше не бросали! Неистовствовавшая толпа вдруг двинулась дальше.

-- Пусть валяются! Сами встанут!

Только взбешенная итальянка наклонилась со своими обнаженными, отвисшими грудями к поверженным и плюнула на них. Теперь к домам инженеров! Дальше, вперед! Пусть все поплатятся!

Но после расправы с Мод ярость остыла. У всех было смутное ощущение, что здесь произошло что-то такое, чего не должно было быть. Кучки стали отделяться от толпы и рассеиваться по мусорному полю. Сотни людей в нерешительности отстали и побрели через рельсы... Когда разъяренная головная группа под предводительством итальянки добралась до вилл инженеров, она настолько поредела, что один полицейский мог ее сдержать.

Постепенно рассеялась и она.

Но теперь опять прорвалась боль, горе, отчаяние. Отовсюду бежали плачущие женщины, вытирающие передниками слезы. По дождю, по ненастью бежали они, спотыкаясь, не разбирая дороги.

Увлеченная мрачным стадным безумием, бешеная, жестокая, злорадная толпа удалилась от Мод и Эдит; они обе долго лежали под дождем среди мусорного поля, и никто не обращал на них внимания.

Потом к ним подошла маленькая двенадцатилетняя девочка со спущенными красными чулками. Она видела, как Mac's wife [жену Мака (англ.)] осыпали камнями. Она знала Мод, так как год назад лежала несколько недель в госпитале.

Эту девочку привело сюда простое человеческое чувство. Она стояла со спущенными чулками, не осмеливаясь подойти ближе. В некотором отдалении стояло несколько женщин и мужчин, тоже не решавшихся приблизиться.

Наконец девочка, побледнев от страха, подошла ближе и услыхала тихие стоны. Она отшатнулась в испуге и вдруг побежала во весь дух.

Госпиталь стоял под дождем, словно вымерший, но девочка не решилась позвонить. Только когда кто-то вышел из дверей, -- это была одна из сиделок, -- девочка подошла к решетке и сказала, показывая в направлении станции:

-- Они лежат вон там!

-- Кто там лежит?

-- Mac's wife and his little girl! [жена и девочка Мака (англ.)]

А в это самое время внизу, в штольнях, еще бежали и бежали люди...

6

По приезде в Нью-Йорк Аллан из посланной Гарриманом телеграммы узнал, что Мод и Эдит подверглись нападению толпы. И больше ничего. У Гарримана не хватило ни мужества, ни жестокости сообщить Аллану страшную истину: что Мод нет в живых и что его ребенок при смерти.

Вечером этого ужасного дня Аллан прибыл из Нью-Йорка в автомобиле. Он правил сам, как всегда, когда нужно было ехать особенно быстро.

Его машина с бешеной скоростью подлетела к станционному зданию сквозь необозримую толпу женщин, туннельных рабочих, журналистов и любопытных, стоявших под дождевыми зонтами. Все знали его тяжелый серый автомобиль и звук его гудка. Вмиг машину окружила взволнованная толпа.

-- Мак здесь! -- раздавались голоса. -- Вот он! Мак! Мак!

Но когда Аллан встал, все разом умолкли. Ореол, окружавший его личность, ореол успеха, гения, силы, не померк и теперь: он внушал толпе робость и почтение. Да, никогда Аллан не казался им более грозным и внушительным, чем в этот час, когда на него обрушился удар судьбы. А ведь они клялись там, внизу, борясь в дыму за свою жизнь, убить его, где бы он им ни попался!

-- Посторонитесь! -- громко закричал Аллан. -- Случилось несчастье, мы все скорбим об этом! Мы сделаем все, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти!

Но тут со всех сторон послышался гул голосов. Это были те же возгласы, что раздавались с утра:

-- Ты виноват... Тысячи погибли... Ты их загнал в западню...

Аллан сохранял спокойствие. Одной ногой он еще стоял на подножке. Серьезным, холодным взором смотрел он на возбужденную толпу, и его широкое лицо омрачилось. Но вдруг, когда он уже открыл рот, чтобы ответить на обвинение, он вздрогнул. Один выкрик коснулся его слуха, насмешливый и злобный возглас женщины, и он пронзил его насквозь. Больше Аллан ничего не слышал. Лишь один этот выкрик неумолимо раздавался в его ушах:

-- Они убили твою жену и твоего ребенка!..

Аллан как будто вырос, он вытянулся, словно пытаясь заглянуть вдаль. Его голова беспомощно повернулась на широких плечах, темное лицо вдруг побелело, обычно сосредоточенный взор расплылся, и ужас отразился в нем. В глазах окружающих он прочел, что этот ужасный возглас был правдой. В каждом взоре он видел, что это так.

И Аллан потерял самообладание. Он был сын горняка, рабочий, как все они, и первым его чувством была не боль, а ярость.

Он оттолкнул шофера и, не сев еще за руль, двинул машину. Автомобиль врезался в толпу, которая в ужасе, с криком отпрянула в стороны.

Она смотрела ему вслед, пока он не скрылся в серых дождливых сумерках.

-- Поделом ему! -- кричали злорадные голоса. -- Пусть почувствует, каково нам!

Некоторые, однако, качали головой и говорили:

-- Это не дело -- женщину, малого ребенка...

Разъяренная итальянка злобно и пронзительно кричала:

-- Я бросила первый камень. Я! Я попала ей в лоб! Да, их нужно было убить!

-- Вам надо было убить его! _Мака_! Мак виноват во всем! Но его жену?.. Она ведь была такая добрая!

-- Убейте Мака! -- задыхаясь, визгливо кричала итальянка на скверном английском языке. Kill him! [Убейте его! (англ.)] Убейте его как собаку!

Один вид дома, который в тусклых сумерках казался пустым, сказал Аллану все. Пока он шел по хрустевшему гравию палисадника, в его памяти отчетливо встал один случай, пережитый им много лет назад, при постройке железной дороги в боливийских Андах. Он занимал со своим другом барак, и этого друга застрелили бастовавшие рабочие. Ничего не подозревая, Аллан возвращался с работы, но барак, где лежал убитый, почему-то произвел на него глубокое, странное впечатление. Та же атмосфера окутывала теперь его дом.

В вестибюле пахло эфиром и карболкой. Когда Аллан увидел на вешалке маленькую белую шубку Эдит, у него вдруг потемнело в глазах и он чуть не потерял сознание.

Он услышал, как служанка, всхлипывая, кричала: "Господин Аллан, господин Аллан!" -- и этот голос постороннего человека, полный боли и беспомощного горя, привел его в себя. Он вошел в полутемную гостиную, где его встретил врач.

-- Господин Аллан!..

-- Я подготовлен, доктор, -- вполголоса сказал Аллан, но таким спокойным, обыденным тоном, что врач бросил на него быстрый, удивленный взгляд.

-- Ребенок тоже, доктор?

-- Боюсь, что его не спасти. Повреждено легкое.

Аллан молча кивнул и направился к лестнице. Ему казалось, что веселый, звонкий смех его девочки разливается по вестибюлю. Наверху, у дверей спальни Мод, сестра милосердия сделала Аллану знак.

Он вошел. Лишь одна свеча горела в комнате. Мод лежала на кровати, вытянувшаяся, странно плоская, восковая, застывшая. Бескровное лицо было прекрасно и спокойно, но, казалось, на ее полуоткрытых бледных губах застыли покорный, смиренный вопрос и легкое удивление. Веки ее закрытых глаз оставляли просвет, влажно блестевший, словно от последней расплывшейся слезинки. Никогда в жизни Аллан не мог забыть этой блестящей влаги под бледными веками Мод. Он не плакал, он не рыдал, он сидел с открытым ртом у смертного ложа Мод и глядел на нее. Непостижимое сковало его душу. Он ни о чем не думал. Неясные, смутные мысли бродили у него в голове, -- он гнал их прочь... Это была она, его маленькая мадонна. Он ее любил, он по любви женился на ней. Он создал ей, выросшей в скромной обстановке, блестящую жизнь. Он оберегал ее и ежедневно напоминал ей, что нужно остерегаться автомобилей. Он всегда боялся за нее, хотя никогда не говорил ей об этом. В последние годы, правда, он не посвящал ей достаточно времени, потому что был поглощен работой. Но от этого он не любил ее меньше. Его глупышка, его добрая, нежная Мод, -- вот что с ней стало!.. Проклятие богу, если он существует, проклятие бессмысленной судьбе!

Он взял маленькую полную руку Мод и смотрел на нее пустыми, потухшими глазами. Рука была холодная, иначе и не могло быть, -- ведь она была мертва. Этот холод его не пугал. Каждая линия этой руки была ему хорошо знакома, он знал каждый ноготок, каждый сустав. На левый висок были зачесаны ниже обычного шелковистые каштановые волосы. Но сквозь паутину волос Аллан видел голубоватый, еле заметный знак. Сюда попал камень, тот камень, который по его воле был добыт взрывом скалы на глубине нескольких тысяч метров под морем. Проклятие людям, проклятие ему самому. Проклятие туннелю!..

Как внезапно повстречалась она со своей злой судьбой, в слепой ярости шагавшей ей навстречу... Почему она не исполнила его просьбы? Он только хотел уберечь ее от оскорблений. А эго ему и в голову не приходило! Почему именно сегодня его не было здесь?

Аллан вспомнил, как он сам застрелил двух человек, когда они тогда штурмовали рудник "Хуан Альварес". Он застрелил бы, не задумываясь, сотни, чтобы защитить Мод. Он пошел бы за ней в глубину моря, -- это не было фразой, -- он защищал бы ее от ста тысяч диких зверей, пока мог бы двигать хоть пальцем. Но его не было здесь...

Мысли бродили в его голове, ласковые слова и проклятия, но он ни на чем не мог сосредоточиться.

В дверь робко постучали:

-- Господин Аллан?

-- Да?

-- Господин Аллан... Эдит...

Он встал и проверил, крепко ли стоит свеча в подсвечнике и не может ли она упасть. Потом пошел к двери и отсюда еще раз посмотрел на Мод. В мыслях своих он видел, как обнимает любимую жену, рыдает, кричит, молится, просит прощения за каждый миг, когда она не была с ним счастлива, -- в действительности же он только стоял в дверях и смотрел на нее.

Потом он вышел.

Направляясь к комнате, где умирала его маленькая дочка, он призвал из глубины души свои последние силы. Он пробудил в памяти самые страшные мгновения своей жизни, вспоминая несчастных, изорванных динамитом и убитых осколками камней, вспоминал рабочего, захваченного маховым колесом и размозженного об стену... Переступая порог комнаты, он сказал себе: "Вспомни, как когда-то ты наткнулся под обвалившимся пластом на потертое голенище сапога Паттерсона..."

Он вошел как раз вовремя, чтобы принять последний вздох своего дорогого ангелочка. Врачи, сиделки, слуги стояли в комнате, девушки плакали, и даже у врачей на глазах виднелись слезы.

Но Аллан молчал, и его глаза были сухи. "Думай, во имя дьявола, о потертом голенище сапога Паттерсона и крепись, когда ты на людях!"

Прошла целая вечность. Врач выпрямился у кроватки и глубоко вздохнул. Аллан ожидал, что все находившиеся в комнате уйдут, но они остались.

Он подошел к постели Эдит и погладил ее волосы. Будь он один, он взял бы ее на руки, чтобы еще раз ощутить близость ее маленького тела, но теперь он не осмелился это сделать.

Он ушел.

Когда он спускался с лестницы, ему почудились громкие жалобные рыдания, но на самом деле вокруг было тихо и слышалось лишь легкое всхлипывание.

Внизу он наткнулся на сиделку. Она остановилась, видя, что он собирается что-то сказать ей.

-- Кто вы, мисс? -- произнес он, наконец, с трудом.

-- Меня зовут Эвелиной.

-- Мисс Эвелина, -- продолжал Аллан чужим, тихим, мягким голосом, -- я попросил бы вас об одной услуге. Мне самому трудно, я сам не могу... Мне хотелось бы сохранить маленькие пряди волос моей жены и моего ребенка. Могли бы вы мне это устроить? Но никто ничего не должен знать. Вы можете мне это обещать?

-- Да, господин Аллан!

Она видела, что его глаза были полны слез.

-- Я всю жизнь буду вам благодарен за это, мисс Эвелина!

В темной гостиной кто-то сидел в кресле -- стройная женщина, которая тихо плакала, прижимая к лицу платок. Когда он приблизился, женщина встала, протянула к нему бледные руки и прошептала:

-- Аллан!..

Но он прошел мимо, и только через несколько дней понял, что эта женщина была Этель Ллойд.

Аллан спустился в сад. Ему показалось, что стало ужасно холодно, что стоит глубокая зима, и он плотно закутался в свое пальто. Он походил взад и вперед по теннисной площадке, потом между мокрыми кустами сошел к морю. Море шумело, лизало берег, в равномерном дыхании выбрасывало кудрявую пену на мокрый, гладкий песок.

Аллан посмотрел поверх кустов на крышу дома. Там покоились они. Он обратил взор к морю, на юго-восток. Там, внизу, покоились другие. Там, внизу, судорожно сжав пальцы, запрокинув голову, лежал задохнувшийся Хобби.

Становилось все холоднее. Да, жестокая стужа, казалось, шла с моря. Аллан как бы оледенел. Он зяб. Руки окоченели, как в сильнейший мороз, лицо одеревенело. Но он ясно видел, что даже песок не замерз, хотя и хрустел, словно приходилось ступать по мелким ледяным кристаллам.

Аллан целый час ходил взад и вперед по песку. Настала ночь. Тогда он пошел по замерзшему саду и вышел на улицу.

Шофер Энди зажег фары.

-- Отвези меня на станцию, Энди, поезжай тихо! -- беззвучно и хрипло произнес Аллан и сел в автомобиль.

Энди вытер рукавом нос, его лицо было мокро от слез.

Аллан весь ушел в пальто и глубоко надвинул фуражку на глаза.

"Странно! -- подумал он. -- Когда я узнал о катастрофе, я раньше всего подумал о туннеле, а потом о людях!" И он зевнул. Он так устал, что не мог пошевелить рукой.

Стена людей стояла по-прежнему. Они ждали возвращения спасательных поездов.

Никто больше не кричал. Никто не грозил кулаками. Он теперь уподобился им, он нес такое же горе. Люди сами расступились, когда он проезжал и выходил из автомобиля. Никогда они не видели человека с таким бледным лицом.

7

Аллан вошел в холодную комнату на станции, обычно служившую залом для ожидания поездов.

На строительстве не принято было соблюдать формальности. Никому не приходило в голову снять шляпу или прекратить работу, когда входил Аллан. Но сегодня взволнованные разговоры тотчас же смолкли, и присевшие от утомления люди поднялись.

Гарриман подошел к Аллану с расстроенным, измученным лицом.

-- Аллан!.. -- сказал он, запинаясь, как пьяный.

Но Аллан прервал его движением руки:

-- Потом, Гарриман...

Он велел принести себе из буфета чашку кофе и, пока пил его, выслушивал донесения инженеров.

Он сидел с поникшей головой, ни на кого не смотрел и как будто даже никого не слушал. Казалось, что он был готов в любую минуту вскочить с места. Его бесцветное лицо как бы застыло от мороза, губы посинели и были белы по краям. Свннцово-серые веки опустились на глаза, изредка нервно подергивавшееся правое веко -- несколько ниже, чем левое. Из глаз исчезло всякое человеческое выражение. Они злобно поблескивали, как осколки стекла. Иногда подергивались и его небритые щеки, а губы шевелились, как будто он жевал зерна. Вдыхая воздух, его ноздри вздрагивали, хотя он дышал беззвучно.

-- Значит, установлено, что Бермана застрелили?

-- Да.

-- А о Хобби нет сведений?

-- Нет. Но видели, как он ехал к проходке.

Аллан кивнул и открыл рот, как будто хотел зевнуть.

-- Go on! [Продолжайте! (англ.)]

До триста сорокового километра туннель был в полном порядке, и машины, обслуживаемые инженерами, работали. Робинсон, руководивший спасательным поездом, сообщил по телефону, что дым препятствует продвижению дальше триста семидесятого километра и что он, Робинсон, возвращается со ста пятьюдесятью двумя спасенными.

-- Сколько же погибло?

-- Судя по контрольным жетонам, около двух тысяч девятисот.

Долгая глубокая пауза.

Посиневшие губы Аллана вздрагивали, как будто он боролся с судорожным рыданием. Он еще ниже опустил голову и с жадностью глотал кофе.

-- Аллан! -- со слезами в голосе сказал Гарриман.

Но Аллан бросил на него удивленный и холодный взгляд.

-- Go on!

-- Робинсон еще сообщил, что, по утверждению Смита, работавшего на станции у триста пятьдесят второго километра, где-то глубже в туннеле несомненно действует воздушный насос, но телефонная связь прервана.

Аллан поднял голову.

"Хобби?" -- подумал он. Но он не успел высказать вслух эту надежду.

Потом Аллан заговорил о событиях дня. Гарриман сыграл здесь не блестящую роль. Усталый, сидел он, подпирая рукой болевшую голову, без всякого выражения в заплывших глазах.

Заговорив об эксцессах и разрушениях, Аллан внезапно повернулся к Гарриману.

-- Где же вы были, Гарриман? -- резко и с презрением в голосе спросил он.

Гарриман вздрогнул и поднял тяжелые веки.

-- Поверьте мне, Аллан, -- взволнованно воскликнул он, -- я сделал все, что мог! Я пробовал разные способы. Не мог же я стрелять!

-- Это _вы_ так говорите! -- сказал Аллан, и в его голосе зазвучала угроза. -- Вы должны были броситься навстречу рассвирепевшей толпе, даже рискуя, что вам продырявят голову. У вас ведь есть кулаки -- или нет? Вы могли и стрелять -- да, черт возьми, почему же нет? В вашем распоряжении были инженеры, вам надо было только приказать.

Гарриман покраснел до ушей. Его толстый затылок вздулся, угрожающий тон Аллана задел его.

-- Что вы говорите, Аллан! -- возмущенно ответил он. -- Вы не видели этой толпы, вас тут не было.

-- К сожалению, меня тут не было! Я думал, что могу положиться на вас. Я ошибся! Вы стареете, Гарриман! _Стареете_! Вы мне больше не нужны. Убирайтесь к черту!

Гарриман выпрямился и положил свои красные кулаки на стол.

-- Да, убирайтесь к черту! -- грубо закричал Аллан.

У Гарримана побелели губы. Он изумленно уставился Аллану в глаза. Эти глаза сверкали презрением и безжалостной жестокостью.

-- Сэр! -- прохрипел Гарриман и встал, глубоко оскорбленный.

Аллан тоже вскочил и ударил рукой по столу.

-- Не требуйте теперь от меня вежливости, Гарриман! -- громко крикнул он. -- Уходите!

И Аллан указал на дверь.

Гарриман, шатаясь, вышел. Его лицо стало серым от стыда. Ему хотелось сказать Аллану, что у него умер сын и что все утро ему пришлось бороться с двойной дозой снотворного. Но он ничего не сказал. Он ушел.

Старым, сломленным судьбой человеком, не поднимая глаз, сошел он с лестницы. Без шляпы.

-- Гарриман слетел! -- насмехались рабочие. -- "Бык" слетел!

Но он ничего не слышал. Он тихо плакал.

Когда Гарриман ушел из комнаты, Аллан потребовал отчета еще у пяти инженеров, покинувших свои посты и уехавших со спасавшимися рабочими. Всех их он тотчас же уволил.

В этот день дул чертовски резкий ветер, и инженеры не возразили ни слова.

После этого Аллан потребовал, чтобы его соединили по телефону с Робинсоном. Один из служащих созвонился со станциями и приказал им остановить поезд Робинсона. Тем временем Аллан изучал план разрушенной штольни. Царила такая тишина, что было слышно, как сквозь разбитые оконные стекла капал в комнату дождь.

Десять минут спустя Робинсон был у телефона. Аллан долго говорил с ним. О Хобби сведений нет! Считает ли он, Робинсон, что в наполненных дымом штольнях еще могут быть живые люди? Такая возможность не исключена...

Аллан отдавал приказания. Через несколько минут поезд из трех вагонов с инженерами и врачами помчался по выемке вниз и исчез в туннеле.

Аллан сам вел поезд и пустил его по гулкому пустому туннелю таким бешеным темпом, что даже спутники Аллана, привыкшие к большим скоростям, забеспокоились. Уже через час они наткнулись на Робинсона. Его поезд был полон. Сидевшие в вагонах люди, поклявшиеся отомстить Аллану, узнали его при свете фонарей и с угрюмым видом громко выражали свое недовольство.

Аллан поехал дальше. У ближайшей стрелки он перешел на рельсовый путь Робинсона, так как был уверен в том, что дорога свободна, и умерил бешеную скорость лишь тогда, когда поезд вошел в полосу дыма.

Даже здесь, на задымленных станциях, работали инженеры. Они закрыли железные раздвижные двери, мимо которых, словно горы спустившихся облаков, валил дым. Но станции все еще были наполнены дымом, и продолжительное пребывание здесь было возможно только благодаря тому, что машины все время нагнетали воздух и не было недостатка в кислородных аппаратах. Как и для Аллана, туннель был для инженеров делом, ради которого они готовы были жертвовать и здоровьем и жизнью.

На станции у триста пятьдесят второго километра они встретили Смита, который вместе с двумя машинистами обслуживал здесь машины. Он повторил, что глубже в туннеле должен действовать какой-то воздушный насос, и Аллан опять подумал о Хобби. Если бы судьба сберегла ему хоть друга!

Он сейчас же углубился в штольню дальше. Но поезд продвигался медленно, так как глыбы камня часто загромождали путь. Дым был такой густой, что световой конус прожекторов отскакивал от него, как от стены. Через полчаса поезд был задержан большим скоплением Трупов. Аллан сошел с поезда и, надев предохранительную маску, вошел в гущу дыма. Его фонарь вмиг исчез.

Вокруг Аллана была полная тишина. Не было слышно ни звука, только постукивал вентиль его кислородного аппарата. Аллан застонал. Здесь никто не слышал его. Его грудь была сплошной жгучей раной. Со стоном, скрежеща зубами, как раненый зверь, он брел вперед, и подчас ему казалось, что он свалится под чудовищной тяжестью своего страшного горя.

Каждые несколько шагов он натыкался на тела. Но, осветив их, убеждался в том, что это были трупы, с отвратительно искаженными лицами...

Хобби среди них не было.

Вдруг он услыхал хрипение. Он поднял фонарь. В то же время чья-то ладонь коснулась его рукава, и хриплый голос прошептал:

-- Sauve! [Спасен! (франц.)]

Человек повалился на землю. Это был молодой парень, на котором были только штаны. Аллан взял его на руки и понес назад к поезду. Он вспомнил, как однажды кто-то нес его в подобном же состоянии через темную штольню. Врачи быстро привели в чувство потерявшего сознание. Его звали Шарль Ренар; он был канадец. Ренар рассказал, что действовавший внутри штольни вентилятор спас ему жизнь. Его спросили, не заметил ли он еще признаков жизни в штольнях...

Спасенный кивнул.

-- Да, -- сказал он, -- я иногда слышал смех...

-- Смех?

Все с ужасом переглянулись.

-- Да, смех. И вполне явственно.

Аллан по телефону затребовал поезд и людей.

Тотчас же двинулись дальше. Колокол резко звонил. Это была чудовищная работа, и дым часто отгонял их назад. К полудню им удалось проникнуть почти до триста восьмидесятого километра, и тут они вдруг услыхали отдаленный резкий смех. Ничего более жуткого, чем этот смех в безмолвной, дымной штольне, им никогда не приходилось слышать. Они остолбенели и затаили дыхание. Потом поспешили дальше. Смех становился все отчетливее. Это был дикий, сумасшедший смех, какой слыхали иногда водолазы, приближавшиеся к потерпевшей аварию подводной лодке, в которой задыхалась команда.

Наконец они добрались до маленькой станции и проникли туда. Сквозь дым они увидели двух, трех, четырех человек, катавшихся по земле, плясавших, жутко кривлявшихся и все время пронзительно, неестественно хохотавших. Воздух со свистом выходил из вентиляционной трубы, и благодаря этому бедняги остались в живых. Рядом с ними находились кислородные аппараты -- они были нетронуты.

Несчастные взвыли от ужаса и попятились, когда вдруг увидели свет и людей с масками на лицах. Убежав в угол, где, вытянувшись, лежал покойник, они стали молиться и визжать от страха. Это были итальянцы.

-- Есть тут кто-нибудь знающий итальянский язык? -- спросил Аллан. -- Снимите маски.

Подошел один из врачей и, задыхаясь от кашля, стал разговаривать с умалишенными.

-- Что они говорят?

Врач, объятый ужасом, едва мог вымолвить слово.

-- Если я их верно понял, им представляется, что они в аду! -- с трудом выговорил он.

-- Так скажите им от имени бога, что мы пришли за ними, чтобы взять их в рай! -- крикнул Аллан.

Врач долго говорил, и они, наконец, поняли его.

Они плакали, падали на колени, молились и умоляюще Протягивали руки. Но, когда к ним приблизились, они снова обезумели. Пришлось усмирять и связывать каждого в отдельности. Один из них умер на обратном пути, двоих свезли в дом умалишенных, четвертый же вскоре почувствовал себя лучше и выздоровел.

Аллан в полусознательном состоянии вернулся из этой экспедиции на станцию Смита. Неужели не будет конца ужасам? Он сидел, быстро дыша, совершенно изнеможенный. Тридцать шесть часов провел он без сна.

Но напрасны были старания врачей заставить его покинуть туннель.

8

Дым полз дальше. Медленно, шаг за шагом, словно сознательное существо, которое нащупывает дорогу, прежде чем двинуться вперед, пробирался он в поперечные штольни, на станции, полз по потолку и заполнял все помещения. Рудничные вентиляторы отсасывали его, насосы вгоняли миллионы кубических метров свежего воздуха. И, наконец, почти незаметно дым начал редеть.

Аллан проснулся и больными, воспаленными глазами посмотрел на молочно-белый дым. Он не сразу сообразил, где находится. Перед ним стояла длинная низкая машина из блестящей стали и меди. Ее механизм бесшумно вращался. До половины углубленное в землю маховое колесо как будто не работало, но при более внимательном взгляде можно было заметить скользившие вверх и вниз блестящие полоски. Колесо делало девятьсот оборотов в минуту и было так точно выверено, что казалось неподвижным. Тут Аллан сразу понял, где он. Он все еще был на станции Смита. В тумане колыхалась чья-то фигура.

-- Это вы, Смит?

Фигура приблизилась, и он узнал Робинсона.

-- Я сменил Смита, Аллан, -- сказал Робинсон, долговязый худой американец.

-- Я долго спал?

-- Нет, всего час.

-- Где остальные?

Робинсон сообщил, что все отправились расчищать путь. Дым рассеивается, и в штольне уже немного легче дышать. На девятнадцатой станции (триста восьмидесятый километр) остались в живых еще семь человек.

-- Есть еще люди? Неужели в этой ужасной штольне еще остался кто-нибудь в живых?

Робинсон рассказал дальше, что на девятнадцатой станции остался инженер, по имени Штром, который обслуживает машины. Он спас еще шесть человек, и все чувствуют себя хорошо. Инженеры еще не добрались до них, но восстановили телефонное сообщение и говорили со станцией.

-- Нет ли среди них Хобби?

-- Нет.

Аллан опустил глаза. Помолчав, он спросил:

-- Кто этот Штром?

Робинсон пожал плечами:

-- Вот это и странно! Никто не знает. Он не туннельный инженер.

Тогда Аллан вспомнил, что Штром -- электротехник, работавший на одной из электрических станций Бермудских островов. Впоследствии выяснилось, что Штром приехал лишь осмотреть туннель. Во время взрыва он был на участке Бермана, за три километра от девятнадцатой станции. Эту станцию он осматривал всего за час до катастрофы и, так как не очень доверял обслуживавшей ее бригаде, тотчас же вернулся туда. Штром был единственным человеком, который пошел _в глубь_ туннеля, вместо того чтобы бежать из него.

Часа через два Аллан увидел его. Штром проработал сорок восемь часов, но на его лице не было и следов утомления. Особенно бросилась в глаза Аллану его аккуратная прическа. Штром был невысокого роста, узкогруд. Ему не исполнилось еще и тридцати лет. Он был русский немец из прибалтийских провинций. У него было неподвижное худое лицо, темные маленькие глаза и острая черная бородка.

-- Я хочу, чтобы мы стали друзьями, Штром! -- сказал Аллан, пожимая руку молодому человеку, поразившему его своей смелостью.

Но Штром только вежливо поклонился, лицо его сохранило свое бесстрастное выражение.

Штром принял на свою станцию шесть отчаявшихся беглецов. Дверные щели он законопатил промасленной паклей, так что воздух здесь был сравнительно сносный. Штром непрерывно накачивал воздух и воду в горящие штольни. Но ему удалось бы продержаться здесь еще не более трех часов, а потом он задохнулся бы, -- это он знал наверняка!

От этой дальней станции они должны были продвигаться уже пешком. Через сошедшие с рельсов опрокинутые платформы, через груды камня, шпалы и сломанные столбы шаг за шагом они ползли вперед в гущу дыма. Здесь трупы лежали кучами! Дальше путь оказался свободным, и они быстро пошли вперед.

Вдруг Аллан остановился.

-- Послушайте! -- сказал он. -- Кажется, чей-то голос!

Они остановились, прислушиваясь. Ни звука.

-- Я ясно слышал голос! Прислушайтесь, а я буду звать.

И в самом деле, на возглас Аллана ответил тихий звук, словно далекий голос из ночной тьмы.

-- Кто-то находится в штольне! -- взволнованно сказал Аллан.

Теперь и остальные услышали далекий, еле уловимый звук.

Продолжая звать и прислушиваться, они обыскали темную штольню. И наконец в поперечной штольне, где как вихрь свистел вгоняемый воздух, они наткнулись на _старика_, который сидел на земле, прислонясь головой к стенке. Рядом с ним лежал труп негра с открытым круглым ртом, полным зубов. Старик слабо улыбнулся. Истощенный, увядший, с жидкими, белыми как снег волосами, развевавшимися по ветру, он казался столетним. Глаза были неестественно расширены, так что вокруг зрачка виднелась белая роговая оболочка. Он был слишком изнеможен, чтобы двигаться, и мог только слегка улыбаться.

-- Я знал, Мак, что ты придешь за мной... -- невнятно пробормотал он.

Тогда Аллан узнал его.

-- Да ведь это Хобби! -- испуганно-и в то же время радостно воскликнул он и поднял старца.

-- Хобби? -- недоверчиво переспросили остальные. Они его не узнали.

-- Хобби?.. Ты?.. -- переспросил и Аллан, не в силах скрыть радость и умиление.

Хобби только слабо кивнул.

-- I am all right [со мной все в порядке (англ.)], -- прошептал он, потом указал на мертвого негра и сказал: -- Этот негр доставил мне много хлопот, но в конце концов он у меня все же умер.

Хобби несколько недель пролежал в госпитале, витая между жизнью и смертью. В конце концов его здоровая натура победила. Но это уже не был прежний Хобби.

Его память ослабла, и он никак не мог рассказать, каким образом попал в эту поперечную штольню. Было лишь установлено, что у него были с собой кислородные аппараты и фонари из того маленького квершлага, где за день до катастрофы лежал погибший монтер. Что касается негра Джексона, то он не задохнулся, а умер от голода и изнеможения.

Лишь изредка выходили поезда из туннеля, лишь изредка спускались в него. Отряды инженеров героически боролись с дымом. Борьба была небезопасна. Десятки участвовавших в ней тяжело заболели, отравленные дымом, пятеро из них умерли -- три американца, один француз и один японец.

Армия же рабочих бездействовала. Они бросили работу. Тысячной толпой стояли они на уступах выемки и смотрели, что делают Аллан и его инженеры. Рабочие стояли и не хотели даже пальцем пошевелить. Большие осветительные машины, вентиляторы и насосы обслуживались инженерами, у которых от усталости смыкались глаза. К мерзнувшим толпам рабочих примешивалось множество любопытных, привлеченных атмосферой ужаса. Ежечасно поезда выбрасывали новые партии. Железная дорога Хобокен -- Мак-Сити приносила огромный доход. За одну неделю она собрала два миллиона долларов. Синдикат немедленно повысил стоимость проезда. Туннельная гостиница была переполнена репортерами газет. В город приезжали тысячи автомобилей с дамами и мужчинами, жаждавшими увидеть место катастрофы. Они болтали без умолку и привозили с собой корзины с обильной закуской. Но все с затаенным ужасом глядели на четыре дымовых столба, подымавшихся, непрерывно крутясь, к голубому октябрьскому небу над стеклянными крышами близ устья туннеля. Это был дым, который вентиляторы отсасывали из штолен. И все же там внутри были люди! Часами могли ждать любопытные, хотя им ничего не удавалось увидеть, так как трупы погибших вывозили только ночью. Слащавый запах хлорной извести проникал из станционного здания.

Работы по очистке отняли много недель. В деревянной штольне, большая часть которой выгорела, работа была особенно затруднена. Продвигаться можно было лишь шаг за шагом. Трупы лежали здесь грудами. Большинство из них было страшно изуродовано, и иногда трудно было отличить обуглившийся столб от обуглившегося человека. Они были повсюду. Они лежали под мусором, они сидели на корточках за обгорелыми балками и скалили зубы навстречу продвигавшимся вперед людям. Даже храбрейших охватывал страх в этом ужасном морге.

Аллан неутомимо руководил работами.

В покойницкой, в палатах госпиталей разыгрывались те потрясающие сцены, которые влечет за собой каждая катастрофа. Плачущие женщины и мужчины, не помня себя от горя, ищут своих близких, находят их, рыдают, падают в обморок. Но в большинстве своем погибшие остались неузнанными.

Маленький крематорий в стороне от Мак-Сити работал день и ночь. Служители разных религий и сект по очереди исполняли печальный обряд. Ряд ночей маленький крематорий в лесу был ярко освещен, и все еще бесконечные вереницы деревянных гробов стояли в вестибюле.

У одной только разрушенной бурильной машины было найдено четыреста восемьдесят трупов. В общем катастрофа поглотила две тысячи восемьсот семнадцать человеческих жизней.

Когда обломки бурильной машины были убраны, внезапно обнаружилась зияющая дыра. Буры вскрыли огромную пещеру.

При свете прожектора оказалось, что эта пещера имела около ста метров ширины. Глубина была невелика: камню нужно было три с половиной секунды, чтобы достигнуть дна, что соответствовало шестидесяти метрам.

Причину катастрофы нельзя было точно определить. Но крупнейшие авторитеты придерживались того взгляда, что образовавшаяся от химического разложения пещера была наполнена газами, проникшими в штольню и вспыхнувшими при взрываний породы.

В тот же день Аллан приступил к исследованию вскрывшейся пещеры. Это была расселина длиной около тысячи метров, совершенно сухая. Дно и стены ее состояли из той неизвестной, рыхлой, радиоактивной руды, которую геологи назвали субмаринием.

Штольни были приведены в порядок, инженеры аккуратно обслуживали движение.

Но работа стояла.

9

Аллан опубликовал обращение к бастующим рабочим. Он дал им три дня на размышление, -- не желающие приниматься за работу могли считать себя уволенными.

Гигантские митинги состоялись на серых пустырях Мак-Сити. Шестьдесят тысяч человек теснились плечо к плечу, и с десяти трибун (вагонов) одновременно произносились речи.

В холодном и сыром октябрьском воздухе беспрерывно раздавались одни и те же слова: туннель... туннель... Мак... катастрофа... три тысячи человек... синдикат... И опять: туннель... туннель...

Туннель проглотил три тысячи человеческих жизней и внушал рабочим армиям ужас. Как легко и они могли сгореть или задохнуться в пылающей глубине, и как легко могла опять произойти подобная катастрофа, пожалуй, и большая! Ведь они могли умереть еще более страшной смертью... Они содрогались, вспоминая об "аде". Массовый _страх_ охватил их. Этот страх заразил работавших в Европе, на Азорских и Бермудских островах. Здесь тоже работа стояла.

Синдикат подкупил некоторых вожаков рабочих и послал их на ораторские трибуны. Подкупленные ратовали за немедленное возобновление работ.

-- Нас шестьдесят тысяч! -- надсаживались они. -- Вместе с рабочими других станций и подсобных производств нас сто восемьдесят тысяч! Зима на носу! Куда нам деться? У нас жены, дети. Кто же нас прокормит? Мы собьем все цены на рынке труда, и нас будут проклинать!

С этим все соглашались. Ораторы этого рода указывали на воодушевление, с которым производились работы, на хорошие отношения между рабочими и синдикатом, на относительно высокую заработную плату.

-- В "чистилище" и в "аду" зарабатывали по пяти и шести долларов в день многие из тех, кто мог бы разве только сапоги чистить или улицы подметать... Разве это не правда?

Они указывали на рабочие поселки и восклицали:

-- Посмотрите на ваши дома, ваши сады, ваши площадки для игр. Для вас устроены бани и читальни. Мак сделал из вас людей. Ваши дети растут здоровыми и живут в чистоте. Отправляйтесь в Нью-Йорк и Чикаго на съедение клопам и вшам!

Они подчеркивали, что за шесть лет не случилось других крупных несчастий и что синдикат примет самые энергичные меры предосторожности, чтобы избежать второй катастрофы.

Против этого ничего нельзя было возразить. Нет! Но вдруг ими опять овладевал страх, и никакие слова не могли их убедить. Они орали и свистели, закидывали ораторов камнями и говорили им прямо в лицо, что они подкуплены синдикатом. "Никто больше пальцем не шевельнет для _проклятого_ туннеля!" Это было лейтмотивом в речах ораторов другого толка.

-- Никто!

И гром аплодисментов, разносившийся на много миль, выражал общее одобрение. Эти ораторы доказывали опасность строительства. Они напоминали о всех жертвах, которые туннель унес до катастрофы. Круглым счетом -- тысяча восемьсот человек за шесть лет! Разве этого мало? Разве никто не помнит о тех тысяче восьмистах, которые раздавлены, перерезаны поездами? Они говорили о "корчах", от которых неделями страдали сотни людей, а иные, быть может, будут страдать всю жизнь.

-- Мы раскусили Мака! -- кричали ораторы (часть их была подкуплена пароходными компаниями, стремившимися как можно дальше отодвинуть срок окончания туннеля). -- Мак вовсе не друг рабочим! Вздор и ложь! Мак -- капиталистический палач! Самый ужасный палач, какого носила земля! Мак -- волк в овечьей шкуре! Сто восемьдесят тысяч человек работают у него. Двадцать тысяч свалившихся на его адской работе людей он ежегодно подлечивает в своих госпиталях, чтобы потом послать их ко всем чертям, -- они навсегда останутся инвалидами. Пусть они гниют на улицах, пусть подыхают в богадельнях, Маку на это наплевать! Сколько человеческого материала извел он за эти шесть лет! Хватит! Пусть Мак поищет, где ему взять людей. Пусть наберет в Африке черных рабов для своего "ада", пусть он купит у правительства преступников и каторжников. Взгляните на эту вереницу гробов! Гроб за гробом -- на два километра! Решайтесь!

Вой, рев, гул были ответом на эти слова.

Целыми днями бушевала борьба в Мак-Сити. Тысячи раз повторялись одни и те же аргументы "за" и "против".

На третий день Аллан выступил сам.

Утром он предал кремации Мод и Эдит, а после обеда, еще оглушенный тоской и горем, в течение нескольких часов говорил с тысячной толпой. Чем дольше он говорил и чем громче кричал в рупор, тем больше чувствовал, как возвращались к нему прежняя сила и прежняя вера в свое дело.

Его речь, о которой оповещали метровые плакаты, одновременно повторялась в разных местах мусорных свалок на немецком, французском, итальянском, испанском и русском языках. В сотнях тысяч экземпляров она разбрасывалась по всему земному шару. Ее в один и тот же час на семи языках выкрикивали через рупор на Бермудских и Азорских островах, в Финистерре и Бискайе.

Аллана встретили молчанием. Когда он прокладывал себе дорогу в толпе, люди расступались, а многие даже прикасались к фуражкам. Там, где он проходил, все разговоры затихали. Не было слышно ни звука. Стена ледяного молчания вставала на его пути. Когда он показался на железнодорожной платформе среди моря голов, -- тот самый Мак, которого они все знали, с которым каждый имел случай поговорить, который каждому жал руку, чьи крепкие, белые зубы знал каждый, -- когда он показался, этот коногон из "Дяди Тома", мощное движение всколыхнуло поле, массы стихийно сдвинулись. Это был судорожный напор огромной армии, стянувшейся подобно клиньям, толкаемым гидравлическими прессами к одному центру. Но не было слышно ни звука.

Аллан кричал в мегафон. Он трубил каждую фразу на все четыре стороны.

-- Я пришел говорить с вами, рабочие туннеля! -- начал он. -- Я Мак Аллан, и вы меня знаете! Вы кричите, что я убил три тысячи человек. Это ложь! Судьба сильнее человека. Работа убила эти три тысячи человек. Работа ежедневно убивает сотни людей на земле! Работа -- это битва, а в битве бывают убитые. В одном только Нью-Йорке, который вы знаете, работа убивает ежедневно двадцать пять человек! Но никто не думает о том, чтобы перестать работать в Нью-Йорке. Море убивает ежегодно двадцать тысяч человек, но никто не думает о том, чтобы перестать работать на море. Вы потеряли друзей, рабочие туннеля, я это знаю. И я потерял друзей -- так же, как и вы! Мы поквитались! Как в работе, так и в горе мы -- товарищи! Рабочие туннеля...

Он стремился вновь разжечь тот энтузиазм, который все эти шесть лет побуждал рабочих к неслыханному напряжению сил. Он говорил, что строит туннель не для своего удовольствия. Туннель должен породнить Америку и Европу, два мира, две культуры. Туннель даст хлеб насущный тысячам людей. Туннель создается не для обогащения отдельных капиталистов: в такой же мере он принадлежит народу.

-- Вам самим, рабочие туннеля, принадлежит туннель. Вы сами акционеры синдиката!

Аллан почувствовал, что искра перескочила от него к морю голов. Возгласы, шум, движение! Контакт был достигнут...

-- Я сам рабочий! -- кричал Аллан. -- Рабочий, как и вы. Я ненавижу трусов! Долой трусов! Но храбрые пусть остаются! Труд не только средство для насыщения. Труд -- идеал. Труд -- религия нашего времени!

Шум.

Все складывалось благоприятно для Аллана. Но, когда он предложил возобновить работу, опять воцарилась ледяная тишина. Страх снова охватил всех...

Аллан проиграл сражение.

Вечером вожди рабочих собрались на совещание, длившееся до раннего утра. А утром их уполномоченные заявили, что они не возобновят работы.

Океанские и европейские станции присоединились к решению американских товарищей.

В это утро Аллан рассчитал сто восемьдесят тысяч человек. Он потребовал, чтобы квартиры были освобождены в течение сорока восьми часов.

Туннель затих. Мак-Сити словно вымер.

Лишь кое-где, ружье к ноге, стояли солдаты милиции.

Часть пятая

1

"Эдисон-Био" нажила в эти дни целое состояние. Она показывала даже самую катастрофу внутри туннеля и бег спасавшихся по штольням. Она показывала собрание, Мака, все.

Зарабатывали несметные суммы и газеты, их издатели жирели. Катастрофа, спасательные работы, митинги, забастовка -- все это были пушечные выстрелы, которые вспугивали жаждущую ужасов и сенсаций огромную армию газетных читателей... Во всем мире читатели рвали газеты из рук.

Рабочая пресса пяти континентов изображала Мака Аллана призраком эпохи, забрызганным кровью и грязью, пожирателем людей, с бронированными сейфами в руках. Ежедневно ротационные машины всех стран разрывали его на части. Они клеймили Туннельный синдикат, называя его самым бесстыдным рабовладельцем всех времен, страшным капиталистическим тираном.

Уволенные рабочие вели себя угрожающе. Но и Аллан держал их под угрозой. На всех бараках, на углах улиц и столбах появилось следующее объявление: "Рабочие туннеля! Синдикат будет защищать свое имущество до последнего болта. Мы предупреждаем, что во всех зданиях синдиката установлены пулеметы! Мы предупреждаем, что шутить не намерены!"

Откуда вдруг у этого Мака взялись пулеметы? Оказалось, что они тут находились годами -- на всякий случай! Этот человек знал, что делает!

Ровно через сорок восемь часов после увольнения в рабочих поселках уже не было ни света, ни воды.

Оставалось только уйти или же драться с синдикатом.

Все же рабочие не желали уйти, не хлопнув дверью! Они хотели напомнить миру о своем существовании, хотели показать себя перед уходом.

На следующий день пятьдесят тысяч рабочих отправились в Нью-Йорк. Они отбыли в пятидесяти поездах и в полдень целой армией прибыли в Хобокен. У полиции не было повода запретить этим массам вход в Нью-Йорк: всякий стремившийся в город имел на это право. Но телефоны в полицейских участках работали непрерывно, за движением рабочей армии тщательно наблюдали.

На два часа в туннеле под Гудзоном прекратилось почти всякое движение: рабочие тянулись в нем бесконечной вереницей, и туннель гремел от их шагов и пения.

Выйдя из туннеля, армия выстроилась для демонстрации и повернула на Кристофер-стрит. Впереди с адским шумом шел оркестр. За ним -- знаменосцы, которые несли флаг с красной надписью: "Рабочие туннеля". Дальше следовали ряды красных знамен Интернациональной рабочей лиги. Над головами демонстрантов развевались сотни национальных флагов всего мира: впереди -- звездный флаг Соединенных Штатов "Юнион Джек", потом флаги Канады, Мексики, Аргентины, Бразилии, Чили, Уругвая, Венесуэлы, Гаити, Франции, Германии, Италии, Дании, Швеции, Норвегии, России, Испании, Португалии, Турции, Персии, Голландии, Китая, Японии, Австралии, Новой Зеландии.

За пестрым лесом флагов шагали негры. Часть отряда негров взвинтила себя до крайней ярости: они дико вращали белками глаз и бессмысленно орали, другая часть состояла из добрых чернокожих парней, скаливших белые зубы и делавших встречавшимся на их пути дамам недвусмысленные любовные предложения. Они несли плакат с огромной надписью: "Hellmen!" [рабочие "ада" (англ.)] За ними шла группа, тащившая виселицу. На виселице болталась кукла -- Аллан!

Ее круглую голову украсили огненно-красным париком, сделанным из старого мешка, белые зубы были намалеваны краской. Из попоны смастерили балахон, напоминавший известное всем коричневое пальто Мака. Казненному Аллану предшествовал огромный плакат, на котором красовалось:

"Мак Аллан, убийца 5000 человек".

Над катившимся по Кристофер-стрит и Вашингтон-стрит, по направлению к Бродвею, морем голов, кепи, фуражек, и продавленных котелков раскачивался целый ряд подобных чучел.

За Алланом качался на веревке Ллойд. Голова этой куклы была бурого цвета, глаза и челюсти были разрисованы в отвратительные цвета. Перед этой индейской мумией несли плакат:

"Ллойд. Ворует миллиарды. Жрет человеческое мясо".

За ними в светлом соломенном парике следовало чучело Хобби такой ужасающей худобы, что оно развевалось, как флаг. Плакат на чучеле гласил:

"Хобби. Еле спасся из когтей дьявола. Теперь повешен".

Следующим был С.Вульф. На голове у него болталась красная феска. У него были толстые красные губы и черные глаза с кулак величиной. Вокруг шеи на нитке висело несколько детских кукол.

"Чемпион мошенников, еврей С.Вульф со своим гаремом".

Потом дошла очередь до известных финансистов и главных инженеров разных станций. Между ними привлекал внимание "Толстый Мюллер" с Азорских островов. Он был кругл, как воздушный шар, а вместо головы у него на плечах сидел старый котелок.

"Жирный кусок для ада!"

Среди маршировавшей толпы двигались десятки оркестров, игравших одновременно и наполнявших ущелье Бродвея таким треском и звоном, словно сразу разбивались об асфальт тысячи стекол. Толпы рабочих горланили, свистели, хохотали, все рты были искажены усилием, -- они старались производить как можно больше шума. Некоторые отряды пели "Интернационал", другие -- "Марсельезу", третьи -- вперемешку все, что приходило в голову. Но основной звуковой фон создавал стук шагов, глухой такт тяжких сапог, часами повторявший одно и то же слово: туннель, туннель, туннель...

Казалось, сам туннель пришел в Нью-Йорк, чтобы устроить демонстрацию.

Одна группа посреди процессии возбудила большой интерес. Ей предшествовали флаги всех наций и огромный плакат:

"Калеки Мака!"

Группа состояла из людей, потерявших руку или ногу, из ковылявших на деревянной ноге и даже из таких, которые, раскачиваясь подобно колоколу, подвигались вперед на двух костылях. За ними брели мужчины с желтыми, болезненными лицами, -- это были страдающие "корчами".

Рабочие туннеля маршировали колоннами по десять человек в ряд, и процессия растянулась на пять километров. Ее хвост еще только выходил из туннеля под Гудзоном, когда голова достигла Уолл-стрит. Соблюдая полный порядок, армия туннельных рабочих катилась по Бродвею, и мостовые, по которым она проходила, эти сглаженные автомобильными шинами мостовые, еще на следующий день хранили отпечатки гвоздей от ее сапог. Движение было прервано. Бесконечные ряды трамвайных вагонов, экипажей, автомобилей ждали конца шествия. Все окна и витрины были усеяны любопытными. Каждый хотел посмотреть на желтые лица, мозолистые руки и сутулые спины шагавших в тяжелых сапогах туннельных рабочих. Они принесли с собой из туннеля атмосферу ужаса. Все они побывали там, в темных штольнях, где смерть настигла их товарищей. Звон цепей подымался из их рядов, запах узников и отверженных.

Фотографы прицеливались и щелкали аппаратами, кинооператоры вертели рукоятки. Из парикмахерских выскакивали люди с намыленной физиономией, повязанные салфеткой, из башмачных магазинов -- дамы в одной туфле, в магазинах готового платья теснились к дверям покупатели без пиджаков и даже в одних кальсонах. Продавщицы, уборщицы и конторщицы торговых домов, раскрасневшиеся от волнения, изнывавшие от любопытства, высовывались с опасностью для жизни из окон от первого до двадцатого этажа. Они кричали, визжали, махали платками. Но волна шума, бившая с улицы, уносила их пронзительные крики вверх, так что их совсем не было слышно.

В маленьком, не бросавшемся в глаза автомобиле, среди бушующего потока людей, вместе с сотнями других ожидавших возможности проехать сидели Ллойд и Этель. Этель трепетала от волнения и любопытства. Она не переставала восклицать:

-- Look at them... Just look at them... Look! Look! [Посмотри на них... Ты только посмотри на них... Смотри! Смотри! (англ.)]

Она благословляла счастливый случай, который вовлек ее в гущу этой процессии.

-- Отец, они несут Аллана! Ты видишь его?

И Ллойд, съежившийся в глубине автомобиля и смотревший через маленькое окошко, равнодушно ответил:

-- Разумеется, вижу, Этель!

Когда пронесли самого Ллойда, она громко расхохоталась, вне себя от удовольствия.

-- Это ты, папа!

Она встала со своего сиденья и обняла Ллойда:

-- Ведь это ты! Ты видишь?

-- Вижу, Этель!

Когда проходили рабочие "ада", Этель постучала в окно. Негры осклабились и прижали безобразные кирпичные ладони к стеклу. Но они не могли остановиться, так как шедшие сзади подгоняли их.

-- Не вздумай опускать стекло, детка! -- равнодушно сказал Ллойд.

Но когда прошли "калеки Мака", Этель подняла брови.

-- Отец, -- изменившимся голосом сказала она, -- а их ты видишь?

-- Вижу, детка!

На следующий день Этель велела раздать десять тысяч долларов "калекам Мака".

Удовольствие было разом испорчено. Непонятное раздражение против действительной жизни поднялось в ее душе.

Она открыла окошечко и крикнула шоферу:

-- Go on! [Поезжайте! (англ.)]

-- Не могу! -- ответил шофер.

Однако к Этель скоро вернулось хорошее расположение духа. Над отрядом японцев, семенивших быстрыми шажками, она уже опять смеялась.

-- Отец, ты видишь япошек?

-- Вижу, Этель, -- последовал стереотипный ответ Ллойда.

Ллойд хорошо знал, что их жизнь находилась в опасности, но ни одним словом не выдал своего страха. Он не боялся быть убитым, но знал, что если чей-нибудь голос крикнет: "Это машина Ллойда!" -- произойдет следующее: любопытные окружат автомобиль и сомнут его. Их самих -- без всякого злого умысла! -- выволокут и задавят. В лучшем случае ему и Этель пришлось бы испытать удовольствие принять участие в процессии по Нью-Йорку, сидя на плечах двух негров, -- а это его отнюдь не соблазняло.

Он восхищался Этель, он всегда был в восторге от нее. Она совсем не думала об опасности! В этом она походила на мать.

Он вспомнил маленькую сценку, разыгравшуюся в Австралии в ту пору, когда они были еще маленькими людьми. Разъяренный дог накинулся на мать Этель. И что же она сделала? Она надавала догу пощечин и возмущенным тоном прикрикнула на него: "You, go on, you!" [Пошел прочь, слышишь? (англ.)]

И собака почему-то действительно попятилась назад. Он вспомнил об этом, и кожа на его лице пошла складками, -- Ллойд улыбнулся.

Но в эту минуту мотор зашумел, и автомобиль двинулся. Ллойд вытянул вперед свою высохшую, как у мумии, голову и засмеялся; при этом его язык то показывался, то скрывался в узкой щели рта. Он разъяснил Этель, в какой опасности они находились целый час.

-- Я не боюсь! -- сказала Этель. -- Как я могу бояться людей? -- прибавила она смеясь.

-- Ты права, детка! Человек, который боится, живет наполовину.

Этель было двадцать шесть лет, она была совершенно самостоятельна и тиранила своего отца, но Ллойд все еще смотрел на нее, как на маленькую девочку. Она не протестовала, потому что в конце концов он всегда поступал так, как хотела она.

Когда лес красных флагов достиг здания синдиката, рабочие нашли тяжелую дверь подъезда запертой, а окна двух первых этажей закрытыми железными ставнями. Никто не показывался ни в одном из четырехсот окон фасада. На гранитной лестнице перед тяжелой дубовой дверью стоял _один-единственный_ полицейский, огромный, толстый ирландец в серой суконной форме, с кожаным ремешком серой суконной каски под розовым двойным подбородком. Лицо у него было круглое как луна, с золотисто-рыжей щетиной бороды. Веселыми голубыми глазами он смотрел на приближавшийся поток рабочих, успокаивающе, с добродушной улыбкой поднимал руку, огромную руку в белой шерстяной перчатке, похожую на лопату снега, и беспрестанно повторял, сопровождая свои слова сочным громким смехом:

-- Keep your shirt on, boys! Keep your shirt on, boys! [Не горячитесь, ребята! Не горячитесь, ребята! (англ.)]

В это время, словно невзначай, медленно ехали по Пайн-стрит три блестящих паровых пожарных насоса с надписью: "Возврат в депо". Они остановились, задержанные демонстрацией, и терпеливо ждали. Из их сверкающих медных труб подымался к ясному небу беловатый дымок, и нагретый воздух дрожал над их стальными телами.

Нельзя, конечно, умолчать о том, что в кармане у добродушно улыбавшегося ирландца с большими белыми руками, стоявшего без всякого оружия, даже без дубинки, лежал свисток. Если бы он был вынужден воспользоваться им, то за одну минуту эти три чистеньких, невинно и вежливо ожидавших насоса, подрагивавших на своих рессорах, выпустили бы в толпу девять тысяч литров воды. Кроме того, висевший под карнизом над окнами первого этажа никем не замеченный четырехметровый рулон развернулся бы и огромными буквами крикнул на улицу: "Берегитесь! В здании двести полицейских. Берегитесь!"

Но огромному розовощекому ирландцу незачем было хвататься за свисток.

Сперва перед четырьмястами окон здания синдиката взлетел громовый крик, чудовищный рев, в котором совершенно потонул бешеный грохот оркестров. После этого стали вешать Мака! Под аккомпанемент неистовых криков его поднимали на виселицу, спускали и вновь поднимали. Веревка оборвалась, и беспомощная фигура Мака свалилась демонстрантам на головы. Веревку снова привязали, и экзекуция, сопровождаемая пронзительными свистками, возобновилась. Кто-то из толпы, стоя на плечах двух человек, произнес краткую речь. Ни одного слова, ни даже звука его голоса нельзя было расслышать среди шума. Но человек продолжал говорить своим искаженным лицом, руками, которые он выбрасывал в воздух, своими судорожно скрюченными пальцами, которыми он месил слова, бросая их в толпу. С пеной на губах он потряс кулаками перед зданием синдиката. Этим он закончил свою речь, и все ее поняли. Взметнулся ураган голосов. Он был слышен даже на Баттери.

В конце концов могло случиться, что и пришлось бы пустить в ход пожарные насосы, так как фанатическое возбуждение толпы перед зданием все росло. Но сама природа этой демонстрации была такова, что дело не могло дойти до взрыва, который сплющил бы в лепешку жирного ирландца и смел бы прочь все три чистеньких насоса. В то время как две тысячи демонстрантов находились перед зданием, сорок восемь тысяч с автоматической равномерной энергией напирали на них сзади. Таким образом, настал момент, когда эти две тысячи, горячившиеся перед вымершим зданием, были сжаты с такой силой, что их вытолкнуло через Уолл-стрит, словно пробку из пневматического ружья.

Больше двух часов вокруг здания синдиката стоял такой адский шум, что клерки и стенографистки натерпелись страху.

Гул потянулся через Пирл-стрит и Бовери к Третьей улице, а оттуда к Пятой, где стояли безвкусные дворцы миллионеров. Дворцы были безмолвны и безжизненны. Это дымящийся трудовой пот шествовал мимо окопавшихся, притихших миллионеров. Перед желтым, уже немного облупленным дворцом в стиле ренессанс, отделенном от улицы садом, процессия снова остановилась, так как предстояло повесить его владельца -- Ллойда. Дом оказался таким же вымершим, как и остальные. Только в угловом окне второго этажа стояла женщина и смотрела на улицу. Это была Этель. Но так как ни один из участников шествия не предполагал, что кто-нибудь из семьи Ллойда осмелится показаться, все приняли Этель за служанку.

Демонстранты двинулись мимо Центрального парка к скверу Колумба. Оттуда -- обратно к Мэдисоновской площади. Здесь с фанатическими криками сожгли кукол.

Этим и закончилась демонстрация. Рабочие туннеля рассеялись. Они затерялись в пивных Ист-Ривера, и через час гигантский город поглотил их.

Было условлено, что в десять часов они встретятся перед туннельной станцией Хобокен.

Здесь рабочих ждала большая неожиданность: станция была оцеплена широкоплечими полицейскими. Но так как рабочие стекались постепенно, а их предприимчивость была истощена долгим хождением, криками и алкоголем, у них не было энергии для дружного удара. Плакаты оповещали, что холостым рабочим незачем возвращаться в Мак-Сити, ехать разрешалось только семейным.

Ряд агентов вел тщательный контроль, и каждые полчаса в Мак-Сити отправлялись поезда. В шесть часов утра были отправлены последние.

2

Пока демонстранты шумели вокруг здания синдиката, Аллан совещался с С.Вульфом и его заместителем Расмуссеном.

Финансовое положение синдиката нельзя было назвать ни угрожающим, ни вполне благополучным. К январю будущего года подготовлялся второй миллиардный заем. Теперь, конечно, не приходилось думать об этом. Никто не рискнул бы даже центом!

На гул взрыва в американской южной штольне, на шум забастовки откликнулись биржи всего мира. Акции за несколько дней упали на двадцать пять процентов, каждый желал как можно скорее избавиться от них, и никому не хотелось обжечься. Через неделю после катастрофы крах казался неизбежным. Но С.Вульф с отчаянным напряжением бросился на поддержку заколебавшегося финансового гиганта и удержал его. Он наколдовал соблазнительный баланс, опубликовал его, подкупил армию биржевых репортеров и наводнил прессу Старого и Нового Света успокоительными сообщениями. Курс подтягивался, курс перестал падать, и С.Вульф начал убийственную борьбу за его поддержание и постепенное повышение. В своей конторе на десятом этаже он с неукротимой энергией, пыхтя и фыркая, как бегемот, составлял планы кампании.

В то самое время, когда внизу завывала толпа, он докладывал о своих проектах Аллану. Он предлагал эксплуатировать залежи калия и железа на участке "Толстого Мюллера". Использовать энергию электрических станций. Извлекать субмариний из злосчастного ущелья. Бурение показало среднюю мощность пласта в десять метров -- целое состояние! С.Вульф предложил Питтсбургской компании плавильных заводов заключить договор. Пусть компания извлекает руду, а синдикат возьмет на себя ее вывоз. За это С.Вульф требовал шестьдесят процентов чистой прибыли. Компания прекрасно знала, что синдикату приходится туго, и предложила тридцать процентов. Но С.Вульф клялся, что скорее даст себя заживо похоронить, чем согласится на подобное бесстыдное предложение. Он тотчас же обратился к "Американ Смелтерс", и Питтсбургская компания поспешила предложить сорок процентов.

Вульф сбавил процент до пятидесяти и пригрозил, что синдикат в будущем вообще не вывезет больше ни горсточки руды. Штольни пройдут под месторождениями или над ними -- все равно. Наконец сошлись на сорока шести с третью процента. За последнюю треть процента С.Вульф сражался, как воин племени масаи, и питтсбуржцы заявили, что предпочли бы иметь дело с дьяволом, чем с этой shark [акулой (фигурально: жуликом) (англ.)].

С.Вульф за последние два года заметно изменился. Он стал еще толще, и его астма усилилась. Правда, его темные глаза с длинными черными ресницами, всегда казавшимися подкрашенными, не потеряли своего слегка меланхолического восточного блеска. Но огонь этих глаз померк. С.Вульф начал заметно седеть. Он уже не стриг бороду коротко, и она свисала длинными космами с обеих щек и подбородка. Своим могучим лбом, широко расставленными выпуклыми глазами и широким горбатым носом он напоминал одинокого американского буйвола,

изгнанного стадом за чрезмерный деспотизм. Это впечатление усугубляли красные отеки под глазами. С.Вульфу последнее время приходилось бороться с сильными приливами крови к голове.

Когда галдеж внизу усиливался, С.Вульф вздрагивал и его глаза начинали беспокойно бегать. Он был не трусливее других, но бешеная работа последних лет повлияла на его нервы.

Кроме того, у С.Вульфа были заботы иного рода, _совсем иного_, заботы, о которых он благоразумно умалчивал.

После совещания Аллан остался опять один. Он ходил взад и вперед по своему кабинету. Он похудел, взор его был тусклый и унылый. В одиночестве его охватывало беспокойство, и он чувствовал потребность в движении. Тысячу раз он переходил из угла в угол и таскал свое горе из одного конца комнаты в другой. Иногда он останавливался в раздумье. Но он сам не знал, о чем думал.

Потом он позвонил в госпиталь Мак-Сити и справился о здоровье Хобби. У Хобби был жар, и к нему никого не пускали. Наконец Аллан взял себя в руки и уехал. Вечером он вернулся несколько освеженный и опять принялся за работу. Он изучал различные проекты разработки найденного под океаном ущелья. Он хотел устроить в нем большую станцию, громадное депо и машинные залы. Восемьдесят двойных километров камня он мог сбросить в это ущелье. Собственно говоря, злосчастное ущелье, в котором смерть миллионы лет подстерегала туннельных рабочих, имело громадную ценность. Эти проекты занимали его и отгоняли мрачные видения. Ни секунды не смел он останавливаться мыслью на том, что лежало позади...

Он ложился спать поздно ночью и был рад, если ему удавалось поспать два-три часа без мучительных сновидений.

Один только раз он ужинал у Ллойда.

Перед ужином Этель Ллойд беседовала с ним. Она с такой искренней болью говорила о гибели Мод и Эдит, что Аллан сразу стал смотреть на нее другими глазами. Она внезапно показалась ему на много лет старше и более зрелой.

Несколько недель Аллан безвыходно провел в туннеле.

Перерыв на несколько недель, который при нормальном ходе вещей потребовал бы огромных финансовых жертв, был, в сущности, желателен. Бешеная, длившаяся уже годами работа утомила всех инженеров, и они нуждались в отдыхе. Забастовке рабочих Аллан не придавал большого значения. Он не изменил этого мнения и тогда, когда объединения монтеров, электротехников, строителей, плотников объявили туннелю бойкот.

Покамест нужно было обслуживать штольни, чтобы они сразу же не пришли в запустение. Для этой работы в распоряжении Аллана была армия из восьми тысяч инженеров и добровольцев, которых он распределил по участкам. С героическим напряжением сил эти восемь тысяч человек оберегали гигантское сооружение.

Монотонно звучали колокола редких поездов в опустевшем туннеле. Он безмолвствовал, и людям в нем нужно было много времени, чтобы привыкнуть к гробовой тишине прежде гудевших от работы штолен. Отряды горных техников, специалистов по железным конструкциям, электротехников, механиков объезжали европейские, атлантические и американские штольни. Каждый рельс, каждая шпала, каждая заклепка, каждый болт тщательно проверялись. Отмечались необходимые изменения и исправления. Геодезисты и математики тщательно изучали положение и направление штолен. Отклонения от намеченной трассы были незначительны. Сильнее всего было отклонение в атлантической штольне "Толстого Мюллера" -- три метра по ширине и два метра по глубине -- разница, которую можно было отнести за счет неточности инструментов, находившихся под воздействием огромных каменных масс.

В злополучном ущелье день и ночь полунагие, обливавшиеся потом рудокопы бурили, взрывали и грузили субмариний. В тропически жарком ущелье работа гремела и клокотала, словно ничего не случилось. Даже то, что добывалось за одни сутки, имело огромную ценность.

Но вокруг все было мертво. Туннельный город словно вымер. Ваннамекер закрыл свой универсальный магазин, ворота туннельного отеля были заперты. В рабочих поселках ютились женщины и дети -- вдовы и сироты погибших.

3

Процесс, возбужденный против синдиката, через несколько недель был прекращен; так как катастрофа безусловно была вызвана не зависевшими ни от кого причинами.

Этот процесс задерживал Аллана в Нью-Йорке. Теперь же он освободился и немедленно уехал.

Он провел зиму на Бермудских и Азорских островах и несколько недель оставался в Бискайе. Потом его видели на электрической станции на острове Уэссан, а затем след его затерялся.

Весну Аллан прожил в Париже, где остановился в старой гостинице на улице Ришелье, под именем Ч.Коннора, коммерсанта из Денвера. Никто его не узнал, несмотря на то, что каждый сотни раз видел его портреты. Он нарочно выбрал эту гостиницу, чтобы избежать встреч с тем классом людей, которых он больше всего ненавидел: с богатыми бездельниками и шумными болтунами, кочующими из отеля в отель и совершающими свои трапезы со смешной торжественностью.

Аллан жил в полном одиночестве. Ежедневно после обеда он сидел перед одним и тем же кафе на бульваре за круглым мраморным столиком, пил кофе и молчаливо, равнодушно глядел на шумный поток уличного движения. Время от времени он поднимал взор к балкону во втором этаже расположенного напротив отеля, где он жил несколько лет назад с Мод. Иногда там наверху появлялась женщина в светлом платье, и тогда Аллану трудно было

оторваться от балкона. Каждый день он отправлялся в Люксембургский сад, в ту его часть, где играли тысячи детей. Там стояла скамья, где он однажды сидел с Мод и Эдит. Аллан ежедневно садился на эту скамью и смотрел на резвящихся вокруг ребятишек. Теперь, через полгода после катастрофы, мертвые и тоска по ним постепенно приобретали над ним удивительную силу. В конце весны и летом он проделал то же путешествие, которое совершил несколько лет назад с Мод и Эдит. Он побывал в Лондоне, Ливерпуле, Берлине, Вене, Франкфурте, сопровождаемый повсюду мрачными и болезненно сладостными воспоминаниями.

Он жил в тех же отелях и часто даже в тех же комнатах. Он останавливался перед дверями, которые некогда открывала и закрывала Мод. Ему нетрудно было ориентироваться во всех этих незнакомых отелях и коридорах. Долгие годы, проведенные в темных подземных лабиринтах рудников, развили в нем умение находить дорогу. Ночи он проводил без сна в кресле, в темной комнате. Он сидел не шевелясь, с открытыми, сухими глазами. Иногда вполголоса произносил фразы, с которыми обычно обращался к Мод: "Пора идти спать, Мод!", "Не порти себе глаза!" Он терзался, упрекая себя в том, что связал жизнь Мод со своей жизнью, когда уже был занят мыслями о великом предприятии. Ему казалось, что он не открыл ей всей своей любви, что вообще недостаточно любил ее -- не так, как любит ее теперь. Он мучился и укорял себя, вспоминая, как его даже раздражали упреки Мод в том, что он ею пренебрегает. Нет, он не сумел дать счастье своей маленькой, нежной Мод. С воспаленными глазами, затуманенными горем, сидел он в мертвых комнатах до рассвета. "Уже светает, птички чирикают, ты слышишь?" -- говорила Мод. И Аллан шепотом отвечал: "Да, я слышу, дорогая". И ложился в постель.

Наконец ему пришла в голову мысль приобретать вещи из этих священных покоев -- подсвечник, часы, письменный прибор. Владельцы отелей, считавшие мистера Ч.Коннора хандрившим богатым американцем, не стесняясь, запрашивали бессовестные цены, но Аллан платил не торгуясь.

В августе он вернулся из своего путешествия в Париж еще более замкнутым и угрюмым, с мрачным огнем в глазах и опять остановился в старом отеле на улице Ришелье. Он производил впечатление душевно больного человека, не замечающего окружающей его жизни и погруженного в свои думы. Неделями он не говорил ни слова.

Как-то вечером Аллан проходил по кривой, шумливой улочке Латинского квартала и вдруг остановился. Кто-то произнес его имя. Но кругом торопились куда-то чужие, безразличные люди. Внезапно он увидел свою фамилию, свою прежнюю фамилию, напечатанную огромными буквами.

Это был броский плакат "Эдисон-Био": "Mac Allan, constructeur du "Tunnel" et Mr.Hobby, ingenieur en chef conversant avec les collaborateurs a Mac-City". -- "Les tunneltrains allant et venant du travail" ["Мак Аллан, строитель "Туннеля", и господин Хобби, главный инженер, беседуют с сотрудниками в Мак-Сити". -- "Туннельные поезда, идущие к месту работ и обратно" (франц.)].

Аллан не знал французского языка, но он понял смысл афиши. Подгоняемый необъяснимым любопытством, он нерешительно вошел в темный зал. Шла мало занимавшая его мелодрама. Но в картине участвовала маленькая девочка, которая отдаленно напоминала Эдит, и этот ребенок сумел удержать его на полчаса в переполненном зале. La petite Ivonne [маленькая Ивонна (франц.)] разговаривала с таким же важным видом и так же подражала взрослым...

Вдруг он услыхал, как конферансье произнес его имя, и тотчас же перед ним явился "его город". Окутанный пылью и дымом, освещенный солнцем. Группа инженеров стояла перед станцией -- все знакомые лица. Они все повернулись, как по сигналу, навстречу медленно подъезжавшему автомобилю. В автомобиле сидел он сам и рядом с ним Хобби. Хобби поднялся и крикнул инженерам что-то смешное, и все они рассмеялись. Аллан почувствовал глухую боль, когда увидел Хобби. Свежий, задорный... А теперь туннель погубил его, как многих других. Автомобиль медленно двинулся дальше, и вдруг Аллан увидел, как его двойник встает и оборачивается. Один из инженеров прикоснулся к шляпе в знак того, что он понял распоряжение.

Конферансье произнес: "Гениальный строитель отдает распоряжения своим сотрудникам!"

А человек, прикоснувшийся к шляпе, неожиданно устремил испытующий взгляд в публику, именно на него, Аллана, словно он обнаружил его присутствие. И Аллан узнал этого человека: это был Берман, которого застрелили десятого октября.

Вдруг он увидел туннельные поезда: они слетали по наклонной рампе вниз, они мчались наверх, один за другим, и облако пыли взметалось над ними.

У Аллана учащенно забилось сердце. Он сидел прикованный к месту, взволнованный, лицо его горело, и он так тяжело дышал, что соседи обратили на него внимание и засмеялись.

А поезда все мчались... Аллан встал. Он тотчас же ушел. Он взял такси и вернулся в гостиницу. Здесь он справился у управляющего о ближайшем пароходе-экспрессе в Америку. Управляющий, все время проявлявший к Аллану самое заботливое внимание, как к тяжело больному, назвал ему пароход линии Кюнара, который на следующее утро отходил из Ливерпуля. Вечерний скорый поезд, сказал он, уже ушел.

-- Закажите сейчас же экстренный поезд! -- сказал Аллан.

Управляющий, которого изумили голос и тон Аллана, уставился на мистера Ч.Коннора. Что так изменило его постояльца за один вечер? Казалось, что перед ним стоял другой человек.

-- С удовольствием, -- ответил он. -- Но я вынужден попросить у мистера Коннора некоторых гарантий...

Аллан шагнул к лифту:

-- Зачем? Скажите, что поезд заказывает Мак Аллан из Нью-Йорка.

Лишь теперь управляющий узнал его и смущенно отступил, скрывая в поклоне свое изумление.

Аллан словно переродился. Он унесся в бешено мчавшемся поезде, пролетевшем мимо всех станций с такой скоростью, что только звон стоял. Быстрота движения вернула Аллану прежнюю энергию. Он великолепно спал в эту ночь. Впервые за долгое время. Только раз он проснулся -- когда поезд гремел по туннелю под Ла-Маншем. "Слишком тесные они построили штольни!" -- подумал он и опять заснул. Утром он почувствовал себя бодрым и здоровым, полным решимости. Из поезда он по телефону переговорил с капитаном и с дирекцией общества. В десять часов он добрался до парохода, который поджидал его, трепеща от нетерпения и выпуская из труб свистящие клубы пара. Едва он одной ногой ступил на палубу, как винты уже взбили воду в жидкий мрамор. Полчаса спустя весь пароход знал, что запоздавший пассажир был не кто иной, как Мак Аллан.

Как-только вышли в море, Аллан стал лихорадочно рассылать телеграммы. Над Бискайей, Азорскими и Бермудскими островами, Нью-Йорком и Мак-Сити пролился дождь телеграмм. По мрачным штольням под морским дном прошла живительная струя. Аллан снова взял руль в свои руки.

4

Первый визит Аллана был к Хобби.

Вилла Хобби находилась немного в стороне от Мак-Сити. Она была вся окружена лоджиями, балконами, террасами я примыкала к молодой дубовой роще.

Никто не открыл Аллану, когда он позвонил. Звонок, по-видимому, не действовал. Дом казался давно покинутым. Но все окна были открыты настежь. Садовая калитка тоже была заперта, и Аллан, недолго думая, перелез через забор. Едва он очутился в саду, как примчалась овчарка и остановила его своим неистовым лаем. Аллан успокоил собаку, и она в конце концов, не отрывая от него глаз, пропустила его. На дорожках валялись увядшие дубовые листья, сад был так же запущен, как и вилла. Хобби, очевидно, не было дома.

Тем больше были радость и удивление Аллана, когда он вдруг увидел Хобби. Он сидел на ступеньках, ведущих в сад, подперев подбородок рукой, погруженный в думы. Казалось, он не слышал даже поднятого собакой лая.

Хобби, по обыкновению, был одет элегантно, но его костюм производил впечатление франтоватости: это была одежда молодого человека, надетая стариком. На Хобби было дорогое белье с цветными полосками, лакированные туфли с широкими подошвами и кокетливыми шелковыми бантами, желтые шелковые носки и серые брюки особого покроя с заглаженной складкой. Пиджака он не надел, хотя было довольно прохладно.

Он сидел в нормальной позе здорового человека, и Аллан обрадовался. Но когда Хобби посмотрел на него и Аллан увидел его больные, изменившиеся глаза и морщинистое, бледное, старческое лицо, он понял, что здоровье Хобби еще не восстановилось.

-- А вот и ты опять, Мак! -- сказал Хобби, не двигаясь с места и не протягивая Аллану руки. -- Где ты был?

Вокруг глаз и рта складки легли маленькими веерами. Он улыбнулся. Его голос все еще казался Аллану чужим и хриплым, хотя он ясно слышал в нем прежний голос Хобби.

-- Я был в Европе, Хобби! Как же ты поживаешь, дружище?

Хобби опять устремил взор вдаль.

-- Лучше, Мак! И проклятая голова опять стала немного работать!

-- Неужели ты живешь совсем один, Хобби?

-- Да, я выгнал слуг. Они слишком шумели.

Но теперь Хобби вдруг окончательно понял, что Аллан тут. Он встал, пожал ему руку и, казалось, обрадовался.

-- Войдем, Мак! Да, такова жизнь, вот видишь!

-- Что говорит врач?

-- Врач доволен. Терпение, говорит он, терпение!

-- Почему у тебя все окна открыты? Страшно дует, Хобби!

-- Я люблю сквозняк, Мак! -- ответил Хобби, неестественно улыбаясь.

Он дрожал всем телом, и его белые волосы развевались, пока он поднимался с Алланом в кабинет.

-- Я уже опять работаю, Мак! Ты увидишь. Это нечто замечательное!

И он подмигнул правым глазом, как будто подражая прежнему Хобби.

Он показал Маку несколько листков, покрытых спутанными дрожащими штрихами. Рисунки должны были изображать его новую собаку. Но они были не лучше детских. А кругом на стенах висели его же грандиозные проекты вокзалов, музеев, торговых домов, в которых видна была рука гения.

Аллан доставил ему удовольствие, похвалив рисунки.

-- Да, они действительно хороши, -- с гордостью сказал Хобби и дрожащими руками налил два бокала "Блэк энд уайт".

-- Я опять начинаю работать, Мак! Только я быстро устаю. Скоро ты увидишь птиц. Птицы!.. Когда я спокойно сижу, в голове моей проносятся самые странные птицы -- миллионы птиц, и все движутся. Пей, друг мой! Пей, пей, пей!

Хобби опустился в потертое кожаное кресло и зевнул.

-- А Мод была с тобой в Европе? -- внезапно спросил он.

Аллан вздрогнул и побледнел. У него закружилась голова.

-- Мод? -- шепотом повторил он, и это имя странно прозвучало в его ушах, словно его не следовало произносить.

Хобби моргал, напряженно о чем-то думая. Потом он встал и спросил:

-- Хочешь еще виски?

Аллан отрицательно покачал головой:

-- Спасибо, Хобби! Я днем не пью.

Тусклым взором смотрел он сквозь осеннюю листву деревьев на море. Маленький черный пароход медленно шел к югу. Аллан машинально заметил, что пароход вдруг остановился в развилине двух веток и больше не трогается с места.

Хобби опять сел, и они долго молчали. Ветер гулял по комнате и срывал листья с деревьев. Над дюнами и морем, пробуждая чувство беспомощности и вечно новой муки, пробегали одна за другой быстрые тени облаков.

Потом Хобби заговорил опять.

-- Так вот бывает теперь с моей головой, -- сказал он, -- ты видишь? Я, конечно, знаю все, что произошло, но подчас мои мысли путаются. Мод, бедная Мод! А кстати, ты слышал, что доктор Херц взлетел на воздух? Со всей своей лабораторией. Взрыв пробил большую яму среди улицы и погубил еще тринадцать человек.

Доктор Херц был химик, работавший над взрывчатыми веществами для туннеля. Аллан услышал об атом несчастье еще на пароходе.

-- Жаль! -- прибавил Хобби. -- Новый состав, над которым он работал, был, вероятно, неплох! -- И он спокойно улыбнулся. -- Очень жаль.

Аллан заговорил об овчарке Хобби, и тот некоторое время следил за разговором. Потом он перескочил на другую тему.

-- Какая прелестная женщина была Мод! -- сказал он без всякой связи с предыдущим. -- Совсем ребенок! А вместе с тем она делала вид, что умнее всех других. Последние годы она была не особенно довольна тобой.

Аллан, погруженный в свои мысли, гладил собаку Хобби.

-- Я это знаю, Хобби, -- сказал он.

-- Да, она иногда жаловалась, что ты оставляешь ее одну. Я ей говорил: "Видишь ли, Мод, иначе никак нельзя". А однажды мы поцеловались. Я помню это очень хорошо. Сперва мы играли в теннис, потом Мод стала спрашивать всякую всячину. Боже, как ясно я слышу сейчас ее голос! Она назвала меня Франком...

Аллан впился глазами в Хобби. Но ни о чем не спросил. Хобби смотрел вдаль, и взгляд его был страшен.

Вскоре Аллан поднялся. Хобби проводил его до калитки сада.

-- Ну, как, Хобби, не хочешь ли ехать со мной?

-- Куда?

-- В туннель.

Хобби изменился в лице, у него задергались щеки.

-- Нет, нет... -- робко ответил он, неуверенно оглядываясь.

И Аллан, видя, что Хобби дрожит всем телом, пожалел о своем вопросе.

-- Прощай, Хобби, завтра я зайду опять!

Хобби стоял у садовой калитки, понурив голову, бледный, с воспаленными глазами. Ветер играл его седыми волосами. Желтые засохшие дубовые листья кружились у его ног. Когда собака проводила Аллана яростным лаем. Хобби засмеялся больным детским смехом, который еще вечером звенел в ушах Аллана.

Аллан сразу же возобновил переговоры с рабочим союзом. Ему казалось, что теперь союз более склонен к соглашению. И действительно, союз не мог дольше держать туннель под бойкотом. Освободилось много рабочих рук на фермах, с наступлением зимы тысячи людей прибывали с Запада в поисках работы. Прошлой зимой союз раздал безработным огромные суммы, а этой зимой пришлось бы затратить еще больше. С тех пор как работа в туннеле прекратилась, в рудниках, на металлургических и машиностроительных заводах произошло неслыханное сокращение производства, и целая армия людей оказалась выброшенной на улицу. Вследствие большого предложения рабочей силы заработная плата сильно упала, и даже обеспеченные работой еле сводили концы с концами.

Союз устраивал митинги, созывал собрания, и Аллан говорил в Нью-Йорке, Цинциннати, Чикаго, Питтсбурге и Буффало. Он был настойчив и неутомим. На трибуне его голос гремел по-прежнему, и кулак его мощно рассекал воздух. Теперь, когда его стойкая натура опять взяла свое, к нему вернулось и прежнее могущество. Снова пресса трубила его имя. Дело обстояло благоприятно. Аллан надеялся возобновить работу в ноябре, самое позднее -- в декабре.

Но тут, совершенно неожиданно для Аллана, над синдикатом разразилась новая гроза. Гроза, последствия которой были разрушительнее октябрьской катастрофы.

В гигантском здании финансов синдиката послышалось зловещее потрескивание...

5

С.Вульф с прежней важностью проезжал по Бродвею в своей пятидесятисильной машине. Как и прежде, ровно в одиннадцать часов он появлялся в клубе, садился за покер и выпивал свою чашку кофе. Он хорошо знал, с какой подозрительностью встречает общество всякую перемену в образе жизни, и поэтому внешне продолжал тщательно играть ту же роль.

Но это был уже не прежний Вульф. У него были заботы, с которыми ему приходилось справляться самому. Это было не легко! Его уже не удовлетворял отдых за ужином с одной из своих "племянниц" и "богинь". Владевшее им

нервное напряжение требовало оргий, излишеств, цыганской музыки и танцовщиц -- до одурения. Ночью, когда он в постели дрожал от утомления, его мозг пылал. Дошло до того, что он каждый вечер одурманивал себя крепким вином, чтобы заснуть.

С.Вульф был хороший хозяин. Его огромных доходов было вполне достаточно для покрытия самых экстравагантных трат. Не в этом было дело. Но два года назад он попал в водоворот совсем иного характера и, несмотря на то что он пустил в ход все свое умение, чтобы выплыть и добраться до тихой воды, он с каждым месяцем приближался к засасывавшей его пучине.

В лохматой буйволовой голове С.Вульфа родилась наполеоновская мысль. Он забавлялся этой мыслью, он ухаживал за ней, как влюбленный. Он ее лелеял и растил, для собственного удовольствия, в часы досуга. Мысль, фантом из дыма, вырастала, как джин из бутылки, которую нашел арабский рыбак. С.Вульф мог приказать ей вползти назад в бутылку, мог носить ее с собой в жилетном кармане. Но в один прекрасный день джин сказал: "Стой!" Джин достиг своего нормального роста, он стоял как небоскреб, сверкал глазами, гремел и больше не желал заползать в бутылку.

С.Вульф должен был принять решение!

С.Вульфу было плевать на деньги. Давно прошли те жалкие времена, когда деньги сами по себе имели для него значение. Теперь он мог черпать их из уличной грязи, из воздуха. Миллионными трудами лежали они в его мозгу, надо было только протянуть за ними руку. Без имени, без, гроша в кармане, когда-то он обещал себе за год добиться состояния. Деньги -- чепуха! Средство для достижения цели. С.Вульф был спутником, вращавшимся вокруг Аллана. Он хотел стать центром, вокруг которого вращались бы другие. Цель была достойная, возвышенная, и С.Вульф решился.

Почему бы ему не поступить так же, как поступали эти Ллойды и другие "великие державы"? Это, в сущности, то же самое, что сделал молодой С.Вольфзон двадцать лет назад, когда, поставив все на карту, он элегантно оделся, истратил тридцать марок на искусственные зубы и отплыл в Англию. Им управлял закон, заставлявший его через известные промежутки времени действовать одинаково.

С.Вульф перерос в этот момент самого себя, демон заставлял его прыгнуть выше головы.

Его план был готов, выгравирован в мозгу, четкий, незримый для других. За десять лет он создаст новую великую державу, великую державу по имени "С.Вульф". За десять лет великая держава "С.Вульф" аннексирует туннель.

И С.Вульф принялся за работу.

Он сделал то, что делали тысячи людей до него, но никто еще не делал этого в таких грандиозных масштабах! Он рассчитал, что для достижения цели ему нужно пятьдесят миллионов долларов. Он действовал смело, рассудительно, не страдая от угрызений совести и предубеждений.

Он спекулировал за собственный счет, хотя по договору это было ему категорически запрещено. Ну что ж, договор был клочком бумаги, мертвым и ничтожным, и этот пункт был вставлен великими державами нарочно, чтобы связать его по рукам. С.Вульф не обращал на него внимания. Он скупил весь хлопок Южной Флориды, продал его неделю спустя и заработал два миллиона долларов. Имея в тылу синдикат, С.Вульф обделывал свои дела, не трогая ни одного синдикатского доллара. За один год он отложил пять миллионов. Эти пять миллионов он повел сомкнутым строем в наступление на вест-индский табак. Но циклон уничтожил табачные плантации, и из пяти миллионов вернулся только жалкий отряд калек. С.Вульф не отказался от борьбы. Он опять вернулся к хлопку, и хлопок остался ему верен. Он выиграл. У него пошла счастливая полоса, он выигрывал все больше и давал блестящие сражения. Но неожиданно он попал в засаду. Окруженная им медь побила его. Обнаружились неизвестные ему запасы меди, напавшие на него с тылу и наголову разбившие его. Он потерял много крови и был вынужден сделать заем из синдикатских резервов. Водоворот захватил его. С.Вульф плыл, набрав в легкие побольше воздуха, но водоворот засасывал его. С.Вульф плавал изумительно, но не мог сдвинуться с места. Бросая взгляд назад, он должен был констатировать, что скользит в бездну. С.Вульф делал отчаянные усилия, он клялся обязательно передохнуть и воздержаться от дальнейших авантюр, если только доберется до тихой воды.

Таковы были заботы С.Вульфа, от которых никто не мог его освободить.

В прошлом году ему еще удалось выколдовать удовлетворительный баланс. Пока он еще пользовался полным доверием синдиката.

Времена стояли плохие. Октябрьская катастрофа опустошила рынок, и С.Вульф седел, думая о грядущем январе.

Дело шло о жизни и смерти.

Денег! Денег! Денег!

Ему не хватало трех или четырех миллионов долларов. Пустяк, собственно говоря. Два-три удачных хода -- и у него опять была бы почва под ногами.

Дело было серьезное, и С.Вульф защищался героически.

Для начала он бросился в менее опасную, партизанскую войну, но, когда подошло лето и оказалось, что завоевания идут слишком медленно, он был вынужден принять серьезный бой. С.Вульф без колебаний пошел в огонь. Он еще раз связался с хлопком, а заодно наложил руку и на олово. Если эти гигантские спекуляции удадутся хотя бы отчасти, он будет спасен.

Месяцами он жил в спальных вагонах и пароходных каютах.

Он объездил Европу и Россию, выискивая позиции, которые стоило бы штурмовать. Свои личные расходы он по возможности сократил. Больше не было ни экстренных поездов, ни салон-вагонов, С.Вульф довольствовался обычным купе первого класса. В Лондоне и Париже он расстался со своими королевами, поглощавшими большие

суммы. Они отстаивали свои крепости с пеной на побледневших губах. Но они не подумали о том, что боролись с С.Вульфом, предвидевшим весь прошлый год наступление момента, когда ему придется расстаться со своим двором, и уже несколько месяцев назад отдавшим своих богинь под надзор детективов. Великолепно разыгрывая возмущение, он доказывал им, что десятого мая, пятнадцатого мая, шестнадцатого мая -- в такой-то и такой-то день -- они с господином Иксом и Игреком были там-то и там-то в "увеселительных поездках". С помощью фонографа он воспроизводил перед перепуганными дамами все разговоры, которые они вели. Показывал им, что пол и потолок были просверлены и что у каждого отверстия день и ночь дежурили чей-нибудь глаз и чье-нибудь ухо. Королевы бились в сердечных припадках. Потом он выбрасывал их за дверь.

Он носился, словно бог мести, по Европе, увольняя своих полководцев и агентов.

Он продал рудники в Вестфалии и металлургические заводы в Бельгии, он брал, где только это было возможно, свои Деньги из предприятий тяжелой промышленности и превращал их в другие ценности, сулившие большие шансы. С грубой бесцеремонностью он расправлялся с земельными спекулянтами в Лондоне, Париже и Берлине, закупившими землю в Бискайе и на Азорских островах и просрочившими, в связи с кризисом, платежи. Их постигло разорение. Ряд мелких банков лопнул. С.Вульф не знал пощады, он боролся за свое существование. Раздав трехмиллионные "чаевые" петербургским чиновникам, он получил в Северной Сибири лесную концессию стомиллионной ценности, приносившую двадцать процентов дохода. Он преобразовал предприятие в акционерное общество и оттянул половину синдикатского капитала, но обставил это так ловко, что синдикат в дальнейшем сохранил почти тот же доход. Его манипуляции были на граня законности, но на крайний случай "чаевые" были у него наготове. Он добывал деньги, где только мог.

Человек, подобный С.Вульфу, непрестанно напрягая все свои знания, весь свой опыт, все же мог полагаться только на свой инстинкт. Как математик заблудился бы в лесу сложных формул, если бы допустил мысль, что вначале им сделана ошибка, так и человек, подобный С.Вульфу, мог действовать только в убеждении, что все сделанное им и есть самое правильное. С.Вульф следовал своему инстинкту. Он глубоко верил в победу.

Гонка по Европе не оставляла ему времени для других дел. Но он не мог заставить себя вернуться в Америку, не повидав отца. Он устроил трехдневное празднество, в котором приняло участие все население Сентеша. Здесь, на родине, в том самом венгерском местечке, где когда-то бедная женщина родила его на свет, его настигли первые тревожные известия.

Некоторые из его более мелких спекуляций не удались, форпосты его армии были разбиты. Первую телеграмму он равнодушно сунул в карман своих широких американских брюк. После второй он вдруг перестал слышать пение, как будто он на некоторое время оглох. После третьей он велел заложить лошадей и немедленно уехал на вокзал. Он не обращал внимания на палимый солнцем, хорошо знакомый ландшафт, его взор проникал вдаль, видел Нью-Йорк, лицо Мака Аллана!

В Будапеште его ожидала новая горькая весть: играть на повышение хлопка больше нельзя было без огромных потерь, и агент справлялся, должен ли он продавать. С.Вульф медлил. Он колебался. Но не от раздумья, а от неуверенности. Еще три дня назад он мог бы снять миллионы на этом хлопке и все же не продал ни одного тюка. Почему? Он знал хлопок, он три года работал только с хлопком. Он знал рынок -- Ливерпуль, Чикаго, Нью-Йорк, Роттердам, Нью-Орлеан, -- знал каждого отдельного маклера. Он знал закон курсов, ежедневно окунался в гущу биржевых цифр, своим тонким слухом улавливал голоса во всем мире и ежедневно получал несметное множество летящих по воздуху беспроволочных телеграмм, которые может принять и прочесть лишь тот, кто умеет разобрать их шифр. Он был подобен сейсмографу, записывающему малейшие сотрясения, и регистрировал всякое колебание рынка.

Из Будапешта он помчался экспрессом в Париж и лишь из Вены дал ливерпульскому агенту приказ продать хлопок. Он терял много крови -- это была взорванная крепость! -- но у него вдруг не хватило мужества рискнуть всем.

Через час он пожалел об этом приказе, но не решался отменить его. В первый раз за всю деятельность он не доверился своему инстинкту.

Он чувствовал себя усталым, ослабевшим, как после оргии, не мог принять решения и чего-то ждал. Ему казалось, что расслабляющий яд проник в его кровь. Его тревожили дурные предчувствия. Время от времени его слегка лихорадило. Он задремал, но скоро очнулся. Ему снилось, что он говорит по телефону из своей конторы с представителями больших городов и все, один за другим, повторяют ему, что все погибло. Он проснулся, когда голоса слились в жалобный хор, предрекавший несчастье. Но то, что он слышал, было только шумом поезда, тормозившего на кривой. Он сел и стал глядеть на холодный свет лампочки, ввинченной в потолок купе. Потом взял свою записную книжку и стал вычислять. Во время подсчета он почувствовал какое-то оцепенение в ногах, в руках, подкрадывавшееся к сердцу: он не решился выразить в голых цифрах ливерпульские потери.

"Я не должен продавать! -- сказал он себе. -- Я протелеграфирую, как только остановится поезд. Почему у этих дикарей нет телефона в поезде? Если я теперь продам, я погиб -- разве только олово даст не меньше сорока процентов, но это невозможно! Я должен все поставить на карту, это последняя надежда!"

Он говорил по-венгерски! И это было странно, так как он привык вести деловые разговоры на английском языке, наиболее удобном в общении между коммерсантами.

Но когда поезд вдруг остановился, какое-то остолбенение удержало Вульфа на диване. Он думал о том, что вся его армия со всеми резервами находилась под огнем. И он не верил в успех этого сражения, нет! Голова его была полна цифрами. Куда бы ни упал его взор, всюду он видел семи- и восьмизначные числа, столбцы цифр, итоги

невероятной длины. Эти цифры были аккуратно отпечатаны, холодны, вырезаны из железа. Они возникали сами собой, неожиданно изменялись, самовольно перескакивали из дебета в кредит или внезапно исчезали, словно угаснув. Дикий калейдоскоп, в котором шуршали цифры. Они звенели, как чешуйчатый панцирь, то еле заметные, то огромные, одинокие и мрачные, зловеще тлеющие в пустом темном пространстве. Он обливался холодным потом и боялся сойти с ума. Ярость цифр была так страшна, так жестока, что он заплакал от беспомощности.

Затравленный цифрами до полусмерти, Вольф приехал в Париж. Лишь через несколько дней ему стало немножко легче. Он чувствовал себя человеком, внезапно потерявшим на улице сознание и, хотя он быстро оправился, с грустью вспоминающим об этом признаке упадка.

Через неделю он убедился, что инстинкт его не обманул.

Игра на повышение хлопка перешла в другие руки, как только он сдал свои позиции. Ее вел дальше консорциум, продержавший товар неделю и продавший его с миллионным барышом.

С.Вульф кипел от ярости! Если бы он послушался своего инстинкта, он стоял бы теперь на твердой почве!

Это была его первая большая ошибка. Но в ближайшие же дни он сделал вторую. Он слишком долго продержал олово. Прождал лишних три дня и потом продал. Он все-таки заработал, но тремя днями раньше заработок был бы вдвое больше: не двенадцать процентов, а двадцать пять. Двадцать пять! Земля открылась бы его взору. Лицо С.Вульфа посерело.

Как это произошло, что он стал делать ошибку за ошибкой? Хлопок он продал на неделю раньше, чем нужно было, олово -- на три дня позже! Он потерял уверенность в себе, и в этом было все дело. Руки С.Вульфа беспрестанно покрывались потом и дрожали. На улице у него иногда начиналось головокружение, его охватывала внезапная слабость, и часто он боялся перейти через площадь.

Стоял октябрь. Было как раз десятое число, годовщина катастрофы. У Вульфа оставалось три месяца времени, и в этом еще была некоторая надежда на спасение. Но он должен был несколько дней отдохнуть и прийти в себя. Он отправился в Сан-Себастьян.

Но ровно через три дня, когда его состояние уже настолько улучшилось, что он начал интересоваться дамами, пришла телеграмма от Аллана: его личное присутствие необходимо в Нью-Йорке, Аллан ждет его со следующим пароходом.

С.Вульф уехал ближайшим поездом.

6

Однажды в октябре, к великому удивлению Аллана, ему доложили, что его хочет видеть Этель Ллойд.

Она вошла и быстрым взглядом окинула комнату.

-- Вы одни, Аллан? -- улыбаясь спросила она.

-- Да, мисс Ллойд, совершенно один.

-- Это хорошо! -- Этель тихо засмеялась. -- Не пугайтесь, я не шантажистка. Меня прислал к вам отец. Вот письмо, которое он просил вам передать с глазу на глаз.

Она вынула из кармана пальто письмо.

-- Конечно, это немного странно, -- с живостью продолжала Этель, -- но у папы есть свои причуды.

Она принялась болтать весело, как обычно, без всякого стеснения и втянула Аллана, очень скупого на слова, в беседу, которую вела почти одна.

-- Вы были в Европе? -- спросила она. -- А мы этим летом проделали замечательную поездку. Нас было пятеро -- двое мужчин и три дамы. Мы поехали в цыганском фургоне до Канады. Все время были на свежем воздухе. Спали под открытым небом и сами готовили, это было чудесно! Мы захватили с собой палатку и маленькую лодку, которая помещалась на крыше фургона... А это, вероятно, проекты?..

С присущей ей непринужденностью она осмотрела помещение, сохраняя задумчивую улыбку на красивых, ярко накрашенных губах (такова была мода). На ней было шелковое пальто цвета сливы, маленькая круглая шляпа, чуть светлее, с которой свисало до плеча серовато-голубое страусовое перо. Бледный серовато-голубой тон ее костюма оттенял синеву глаз. Они напоминали цветом темную сталь.

Кабинет Аллана поражал будничностью своей обстановки. Потертый ковер, два-три кожаных кресла, без которых, видно, нельзя обойтись, несгораемый шкаф. Несколько рабочих столов с кипами записок, прижатых образцами стали. Этажерки со свертками и папками. Груда бумаг, как будто без толку разбросанных по кабинету. Стены большой комнаты были покрыты огромными планами, изображавшими отдельные строительные участки. Тонко нанесенные отметки морских глубин и проведенная тушью кривая туннельной трассы делали их похожими на чертежи висячих мостов.

Этель улыбнулась.

-- Какой у вас порядок! -- сказала она.

Обыденность помещения ее не разочаровала. Она вспомнила бюро своего отца, вся обстановка которого состояла из письменного стола, кресла, телефона и плевательницы.

Она заглянула Аллану в глаза.

-- Мне кажется, Аллан, такой интересной работы, как ваша, еще никогда не вел ни один человек! -- сказала она с искренним восхищением.

Вдруг она вскочила и восторженно захлопала в ладоши.

-- Боже, что это? -- изумленно воскликнула она.

Ее взор случайно упал через окно на лежавший внизу Нью-Йорк.

С тысячи плоских крыш тянулись к нему прямые, как свечи, тонкие белые столбы пара. Нью-Йорк работал, Нью-Йорк стоял под парами, как машина. Сверкали окнами фасады столпившихся домов-башен. Глубоко внизу, в тени ущелья Бродвея, ползали муравьи, точки и крохотные тележки. Сверху кварталы домов, улицы и дворы были похожи на ячейки, на соты улья, и невольно в голову приходила мысль, что люди построили эти ячейки, побуждаемые тем же животным инстинктом, что и пчелы, создающие соты. Между двумя группами белых небоскребов виднелся Гудзон, и по нему двигался крошечный пароходик, игрушка с четырьмя трубами, океанский гигант в пятьдесят тысяч тонн.

-- О, какая красота! -- без конца повторяла Этель.

-- Разве вы никогда не видели Нью-Йорка с высоты?

Этель кивнула.

-- Видела, -- сказала она. -- Я не раз летала над городом с Вандерштифтом. Но в аэроплане такой ветер, что надо все время придерживать вуаль, и ничего не видишь.

Этель говорила просто и естественно, и все ее существо излучало откровенность и сердечность. И Аллан спрашивал себя, почему в ее присутствии он всегда чувствовал какое-то стеснение. Он не мог непринужденно беседовать с ней. Может быть, его раздражал ее голос. Собственно говоря, в Америке существуют только два типа женских голосов: мягкий, звучащий глубоко в гортани (так говорила Мод), и резкий, слегка носовой, который кажется дерзким и навязчивым, -- такой голос был у Этель.

Вскоре Этель собралась уходить. Обернувшись в дверях, она спросила Аллана, не примет ли он участие в небольшой прогулке на ее яхте.

-- Мне предстоят сейчас серьезные переговоры, которые отнимут все мое время, -- сказал Аллан, распечатывая письмо Ллойда.

-- Ну, в другой раз! Good bye! [До свидания! (англ.)] -- весело простилась Этель и ушла.

Письмо Ллойда содержало всего несколько слов: "Следите за С.В.". Оно было без подписи.

С.В. означало С.Вульф. У Аллана зашумело в ушах.

Если Ллойд предупреждал, значит у него были серьезные основания! Инстинкт ли Ллойда зародил в нем подозрение? Или его шпионы?

Зловещее предчувствие овладело Алланом. Денежные дела не были его специальностью, и он никогда не интересовался ведомством С.Вульфа. Это было дело административного совета, и все шло эти годы великолепно.

Он тотчас же пригласил к себе Расмуссена, заместителя С.Вульфа. Не придавая этому с виду особого значения, он попросил составить комиссию, которая совместно с ним самим и Расмуссеном выяснила бы точное финансовое положение синдиката в настоящий момент. Аллан сказал, что собирается скоро возобновить работы и хотел бы знать, какими суммами можно располагать в ближайшее время.

Расмуссен был благовоспитанный швед, который за время двадцатилетнего пребывания в Америке не растерял европейских навыков вежливости.

Он поклонился и спросил:

-- Вы хотели бы, чтобы комиссия была составлена еще сегодня, мистер Аллан?

Аллан покачал головой:

-- Это не так спешно, Расмуссен! Скажем, завтра утром. Вам удастся сделать выбор до завтра?

-- Конечно! -- улыбнулся Расмуссен.

В этот вечер Аллан успешно выступал на собрании делегатов рабочего союза.

В этот вечер Расмуссен застрелился.

Аллан побледнел, узнав об этом. Он тотчас же потребовал приезда С.Вульфа и назначил тайную ревизию. Телеграф работал день и ночь. Ревизия наткнулась на непроницаемый хаос. Оказалось, что растраты, размеры которых сейчас еще невозможно было установить, скрывались неверными записями в книгах и изощренными комбинациями. Кто был ответствен за это -- Расмуссен, С.Вульф или другие, -- сразу нельзя было определить. Ревизия установила, что последний баланс С.Вульфа был представлен в прикрашенном виде, а в запасном капитале обнаружилась недостача в шесть или семь миллионов долларов.

7

С.Вульф плыл по океану, не подозревая, что его сопровождают два сыщика.

Он пришел к убеждению, что лучше всего осведомить Аллана о потерях. Но он прибавит к своему сообщению, что эти потери, за исключением какой-нибудь пустячной суммы, покроются другими выгодными сделками. Он почувствовал некоторое облегчение. Однако, когда по радиотелеграфу он узнал о самоубийстве Расмуссена, его охватил ужас. Он посылал телеграмму за телеграммой в Нью-Йорк. Он заявил, что отвечает за Расмуссена и сейчас же назначит ревизию. Аллан ответил, чтобы он больше не телеграфировал, а немедленно по приезде явился к нему.

С.Вульф не подозревал, что над ним уже занесен нож. Он все еще надеялся, что сам будет руководить ревизией и найдет выход из положения. Может быть, в смерти Расмуссена его, С.Вульфа, спасение!.. Он был готов на все, лишь бы выйти сухим из воды. Если понадобится, он пойдет даже на подлость. Свой грех по отношению к Расмуссену он сумеет загладить помощью его семье...

Едва пароход пришвартовался в Хобокене, как Вульф уже помчался в своем автомобиле на Уолл-стрит. Он тотчас же велел доложить о себе Аллану.

Аллан заставил его ждать -- пять минут, десять минут, четверть часа. Вульф был поражен. И с каждой минутой мужество, которое он старательно поддерживал в себе, испарялось. Когда наконец Аллан принял его, он скрыл свою пошатнувшуюся уверенность за астматическим пыхтением, которое казалось у него совершенно естественным.

Он вошел, сдвинув котелок на затылок, с сигарой во рту, и еще в дверях заговорил.

-- Однако, надо сознаться, вы заставляете ждать своих посетителей, господин Аллан! -- с упреком пробасил он, смеясь, и снял шляпу, чтобы вытереть пот со лба. -- Как живете?

Аллан встал.

-- Вот и вы, Вульф! -- спокойно сказал он своим обычным голосом и стал что-то разыскивать глазами на письменном столе.

Тон Аллана снова ободрил Вульфа, Ему померещился проблеск света, но дрожь, словно от прикосновения холодного ножа, пробежала у него по спине, когда он услышал, что Аллан назвал его "Вульф", а не "господин Вульф". Это фамильярность когда-то была одним из самых затаенных его желаний, теперь же она ему показалась дурным признаком.

Кряхтя опустился он в кресло, откусил кончик новой сигары, так что стукнули зубы, и зажег ее.

-- Что вы скажете о самоубийстве Расмуссена, господин Аллан? -- начал он тяжело дыша и, помахав спичкой, пока она не погасла, бросил ее на пол. -- Исключительно одаренный человек! Жаль его! Ей-богу, он мог заварить нам здоровую кашу! Как я уже телеграфировал, за Расмуссена я отвечаю!

Он умолк, почувствовав на себе взгляд Аллана. Этот взгляд был холоден -- и только. Он был лишен человеческого участия, человеческого интереса, он оскорблял и заставил С.Вульфа умолкнуть.

-- Расмуссен -- особая статья, -- деловым тоном возразил Аллан и взял со стола кипу телеграмм. -- Не будем ходить вокруг да около и поговорим о вас, Вульф!

Словно ледяной ветер дохнул на Вульфа.

Он подался вперед, пошевелил губами и кивнул, как человек, понимающий справедливость выраженного ему порицания и сознающийся в своей неудаче. Глубоко вздохнув, он устремил на Аллана серьезный, пылающий взор.

-- Я вам уже телеграфировал, господин Аллан, что на этот раз мне не повезло. Хлопок я продал на неделю раньше, чем следовало, потому что был одурачен своим агентом, совершеннейшим идиотом. Олово я продал слишком поздно. Я сожалею об этих потерях, но их можно возместить. Признаваться в собственной глупости -- слабое удовольствие, поверьте мне! -- закончил он, вздохнув, потом, кряхтя, выпрямился в кресле и тихо засмеялся.

Но смех, самобичующий и молящий о снисхождении, ему не удался.

Аллан сделал нетерпеливое движение головой. Он кипел от гнева и возмущения. Быть может, Аллан ни к кому не питал такой ненависти, как сейчас к этому волосатому астматику, человеку чуждой ему породы. Теперь, через год, злосчастно потерянный год, когда, наконец, он с крайним напряжением снова поставил дело на солидные рельсы, должен же был опять все погубить этот преступный биржевой маклак. У Аллана не было оснований нежничать, и он расправился с виновным быстро и беспощадно.

-- Не в этом дело, -- заговорил он по-прежнему спокойным тоном, и только ноздри его раздувались. -- Синдикат, ни минуты не медля, поддержал бы вас, если бы вы потерпели убытки, служа его интересам. Но, -- Аллан выпрямился над письменным столом, о который он упирался, и посмотрел на Вульфа глазами, сверкавшими сдержанным бешенством, -- ваш прошлогодний баланс был обманом, сударь! Обманом! Вы спекулировали за собственный счет и растратили семь миллионов долларов!

С.Вульф упал как подкошенный. Он стал серым как земля. Черты его лица помертвели. Задыхаясь, он схватился жирной рукой за сердце. Его рот растерянно и нелепо открылся, и налитые кровью глаза готовы были выскочить из орбит.

Аллан менялся в лице. Он попеременно краснел и бледнел от усилий сохранить самообладание. С прежним спокойствием и с той же холодностью он добавил:

-- Убедитесь сами.

И он небрежным жестом бросил к ногам Вульфа кучку телеграмм, которые разлетелись по полу.

С.Вульф, сидя в кресле, старался отдышаться. Почва провалилась под ним, его ноги стали мягкими, как вата, хриплое дыхание отдавалось в ушах, как шум водопада. Он был так ошеломлен, так оглушен этим падением с высоты своего величия, что остался равнодушен к оскорбительному жесту Аллана, презрительно бросившего ему телеграммы. Серые веки, как крышки, опустились на глаза. Он ничего не видел. Вокруг был мрак, кружащийся мрак. Он думал, что умрет, призывал смерть... Потом пришел в себя и начал понимать, что нет такой лжи, которая могла бы его спасти.

-- Аллан?.. -- пробормотал он.

Аллан молчал.

С.Вульф снова окунулся в водоворот, вынырнул, кряхтя, и наконец открыл глаза, впалые, как у давно уснувших, загнивших рыб. Тяжело дыша, он выпрямился.

-- Наше положение было отчаянным, Аллан, -- пробормотал он, и его грудь вздымалась толчками от недостатка воздуха, -- я хотел добыть денег, во что бы то ни стало...

Аллан, возмущенный, вскочил. Право на ложь имеет каждый отчаивающийся. Но он не испытывал никакой жалости к этому человеку, _никакой_! Он был полон ненависти и гнева. Он торопился покончить скорее и избавиться от него! Его губы побледнели от волнения, когда он ответил:

-- Вы держали в будапештском банке полтора миллиона на имя Вольфзона, в Петербурге -- миллион, а в Лондоне и в бельгийских банках -- иногда два, три миллиона. Вы вели дела за свой счет и в конце концов сломали себе шею. Я даю вам сроку до завтра, до шести часов вечера. Ни минутой раньше, ни минутой позже я велю вас арестовать.

Шатаясь, желтый, как труп, Вульф поднялся, готовый из чувства самосохранения броситься на Аллана. Но он не мог шевельнуть рукой. Он не двигался с места и дрожал всем телом. Вдруг на несколько секунд к нему вернулось полное сознание. Он стоял, тяжело дыша, с каплями пота на бледном лице, с опущенными глазами. Его взор машинально остановился на названиях ряда европейских банков, обозначенных на телеграммах. Не признаться ли Аллану, почему он пустился на эти спекуляции? Не растолковать ли ему свои побуждения? Не объяснить ли, что не в _деньгах_ для него дело? Но Аллан слишком прост, слишком примитивен, чтобы понять людей, стремящихся к могуществу, -- Аллан, который сам обладал им, никогда его не добиваясь, не понимая, не ценя его, получив его с такой простотой... У этого конструктора машин были каких-нибудь три мысли в голове, он никогда не размышлял о мировых вопросах и ничего в них не понимал. Да если бы даже Аллан понял его, Вульф ударился бы лбом о гранитную стену, о стену узкого мещанского понятия о честности, которое имеет смысл в мелочах, но глупо в крупных делах. Он наткнется на эту стену и не прошибет ее. Аллан не станет его меньше презирать и проклинать. Аллан! Да, тот самый Аллан, у которого на совести пять тысяч человек, Аллан, взявший из народного кармана миллиарды без всякой уверенности, что сможет когда-нибудь исполнить свои обещания... Настанет и его час, он ему предсказывает это! Но этот человек сегодня судил его и считал себя вправе на это! Голова С.Вульфа отчаянно работала. Исход! Спасение! Шанс! Он вспомнил всем известное добродушие Аллана. Почему же он накинулся на него, С.Вульфа, как акула? Добродушие и милосердие -- разные вещи.

Этот отчаявшийся человек так углубился в свои думы, что на несколько секунд забыл обо всем окружающем. Он не слышал, что Аллан позвал слугу и приказал принести воды, так как господину Вульфу стало дурно. И чем больше он углублялся в свои мысли, тем безжизненнее и бледнее становился.

Он очнулся только тогда, когда кто-то потянул его за рукав и чей-то голос произнес:

-- Сэр?

Тогда он заметил Лайона, слугу Аллана, со стаканом воды в руках.

Он выпил весь стакан, глубоко вздохнул и взглянул на Аллана. Ему вдруг показалось, что дело не так уж безнадежно. Может быть, ему удастся смягчить сердце Аллана. И он глубоким голосом спокойно и сдержанно сказал:

-- Послушайте, Аллан, ведь вы не всерьез это сказали? Мы с вами работаем семь или восемь лет, я принес синдикату миллионы.

-- Это была ваша обязанность.

-- Конечно! Слушайте, Аллан, я сознаюсь, что сошел с рельсов. Меня не деньги прельщали. Я хочу вам объяснить, хочу вам изложить свои мотивы... Но вы, конечно, не всерьез сказали, Аллан! Это дело поправимо! И я единственный человек, который может привести все в порядок... С моим падением падет и синдикат...

Аллан знал, что С.Вульф говорил правду. Семь миллионов -- черт с ними, но _скандал_ будет катастрофой. Тем не менее он остался неумолим.

-- Это мое дело! -- возразил он.

Вульф покачал лохматой головой буйвола. Он не мог допустить, что Аллан действительно хочет отказаться от него, погубить его. Не может быть! И он еще раз осмелился заглянуть в глаза Мака. Но глаза говорили о том, что от этого человека нельзя было ждать ни снисхождения, ни милости. Ничего! Решительно ничего! Он вдруг осознал, что Аллан -- американец, американец _по рождению_, тогда как он только _сделался_ им, и Аллан был сильнее.

Слабая надежда, которой он тешил себя, была тщетна. Он погиб. И с новой силой он почувствовал свое несчастье.

-- Аллан! -- воскликнул он в полном отчаянии. -- Не может быть, чтобы вы этого хотели. Нет! Вы посылаете меня на смерть. Не может быть, чтобы вы этого хотели!

Он уже боролся не с Алланом, он боролся с судьбой. Но судьба выслала на фронт Аллана, холодного бойца, который не отступал.

-- Не может быть, чтобы вы этого хотели! -- повторял он без конца. -- Вы посылаете меня на смерть!

И он тряс кулаками перед лицом Аллана.

-- Я вам все сказал.

Аллан повернулся к двери. Лицо С.Вульфа покрылось холодным потом, как слизью, борода слиплась.

-- Я возмещу деньги, Аллан!.. -- закричал он. Его руки хватали воздух.

-- Tommy rot! [Чепуха! (англ.)] -- крикнул Аллан, уходя.

Вульф закрыл лицо руками и с глухим стуком, как раненый бык, упал на колени.

Хлопнула дверь. Аллан ушел.

По жирной спине С.Вульфа пробежала дрожь. Он поднялся почти без сознания. Его грудь сотрясало бесслезное рыдание. Он взял шляпу, провел рукой по фетру и медленно направился к двери.

Здесь он еще раз остановился. Аллан был в смежной комнате и услышал бы, если бы он его позвал. Он открыл рот, но звук застрял в горле. Все равно это ни к чему бы не привело!

Вульф ушел. Он скрипел зубами от злобы, унижения и горя. Слезы гнева выступили у него на глазах. О, как он ненавидел теперь Аллана! Он ненавидел его так яростно, что ощутил вкус крови на языке... Придет и час Аллана!

Мертвым человеком спустился он в лифте.

Он сел в автомобиль:

-- Риверсайд-драйв!

Шофер, бросив беглый взгляд на лицо своего хозяина, подумал: "А Вульф-то готов!"

Съежившийся, весь серый, с ввалившимися глазами, сидел Вульф в автомобиле, ничего не видя и не слыша. Он продрог от холодного пота и прятался в пальто, как улитка в раковину. Иногда он думал со злобным отвращением: "Он меня просто убил. Он меня зарезал!" Ни о чем другом он не мог думать.

Настала ночь, шофер остановился и спросил, не поехать ли домой.

С.Вульф с трудом пришел в себя и беззвучным голосом произнес:

-- На Сто десятую!

Это был адрес Рене, его теперешней любовницы. У него не было никого, с кем он мог бы поговорить: ни друга, ни приятеля, и он поехал к ней.

Вульф испугался, что выдал себя перед шофером, и постарался успокоиться. Перед домом Рене он вышел и своим обычным, равнодушным, немного надменным тоном процедил:

-- Ждать!

Но шофер подумал: "А все-таки ты готов!"

Рене ничем не показала, что рада его возвращению. Она дулась. Она делала вид, что ей смертельно скучно, что она несчастна. Она до такой степени была занята своей избалованной, заносчивой и упрямой особой, что его растерянность совсем не бросилась ей в глаза.

Вульф громко рассмеялся над таким избытком женского эгоизма. И этот смех, смешанный с большой дозой отчаяния, помог ему вернуться к тону, которым он обычно разговаривал с Рене. Он говорил с ней по-французски. И этот язык как будто преобразил его. На мгновения, на краткие мгновения он иногда забывал, что он уже мертвый человек. Он шутил с Рене, называл ее своим избалованным ребенком, своей сердитой куколкой, своей жемчужиной, игрушкой и влажным, холодным ртом запечатлел поцелуй на ее красивых, пухлых губах. Рене была женщина редкой красоты, светло-рыжая француженка, родом из Лилля, вывезенная Вульфом в прошлом году из Парижа. Он сочинил, что привез ей, из Парижа дивную шаль и великолепные перья, и Рене просияла. Она велела накрыть на стол и затараторила о своих заботах.

О, она ненавидела этот Нью-Йорк, ненавидела этих американцев, относящихся к дамам с величайшей почтительностью и с величайшим равнодушием. Она терпеть не могла сидеть в своей квартире и ждать. Oh, mon dieu! Oui [О господи! Да (франц.)], -- она предпочла бы остаться в Париже маленькой модисткой...

-- Может быть, ты скоро вернешься, Рене! -- сказал Вульф с улыбкой, которая засела в мозгу Рене за ее низким лбом.

За столом он не мог проглотить ни кусочка, но выпил много бургундского. Он пил без конца, голова у него горела, но он не пьянел.

-- Закажем музыку и танцовщиц, Рене! -- сказал он.

Рене позвонила в венгерский ресторан еврейского квартала, и через полчаса музыканты и танцовщицы явились.

Дирижер оркестра знал вкус Вульфа и захватил с собой молодую красавицу венгерку, только что приехавшую из венгерской провинции. Девушку звали Юлиской, и она тихим, едва слышным голосом спела народную песенку.

Вульф обещал труппе сто долларов с условием, что не будет ни секунды перерыва. Музыка и пение сменялись танцами, Вульф лежал в кресле, словно мертвый, лишь глаза его блестели. Он все время потягивал красное вино, и все-таки не пьянел. Рене, закутанная в роскошный платок цвета киновари, свернулась клубком в кресле, полузакрыв зеленоватые глаза, -- рыжая пантера. У нее все еще был скучающий вид. Именно ее неповторимое равнодушие и привлекло к ней Вульфа. Когда к ней приближались, она злилась, как идиотка, пока в ней не вспыхивало адское пламя.

Прекрасная молодая венгерка, которую привез догадливый дирижер, понравилась С.Вульфу. Он часто посматривал на нее, но она робко избегала его взгляда. Вскоре он подозвал дирижера и пошептался с ним. Через некоторое время Юлиска исчезла.

Ровно в одиннадцать часов он оставил Рене. Он подарил ей один из своих бриллиантовых перстней. Рене ласково коснулась губами его уха и шепотом спросила, почему он не остается. Он пустил в ход свою привычную отговорку -- ему нужно поработать. Рене нахмурила лоб и скорчила недовольную гримаску.

Юлиска уже ждала Вульфа в его квартире. Она вздрогнула, когда он прикоснулся к ней. Волосы у нее были каштановые и мягкие. Он налил ей стакан вина, и она, послушно пригубив, сказала:

-- За ваше здоровье, сударь!

Она исполнила его просьбу и спела свою грустную народную песенку таким же тихим, едва слышным голоском.

-- Ket lanya volt a falunak, -- пела она, -- ket viraga; mind a ketto ugy vagyott a boldogsagra... -- Две девушки жили в деревне, два цветка. Обе стремились к счастью. Одну повели под венец, другую отвезли на кладбище...

Сотни раз слышал С.Вульф в юности эту песенку. Но сегодня она его угнетала. Он слышал в ней всю безнадежность своего положения. Он сидел, пил, и слезы выступали у него на глазах и медленно катились по дряблым, восковым щекам. Он плакал от жалости к самому себе.

Через некоторое время он высморкался и тихим голосом ласково сказал:

-- Это ты хорошо спела. Что ты еще знаешь, Юлиска?

Она взглянула на него печальными карими глазами, напоминавшими глаза газели, и покачала головой.

-- Ничего, сударь, -- грустно прошептала она.

Вульф нервно засмеялся.

-- Это немного! -- сказал он. -- Послушай, Юлиска, я дам тебе тысячу долларов, но ты должна сделать то, что я тебе скажу.

-- Слушаюсь, сударь, -- покорно и боязливо сказала она.

-- Разденься, Юлиска! Пойди в соседнюю комнату.

Юлиска опустила голову:

-- Слушаюсь, сударь!

Пока она снимала одежду, С.Вульф неподвижно сидел в кресле, устремив взор в пространство. "Будь Мод Аллан жива, у меня была бы надежда!" -- подумал он. Он сидел, и горе мрачно стерегло его. Подняв глаза, он увидел, что Юлиска, раздетая, стоит у дверей, прикрываясь портьерой. Он совершенно забыл о ней.

-- Подойди ближе, Юлиска!

Юлиска приблизилась на шаг. Правой рукой она все еще держалась за портьеру, как будто не хотела сбросить последний покров.

С.Вульф смотрел на нее глазами знатока, и обнаженное тело девушки навело его на другие мысли. Хотя Юлиске еще не исполнилось семнадцати лет, она уже была маленькой женщиной. Ее бедра были шире, чем можно было предположить, когда она была одета. У нее были круглые ноги и небольшие упругие груди. Ее кожа была смуглая. Вся она казалась вылепленной из земли и высушенной на солнце.

-- Ты умеешь танцевать? -- спросил ее С.Вульф.

Юлиска покачала головой. Она не поднимала глаз.

-- Нет, сударь!

-- Ты никогда не танцевала во время сбора винограда?

-- Танцевала, сударь!

-- Ты танцевала чардаш?

-- Да, сударь!

-- Станцуй чардаш.

Юлиска беспомощно оглянулась. Она стала танцевать, больше из страха, чем ради высокой платы. Она неловко двигала руками и ногами. Раздетая, она не умела обращаться со своим телом. Она семенила, словно шла по осколкам. Ее глаза были полны слез, щеки горели от стыда. О, ее ноги, ее не совсем чистые ноги, куда бы их спрятать?

Она была великолепна. Много лет С.Вульф не видел такой трогательной стыдливости. Он не мог вдоволь насладиться ее видом.

-- Танцуй, Юлиска!

Откинув назад голову, Юлиска неловко подымала руки и ноги, а слезы капали ей на грудь. Она остановилась, дрожа.

-- Чего ты боишься, Юлиска?

-- Я не боюсь, сударь!

-- Ну так подойди ближе!

Юлиска приблизилась. "Теперь он это сделает", -- подумала она и вспомнила о деньгах.

Но С.Вульф этого не сделал. Он посадил ее к себе на колени:

-- Не бойся и посмотри на меня!

Она посмотрела на него трепещущим и жгучим взглядом. С.Вульф поцеловал ее в щеку. Он притянул ее в приливе отеческой нежности, и слезы навернулись у него на глаза.

-- Что ты собираешься делать в Нью-Йорке?

-- Я не знаю.

-- Кто тебя привез сюда?

-- Мой брат. Но он уехал на Запад.

-- Что же ты теперь делаешь?

-- Я пою с Дьюлой.

-- Брось Дьюлу и не пой с ним больше. Он негодяй. Да ты и петь не умеешь!

-- Да, сударь!

-- Я дам тебе денег, а ты сделай то, что я тебе скажу.

-- Хорошо, сударь!

-- Ну вот! Научись английскому языку. Купи себе красивую простую одежду и найди место продавщицы. Слушай внимательно, что я тебе скажу. Я дам тебе две тысячи долларов, за то что ты так _красиво_ танцевала. Ты проживешь на них три года. Посещай какие-нибудь вечерние курсы. Научись счетоводству, стенографии и машинописи. Остальное устроится само собой. Ты это сделаешь?

-- Да, сударь! -- испуганно ответила Юлиска.

-- Она боялась. Вульф показался ей страшным. Она слышала, что в Нью-Йорке убивают молодых девушек.

-- Оденься!

И Вульф протянул Юлиске пачку ассигнаций. Но она не решалась их взять. "Как только я их возьму, он меня убьет", -- подумала она.

-- Возьми же! -- улыбаясь сказал С.Вульф. -- Мне деньги больше не нужны: завтра в шесть часов вечера меня уже не будет в живых.

Юлиска вздрогнула.

С.Вульф нервно засмеялся.

-- Вот тебе еще два доллара. Возьми первое такси, которое ты встретишь, и поезжай домой. Дай Дьюле сто долларов и скажи ему, что я тебе больше не дал. Никому не говори, что у тебя есть деньги! Самое важное в жизни -- это иметь деньги, но никто не должен знать о них! Возьми же!

Он сунул ей в руку бумажки.

Юлиска ушла, не поблагодарив.

С.Вульф остался один, его лицо тотчас же осунулось.

-- Глупая девчонка! -- пробормотал он. -- Она все равно погибнет.

Вульф пожалел о деньгах. Он выкурил сигару, выпил рюмку коньяку и принялся ходить взад и вперед по комнатам. Он зажег все лампы, так как совершенно не выносил полумрака. Он остановился перед японским лакированным шкафчиком и открыл его. Шкафчик был наполнен локонами -- светлыми, золотистыми, рыжими женскими локонами. На каждом локоне была этикетка, как на склянках с лекарством. Была проставлена дата. Вульф посмотрел на эти волны волос и презрительно рассмеялся. Он презирал и ненавидел женщин, как все мужчины, имеющие дело преимущественно с продажными женщинами.

Но собственный смех смутил его. Он напомнил ему чей-то где-то слышанный смех. Он вспомнил, что так именно смеялся его дядя, а этого дядю он ненавидел больше всего на свете. Как странно!

Он опять заходил взад и вперед. Но стены и мебель все больше стушевывались. Комнаты раздвигались, казались пустынными. Он не смог вынести одиночества и поехал в клуб.

Было три часа ночи. Улица была пуста. Но через три дома от него стоял потерпевший аварию автомобиль. Шофер заполз под машину и возился с починкой. Однако, как только Вульф отъехал, автомобиль покатился вслед за ним. Вульф горько усмехнулся. Шпионы Аллана?.. Подъехав к клубу, он дал шоферу два доллара на чай и отослал его домой.

"О господи, совсем, совсем готов!" -- подумал шофер.

В клубе еще играли в покер за тремя столами, и Вульф подсел к знакомым. Удивительно, как ему сегодня шла карта! Редко бывают на руках такие комбинации. "Вот и две тысячи долларов, которые получила Юлиска!" -- подумал он и сунул деньги в карман. В шесть часов игра кончилась, и Вульф прошел всю дорогу домой пешком. За ним шли, болтая, двое мужнин с лопатами на плечах. У своего дома он встретил рабочего навеселе, который брел, натыкаясь на стены, и фальшиво напевал что-то себе под нос.

-- Have a drink? [Выпил? (англ.)] -- обратился к нему Вульф.

Но пьяный не ответил. Он пробормотал что-то невразумительное и поплелся дальше.

"Метаморфозы Аллановых сыщиков!"

Дома Вульф выпил такого крепкого вина, что его затрясло. Он не был пьян, но впал в какое-то полусознательное состояние. Он принял ванну и заснул в ней. Проснулся только тогда, когда постучал обеспокоенный слуга. Он оделся с головы до ног во все новое и ушел из дому. Уже совсем рассвело. У дома напротив стоял автомобиль. Вульф подошел и спросил, свободен ли он.

-- Занят! -- ответил шофер, и Вульф презрительно усмехнулся. Аллан окружил его, оцепил со всех сторон.

Из подъезда вышел господин с маленьким черным портфелем под мышкой и пошел за Вульфом по другой стороне улицы. Тогда Вульф внезапно прыгнул в трамвай, и ему показалось, что он улизнул от сыщиков Аллана.

Он выпил кофе в каком-то кафе и все утро пробродил по улицам.

Нью-Йорк возобновил свою двенадцатичасовую гонку, Нью-Йорк _скакал_, подгоняемый жокеем-_делом_. Автомобили, экипажи, грузовики, люди -- все неслось, мелькая. Гремели поезда надземной дороги. Люди выскакивали из домов, таксомоторов, трамваев, выскакивали из отверстий в земле, из двухсотпятидесятикилометровых штолен подземки. Все они двигались быстрее Вульфа. "Я отстаю!" -- подумал он. Он ускорил шаг, и все-таки все его обгоняли. Люди судорожно метались, как в гипнозе. Манхэттен -- широкое сердце города -- всасывал их. Манхэттен выбрасывал их по тысячам артерий. Это были осколки, атомы, накаленные взаимным трением и обладавшие не большей свободой движения, чем обыкновенные молекулы. И город шел своей грохочущей походкой. Каждые пять минут мимо Вульфа проносился серый электрический автобус, мчавшийся по Бродвею, как слон, которому сунули под хвост горящую паклю. Это были автобусы-буфеты, в которых по дороге на службу можно было проглотить чашку кофе и бутерброд. Среди маленьких, увлекаемых вихрем людей шагали огромные наглые призраки и кричали: "Удвойте ваш доход! -- Зачем быть толстым? -- Мы тебя обогатим, черкни нам открытку! -- Easy Walker! Make your own terms! -- Stop having fits! -- Drunkards saved secretly! [Беззаботный пешеход! Дай нам свои предложения! -- Береги свои нервы! -- Незаметное излечение пьяниц! (англ.)] -- Удвойте свою силу!" Реклама! Великий укротитель, которому повиновалась эта судорожно копошившаяся масса! Вульф улыбнулся сытой, удовлетворенной улыбкой. Это он поднял рекламу до уровня искусства!

С Баттери видны были три лимонно-желтых рекламных аэроплана, шнырявших один за другим над заливом в погоне за покупателями, находившимися на пути в Нью-Йорк. На желтых крыльях красовалось: "Ваннамекер -- распродажа!"

Кому из этих тысяч кишащих вокруг людей придет в голову, что это он двенадцать лет назад изобрел "летающий плакат"?

Он бродил по Нью-Йорку, притягиваемый центростремительной силой этой чудовищной мельницы. Весь день. Он обедал, пил кофе, пропускал то тут, то там рюмку коньяку. Как только он останавливался, его охватывало головокружение, и он шел дальше. В четыре часа он добрался до Центрального парка, одуревший, без единой мысли в голове. Он миновал аэродром компании "Чикаго -- Бостон -- Нью-Йорк" и шел куда его вели аллеи. Накрапывал дождь, и парк был совершенно пуст. Вульф дремал на ходу, но вдруг сильный испуг заставил его очнуться: он испугался своей походки. Он шел сгорбившись, шаркая ногами, согнув колени. Так волочил ноги старик Вольфзон, приученный судьбой к смирению. И вдруг он ясно услышал, как внутренний голос шепнул: "Сын обмывальщика покойников!"

Испуг разбудил Вульфа. Где он? Центральный парк! Почему он здесь? Почему он не убрался, черт возьми, почему он не удрал? Почему он весь день торчал в Нью-Йорке? Кто его заставил? Он посмотрел на часы. Было уже больше пяти. Еще час был в его распоряжении, -- ведь Аллан умел держать слово.

Его голова напряженно заработала. В кармане у него было пять тысяч долларов. Этого достаточно, чтобы скрыться. Он решил бежать. Аллан его не поймает! Он оглянулся -- кругом ни души! Значит, ему удалось отделаться от сыщиков Аллана! Этот успех окрылил его, и он начал действовать с молниеносной быстротой. В маленькой парикмахерской он снял бороду, и пока парикмахер работал, обдумал план бегства. Он находился у сквера Колумба. Он решил доехать по подземной дороге до Двухсотой улицы, пройти немного пешком и сесть в какой-нибудь поезд.

Без десяти шесть он вышел из парикмахерской. Он еще успел купить сигары и без семи минут шесть спустился на станцию, подземной дороги.

К своему удивлению, он увидел на перроне станции в толпе ожидающих своего спутника по последнему переезду через океан. Тот даже посмотрел на него, но -- как удачно! -- он его не узнал. А ведь они каждый день играли в покер в курительном салоне!

По внутренним рельсам молнией промчался экспресс, наполнив станцию шумом и ветром. Вульф начинал терять терпение и взглянул на часы. Еще пять минут!

Внезапно спутник Вульфа исчез из поля его зрения. Оглянувшись, он увидел этого человека за своей спиной углубившимся в чтение "Гералда". У Вульфа онемели руки и ноги. Ужасная мысль зародилась в нем! А вдруг это один из сыщиков Аллана, следивший за ним от самого Шербура?

Без трех минут шесть Вульф отошел на два шага в сторону и украдкой покосился на спутника. Тот спокойно продолжал читать, но в газете было отверстие, и сквозь него пристально следил зоркий глаз!

В глубоком отчаянии С.Вульф заглянул в этот глаз. Кончено! В этот миг вылетел поезд, и, к ужасу ожидающих, С.Вульф прыгнул на рельсы. Чья-то рука с растопыренными пальцами пыталась схватить его.

8

Без двух минут шесть С.Вульф был раздавлен колесами подземного поезда, а полчаса спустя весь Нью-Йорк уже оглашался взволнованными выкриками:

-- Extra! Extra! Here you are! Hya! Hya! All about suicide of Banker Woolf! All about Woolf! [Экстренный выпуск! Покупайте, покупайте! Все подробности самоубийства банкира Вульфа! Все о Вульфе! (англ.)]

Газетчики мчались, как дикие кони, и на улицах, по которым сегодня бродил Вульф, раздавалось его имя:

-- Вульф! Вульф! Вульф!

-- Вульф разрезан на три части!

-- Туннель проглотил Вульфа!

-- Вульф! Вульф! Вульф!

Каждый сотни раз видел на Бродвее его пятидесятисильный автомобиль с серебряным драконом, гудевшим, как океанский пароход. Каждый знал его лохматую голову буйвола! С.Вульф был частицей Нью-Йорка, и его не стало! С.Вульф, управляющий самым крупным состоянием, которое когда-либо имели в своем распоряжении люди! Дружественные синдикату газеты писали: "Несчастный случай или самоубийство?" Враждебные: "Раньше Расмуссен -- теперь Вульф!"

-- Вульф! Вульф! Вульф!

Газетчики выкрикивали это имя и поднимали облака пыли в туманных улицах. Словно хриплый вой волков, терзающих свою добычу.

Аллан узнал об ужасной смерти Вульфа через пять минут после происшествия. Один из сыщиков известил его по телефону.

Расстроенный, не в силах работать, ходил он взад и вперед по своему кабинету. На улицах стоял туман, и только небоскребы высились над этим морем тумана, тускло освещенные солнечным закатом. Нью-Йорк бушевал и выл внизу; _скандал разразился_! Только некоторое время спустя Аллану удалось посоветоваться с шефом бюро печати и с временным управляющим финансовой частью. Всю ночь его преследовал образ Вульфа, каким он видел его в последний раз: смертельно бледного, задыхающегося в своем кресле...

"Это туннель!" -- подумал Аллан. Он задрожал. Будущее было грозно, настоящее -- полно несчастий. Он видел приближение безнадежных времен. "Теперь потребуются годы!.." -- думал он и бродил, томимый бессонницей, по

комнате.

Смерть Вульфа не дала спать в эту ночь тысячам людей. Самоубийство Расмуссена заставило людей нервничать. Смерть Вульфа испугала весь мир. Синдикат пошатнулся! Все большие банки мира вложили миллиарды в сооружение туннеля, миллиарды вложила промышленность, миллиарды дали и все слои народа, вплоть до газетчиков. Волнение распространилось от Сан-Франциско до Петербурга, от Сиднея до Капштадта. Печать всех континентов усугубляла опасения. Акции синдиката не просто падали, а стремительно катились вниз! Смерть Вульфа была началом "великого землетрясения".

Собрание главных акционеров синдиката продолжалось двенадцать часов и походило на ожесточенную, адскую битву, в которой свирепели даже обычно сдержанные люди. Второго января синдикат должен был выплатить сотни миллионов долларов процентов -- огромные суммы, для которых не было достаточных ресурсов.

Собрание опубликовало через печать, что финансовое положение в данную минуту не блестяще, но есть основание предполагать, что оно поправится. Это заявление в плохо завуалированной форме высказывало всю роковую правду.

На следующий день десятидолларовые акции можно было купить за один доллар. Бесконечное множество частных лиц, несколько лет назад захваченных общей спекулятивной горячкой, было разорено. Больше десятка жертв унес первый же день. Публика штурмовала банки. И не только те из них, которые известны были своим значительным участием в делах синдиката, но и те, что не имели с ним ничего общего, с утра до вечера были осаждены толпой. Клиенты забирали свои вклады. Целый ряд учреждений вынужден был закрыть кассы, так как не хватало наличных денег. Кризис 1907 года был пустяком в сравнении с этим. Несколько мелких банков было смято уже первым набегом. Но и крупные банки дрогнули от нахлынувшей на них волны. Напрасно пытались они воздействовать на общественное мнение успокоительными сообщениями. "Нью-йоркский городской банк", "Морган и Кь", "Банк Ллойда", "Америкен" выплатили за _три_ дня головокружительные суммы. Телеграфисты валились с ног от усталости. Дворцы банков были ярко освещены всю ночь, директора, кассиры, секретари не раздевались несколько дней подряд. Деньги все дорожали. Если паника 1907 года повысила дневной процент за наличные деньги до восьмидесяти и даже ста тридцати, то сегодня цена поднялась до ста и ста восьмидесяти процентов. Подчас вообще было невозможно занять тысячу долларов. Нью-йоркский городской банк поддерживался Гульдом, банк Ллойда отчаянно защищался сам. "Америкен" получил поддержку от "Английского банка". Если не считать этого банка, от европейских банков нельзя было получить ни цента, -- они сами с лихорадочной поспешностью переходили на оборонительные позиции. На биржах Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Берлина, Вены была неслыханная депрессия. Множество фирм прекратило платежи. Не проходило дня без банкротств, без жертв. Способ самоубийства, избранный Вульфом, стал эпидемическим: ежедневно разоренные бросались под колеса поездов подземной дороги. Финансовый мир пяти частей света получил зияющую рану, и ему грозила опасность истечь кровью. Торговля, транспорт, промышленность, великая машина современности, отапливаемая миллиардами и выбрасывающая миллиарды, вращалась все медленнее, все с большим трудом, и с часу на час казалось, что вот-вот она совсем остановится.

Компания, занимавшаяся покупкой и продажей земельных участков близ туннельных станций, рухнула в один день и похоронила под собой многих.

Газеты в эти дни были как донесения с театра военных действий:

"Туннель проглатывает все больше и больше людей!"

"Мистер Гарри Стилуэлл из Чикаго застрелился. -- Разоренный маклер Уильямсон с Двадцати шестой улицы отравил свою семью и себя. -- Фабрикант Клепстедт из Хобокена бросился под поезд подземной железной дороги".

Весть о том, что в Сентеше повесился старик Якоб Вольфзон, прошла незамеченной.

Это была _паника_! Через Францию она перебросилась в Англию, Германию, Австрию и Россию. Германия первая поддалась ей и так же, как и Соединенные Штаты, целую неделю была объята тревогой, страхом и ужасом.

Промышленность, едва оправившаяся от последней октябрьской катастрофы, снова пришла в упадок. Ее акции, неслыханно взвинченные благодаря туннелю, -- железо, сталь, цемент, медь, кабель, машины, уголь, -- были увлечены в бездну падением туннельных бумаг. Угольные короли и промышленные бароны заработали на туннеле огромные суммы, но теперь не хотели рискнуть ни одним центом. Они понизили заработную плату, ввели сокращенную неделю и выбросили на улицу тысячи рабочих. Работающие присоединились к уволенным товарищам. Они забастовали и решили бороться до последнего вздоха, не давая себя обмануть посулами, которые нарушались, как только проносилась гроза. В хорошие времена они были нужны, чтобы умножать миллионные прибыли, в плохие времена их вышвыривали на улицу. Пусть затопятся рудники, пусть домны закупорятся шлаком!

Забастовка началась как обычно. Она вспыхнула в бассейнах Лилля, Клермон-Феррана и Сент-Этьенна, перебросилась в Мозельскую, Саарскую, Рурскую области и в Силезию. Английские горняки и заводские рабочие Йоркшира, Нортумберленда, Дарема и Южного Уэльса объявили забастовку солидарности. Канада и Соединенные Штаты примкнули к ним. Невидимая искра перескочила через Альпы в Италию и через Пиренеи -- в Испанию. Тысячи заводов всех стран бездействовали. Замерла жизнь целых городов. Домны погасли, рудничные лошади были выведены из шахт. Пароходы целыми флотилиями, труба к трубе, покоились на кладбище портов. Каждый день приносил чудовищные убытки. Но так как паника отвлекла деньги и от других отраслей промышленности, миллионная армия безработных все росла и росла. Положение становилось критическим. Железные дороги, центральные электрические станции, газовые заводы были лишены угля. В Америке и Европе курсировала едва десятая часть поездов, и трансатлантическое пароходное сообщение почти прекратилось.

Дело дошло до столкновений с полицией. В Вестфалии трещали пулеметы, в Лондоне докеры вступили с полицией в кровавое сражение. Это было восьмого декабря. Улицы близ вест-индских доков в этот вечер были завалены телами убитых рабочих и полицейских. Десятого декабря английский рабочий союз объявил всеобщую забастовку. Французский, германский, русский и итальянский союзы присоединились к нему, а в конце концов примкнул и американский.

Это была современная война. Не мелкая перестрелка передовых постов, а настоящее сражение! Рабочие и капитал сомкнутыми рядами шли друг на друга.

Ужасы этой борьбы сказались уже через несколько дней. Статистика преступлений и детской смертности зарегистрировала потрясающие цифры. Запасы пищи для миллионов людей гнили в железнодорожных вагонах и трюмах судов. Правительства мобилизовали воинские подразделения. Однако солдаты, которые сами были пролетариями, оказывали пассивное сопротивление: они работали, но только для виду, а время не подходило для строгих репрессий. На рождество большие города -- Чикаго, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Гамбург, Вена, Петербург -- остались без света и были под угрозой голодной смерти. Люди мерзли в своих квартирах, слабые и больные погибали. Ежедневно происходили пожары, грабежи, намеренная порча машин, кражи. Вставал призрак революции...

Но Интернациональная рабочая лига не отступала ни на шаг и требовала законов, которые защищали бы рабочих от произвола капитала.

Среди этих тревог и ужасов Туннельный синдикат все еще держался, как судно, потерпевшее кораблекрушение, все в пробоинах, трещавшее по всем швам, но еще не затонувшее. Это было делом рук Ллойда. Ллойд созвал крупных кредиторов и явился сам произнести речь, чего он не делал из-за болезни уже двадцать лет. Синдикат, сказал он, не должен пасть! Времена отчаянные, и гибель синдиката повергла бы мир в пучину бедствий. Туннель можно спасти, действуя благоразумно! Если допустить теперь тактическую ошибку, то его судьба будет решена раз навсегда, и развитие промышленности задержится на двадцать лет. Всеобщая забастовка не может длиться больше трех недель, так как рабочие массы стоят перед лицом голодной смерти. Вернутся деньги, и кризис весною кончится. Необходимо принести жертвы. Крупные кредиторы должны отсрочить платежи, дать деньги взаймы. Акционеры должны второго января получить свои проценты полностью, иначе вспыхнет новая паника.

Ллойд первый принес большие материальные жертвы. Таким путем ему удалось сохранить синдикат.

Это совещание было тайным. Газеты на следующий день сообщили, что предпринято санирование синдиката, и второго января он, как всегда, произведет выплату акционерам по своим обязательствам.

Знаменательное второе января настало.

9

Обычно первого января все театры, концертные залы, рестораны Нью-Йорка переполнены.

Но на этот раз все было мертво. Только в некоторых больших отелях по-прежнему было оживление. Трамваи не шли. Редкие поезда, управляемые инженерами, проносились по надземной и подземной дорогам. В гавани стояли с потушенными топками опустевшие океанские гиганты, окруженные туманом и льдом. Вечером улицы были темны, горел только каждый третий фонарь, и световые рекламы, вспыхивавшие прежде с равномерностью маяков, погасли.

Уже в полночь перед зданием синдиката стояла густая толпа, готовая прождать тут до утра. Все хотели спасти свои пять, десять, двадцать, сто долларов процентов. Прошел слух, что третьего января синдикат закроет двери, и никому не хотелось рисковать своими деньгами. Толпа росла.

Ночь была холодная, двенадцать градусов ниже нуля по Цельсию. Мелкий снег сыпал, словно белый песок, с непроницаемо черного неба, поглотившего верхние этажи безмолвных небоскребов. Дрожа и стуча зубами от холода, собравшиеся жались теснее, чтобы согреться, и волновали друг друга догадками, опасениями и всякими разговорами о синдикате и акциях. Они стояли так тесно, что могли бы спать стоя, но никто не смыкал глаз. Страх гнал от них сон. Вдруг двери синдиката вовсе не откроются! Тогда их акции разом обесценятся! С посиневшими от холода лицами, со страхом и заботой в глазах, они ждали решения своей судьбы.

Деньги! Деньги! Деньги!

Труд их жизни, пот, старания, унижения, бессонные ночи, седые волосы, опустошенная душа! Больше того: их старость, несколько лет спокойной жизни перед смертью! Если пропали деньги, все погибло, двадцать лет их жизни выброшены за борт, впереди -- тьма, нужда, грязь, нищета...

Страх и волнение росли с минуты на минуту. Если их сбережения будут потеряны, они судом Линча расправятся с Алланом, этим чемпионом мошенников.

К утру собрались еще большие толпы народа: цепь тянулась до Уоррен-стрит. И вот забрезжил серый рассвет.

В восемь часов в толпе произошло внезапное движение: в молчаливом, окутанном туманом и стужей здании синдиката зажегся первый свет!

Ровно в девять часов открылись тяжелые двери. Толпа повалила в роскошный вестибюль и оттуда -- в ярко освещенные залы, где находились кассы. Армия умытых, отоспавшихся служащих кишела за маленькими окошками. Оплата купонов совершалась с молниеносной быстротой. Во всех окошках проворные руки отсчитывали на мраморные дощечки пачки долларов, звенела мелочь. Все происходило спокойно. Получившие свои деньги выжимались к выходу напиравшей сзади толпой.

Около десяти часов произошла заминка. Закрылись сразу три окошка, так как не хватало разменной монеты. Публика заволновалась, и служащие остальных окошек осаждались одновременно десятью и двадцатью нетерпеливыми клиентами.

Тогда главный кассир заявил, что кассы закроются на пять минут. Получающих, сказал он, просят иметь при себе мелкие деньги для сдачи, иначе выплата слишком задержится. Окошки закрылись.

Положение ожидавших в зале, где производилась выплата, было не из приятных. Толпа, доходившая, по определению газет, до тридцати тысяч человек, равномерно напирала сзади. Как бревно вдвигается механизмом лесопилки в пилу, так же равномерно двигалась человеческая цепь в здание синдиката и -- разделенная на части -- выжималась через выход на Уолл-стрит. Кто-нибудь ставит ногу на первую гранитную ступень. Через минуту напирающая сзади толпа подымает его выше, он стоит на первой ступени уже обеими ногами. Через десять минут он наверху и медленно продвигается сквозь вестибюль. Еще через десять минут его вталкивают в зал, где находятся кассы. Он становится автоматом, неспособным двигаться по своей воле, и тысячи людей перед ним и за ним проделывают точно такие же движения в точно такой же срок.

Благодаря заминке громадный зал в несколько минут был набит до отказа. Часть людей, находившихся в вестибюле, была вытеснена в Верхние этажи.

Но стоявшие у окошек не могли удержать свои позиции, и перед ними была веселая перспектива, простояв десять часов в очереди, быть оттиснутыми к выходу. А тогда становись опять в очередь!

Все они провели бессонную ночь, мерзли как собаки, не завтракали, потеряли время, им предстояли неприятности на службе. Настроение у всех было прескверное. Они горланили и свистели, и этот шум проникал через вестибюль на улицу.

Страшное волнение охватило толпу:

-- Кассы закрываются!

-- Не хватило денег!

Толпа наседала все грубее и настойчивее. В тесноте рвали платья, стиснутые люди орали, бранились. Другие, приподнятые толпой и по грудь возвышавшиеся над нею, во всю глотку выкрикивали проклятия.

У окошек скопилось столько народу, что можно было задохнуться. Раздавались крики, ругательства. Один шофер разбил кулаком стекло окошка и, побагровев от недостатка воздуха, кричал:

-- Отдайте мои деньги, жулики! У меня тут триста долларов! Отдайте мои триста долларов, наглые воры, мошенники!

Служащий побледнел и негодующе взглянул на скандалиста:

-- Вы отлично знаете, что акции не выкупаются. Вы получите проценты и больше ничего.

Стекла окошек зазвенели вдруг во всех концах зала, и тогда клерки с лихорадочной поспешностью принялись выплачивать деньги. Но было уже поздно. Крик, поднявшийся при возобновлении выплаты, был неверно понят толпой, стиснутой в зале и вестибюле, и толчея стала еще ужаснее.

Кто мог добраться до выхода, торопился как можно скорее уйти. Но это удалось лишь немногим. Вдруг затрещали двери перегородок, и стоявшие впереди были втиснуты в помещение кассы. Наспех подхватывая книги, шкатулки и деньги, клерки обратились в бегство. Толпа ворвалась как вихрь, и дубовые перегородки были вмиг смяты. Сразу стало просторнее. Толпа устремилась во все выходы, но давление сзади стало от этого еще сильнее. Кучи людей влетали в зал, как выстреленные из пушки. К своему великому изумлению, они заставали лишь разрушенный и разграбленный банк. Опрокинутые столы, разбросанные бумаги, пролитые чернила, груды мелкой монеты и растоптанные ассигнации.

Но одно было им ясно: их деньги пропали! Ухнули! Капут! И деньги, и надежды -- все! Толпа взвыла от ярости и возмущения. Принялись громить все, что еще можно было громить. Зазвенели стекла окон, затрещали столы и стулья, разрушение каждой вещи вызывало взрыв фанатического ликования.

Здание синдиката было взято штурмом!

Тридцать тысяч человек, а по мнению многих -- еще больше, ворвались внутрь и были вытеснены по лестницам в верхние этажи. Несколько полицейских, поставленных для поддержания порядка, ничего не могли сделать. Настроенные мирно искали какого-нибудь выхода, разъяренные же старались задержаться где только можно, чтобы утолить свой гнев.

Здание в этот день, второго января, было почти безлюдно, большинство этажей пустовало совсем. Ради экономии синдикат решил оставить себе только самые необходимые помещения и сдать освободившиеся этажи. Многие отделы уже переехали в Мак-Сити, другие к этому готовились... В этажах, сданных адвокатам и разным фирмам, работа еще не была в полном ходу.

Второй и третий этажи были завалены тюками писем, счетов, квитанций, чертежей. В ближайшие дни их собирались отправить в новые конторы.

В своей бессмысленной ярости толпа стала выбрасывать эти тюки через окна на улицу и заполнила ими лестницу.

Во всех окнах до седьмого этажа вдруг замелькали лица.

Три молодых дерзких парня, механики по профессии, отправились даже на тридцать второй этаж к Аллану!

"Мак должен вернуть нам деньги!" Это была изумительная идея.

-- Go on, boy! [Вези, мальчик! (англ.)] Мы хотим к Маку!

Мальчик лифтер отказался принять этих наглых молодцов.

Тогда они вышвырнули его из кабинки и поднялись без его помощи. Они хохотали и корчили гримасы плакавшему от бессильной ярости мальчику. Лифт поднимался все выше, и вдруг кругом наступила тишина. Начиная с двадцатого этажа, грохот внизу можно было принять за уличный шум.

Лифт пролетел мимо пустых коридоров. Лишь изредка мелькали люди, и эти люди, казалось, не подозревали о том, что происходит внизу, двадцатью, двадцатью пятью этажами ниже. Один из служащих как ни в чем не бывало открыл дверь своего кабинета. В тридцатом этаже на подоконнике сидели двое мужчин с сигарами во рту и о чем-то весело болтали.

Лифт остановился, трое механиков вышли из него и загалдели:

-- Мак! Мак! Мак! Где ты? Подать сюда Мака!

Они подходили к каждой двери и стучали.

Вдруг Аллан показался в одной из дверей, и они, оробев, уставились на него, человека, чей портрет они так часто видели, и не решались заговорить.

-- Что вам нужно? -- недовольным тоном спросил Мак.

-- Мы пришли за своими деньгами!

Аллан принял их за пьяных.

-- Идите ко всем чертям! -- сказал он и захлопнул дверь.

Они стояли и глазели на закрывшуюся дверь. Они пришли с намерением во что бы то ни стало вытрясти из Мака свои деньги, но не получили ни цента, и вдобавок их послали к чертям.

Они посовещались между собой и решили вернуться.

К чертям в ад они не пошли, но в чистилище попали! На двенадцатом этаже они наглотались дыма. А на восьмом мимо них промчался лифт, весь объятый пламенем.

Растерянные и почти обезумевшие от ужаса, они добрались до вестибюля, где волна стремившихся наружу людей подхватила их и вынесла на улицу.

10

Никто не знал, как это произошло. Никто не знал, кто это сделал. Никто этого не видел. Но все же это свершилось.

В третьем этаже вдруг кто-то стал на подоконник. Обе руки он держал рупором перед ртом. Он изо всех сил непрерывно кричал в толпу, все еще стремившуюся внутрь:

-- Пожар! Дом горит! Назад!

Это был Джеймс Блэкстон, банковский служащий, которого толпа подняла на третий этаж. Сперва его никто не слышал, потому что орали все кругом. Но он продолжал автоматически выкрикивать те же слова, и все большее число людей стало обращать взоры вверх. И вдруг улица поняла, что кричал с третьего этажа Блэкстон. До нее дошло не все, -- лишь одно грозное слово: "Пожар!" Улица вдруг разглядела, что серый пар, казавшийся морозным туманом и окружавший Блэкстона, был не туманом, а дымом. Дым сгущался, широкими вялыми полосами полз из окна и быстро вился вверх над головой Блэкстона. Дым становился все гуще, клубами палил из окна, и Блэкстон вскоре почти потонул в нем. Но он не покидал своего поста. Как механический предупредительный сигнал, он постепенно заставил толпу, все еще подталкиваемую слепой энергией, приостановиться, а затем и отступить.

Сообразительность Блэкстона предотвратила новую огромную катастрофу. Его громкий крик пробудил разум в обезумевшей толпе. В здании в это время находились тысячи людей. Они стремились к выходам, но наталкивались здесь на человеческую стену. Казалось, люди на улице любопытствовали узнать, что же будет дальше. Наконец, подгоняемые криками Блэкстона, они повернулись и сотнями уст повторяли теперь его предостерегающий возглас: "Назад, дом горит!"

Толпа вытеснялась в соседние улицы, она убывала.

По широким гранитным лестницам низвергался буйный водопад голов, рук и ног, водоворот людей, выкатывавшихся на улицу, вскакивавших на ноги и в ужасе убегавших прочь. Все они, градом падая с лестниц, видели самое страшное: пылающие лифты! Лифты -- три, четыре, с горящими тюками бумаги, мчавшиеся вверх и рассыпавшие брызги огня.

В дыму снова показался Блэкстон. Он быстро вырастал и вдруг приблизился: он спрыгнул! Блэкстон упал в группу бежавших, и, как это ни странно, никто не был ушиблен. Беглецы разлетелись по сторонам, как грязь, в которую бросили камень. Они мигом вскочили, и только Блэкстон остался на месте. Вскоре его унесли, и он быстро оправился, отделавшись вывихом ноги.

От первого появления Блэкстона до его прыжка прошло не больше пяти минут. Десять минут спустя Пайн-стрит, Уолл-стрит, Томас-стрит, Сидар-стрит, Нассау-стрит и Бродвей кишели пожарными обозами, дымящимися паровыми насосами и санитарными каретами. Собрались все пожарные команды Нью-Йорка.

Брандмейстер Келли сразу понял, какая опасность грозит деловому кварталу. Он призвал на помощь шестьдесят шестую часть, то есть Бруклин, чего не случалось со времени пожара в здании Эквитебл. Северный въезд Бруклинского моста был закрыт, и восемь паровых насосов с обозами понеслись через призрачно повисший в зимнем тумане мост к Манхэттену. Дым шел из всех отверстий здания синдиката; оно было похоже на гигантскую тридцатидвухэтажную печь. Кругом бушевали боевые сигналы, предостерегающие, жуткие зовы рожка, резкие

звонки, трели свистков. Поджог был сделан в третьем этаже и в пущенных кверху лифтах. Никто и впоследствии не мог сказать, кто совершил это злодеяние.

Горящие лифты срывались один за другим, как альпинисты, обессилевшие на крутом подъеме. Из подвального этажа после каждого падения взметывались облака раскаленной пыли. В вестибюле, в шахте лифтов гремели пушечные выстрелы и стучал скорострельный огонь; от жара с треском срывались с винтов обшивка шахты. Шахта превратилась в ревущий столб раскаленного воздуха, увлекавшего кверху горящие тюки писем. Он пробил световой фонарь, и фонтан искр взмыл над крышей. Здание стало вулканом, выплевывавшим горящие клочья бумаг и пылавшие тюки. Они вздымались на воздух как ракеты и, подобно артиллерийским снарядам, неслись над Манхэттеном.

Вокруг огнедышащего кратера кружил в опасной близости к нему аэроплан, словно хищная птица над своим горящим гнездом: операторы "Эдисон-Био" с птичьего полета снимали покрытый снегом горный хребет небоскребов с действующим вулканом среди них.

Из лифтовой шахты огонь через двери расползался по этажам.

Оконные стекла вылетали с громким звоном и разбивались о противоположные здания. Железные косяки окон сгибались от действия огня и, выброшенные жаром, проносились по воздуху с глухим жужжанием аэропланных пропеллеров. Цинк, которым были пропаяны подоконные листы и сточные желоба, плавясь, падал шипящим раскаленным дождем. (За эти куски цинка впоследствии платили большие деньги!)

Келли дал героическое сражение. Он проложил двадцать пять километров шлангов и выпускал из ста двадцати труб сотни тысяч галлонов воды на горящее здание. В общем, этот пожар поглотил двадцать пять миллионов галлонов воды и обошелся городу Нью-Йорку в сто тридцать тысяч долларов -- на тридцать тысяч больше, чем поглотил пожар, вспыхнувший в здании Эквитебл в 1911 году.

Келли одновременно боролся с огнем и холодом. Гидранты замерзали, шланги лопались. Толстая ледяная гора покрыла улицу. Лед окутал сплошным покровом горящее здание. Пайн-стрит на целый фут была засыпана ледяными зернами, так как ветер разбрызгивал воду и превращал ее в мелкие льдинки, падавшие на улицу.

Келли со своими батальонами окружил врага и восемь часов отбивал все его атаки. На крышах окрестных зданий, задыхаясь от дыма, покрытые глыбами льда, при морозе в десять градусов по Цельсию сражались батальоны Келли. Между ними из стороны в сторону метались репортеры. Кинооператоры окоченевшими пальцами вертели ручки аппаратов. Они тоже работали до изнеможения.

Здание было из бетона и железа и не могло сгореть, хотя раскалилось так, что лопались все стекла близрасположенных домов. Но внутри оно выгорело целиком.

11

Аллан спасся через крышу дома "Меркантайл Сейф Компани", расположенную на восемь этажей ниже.

Несколько минут спустя после того, как трое нахалов своим криком заставили Аллана выйти из кабинета, он заметил начавшийся пожар. Когда Лайон, шатаясь от страха и волнения, прибежал к нему, он уже надел пальто и шляпу. Он был занят собиранием со столов разных бумаг, которые рассовывал по карманам.

-- Здание горит, сэр! -- прохрипел китаец. -- Лифты в огне!

Мак бросил ему ключи.

-- Открой несгораемый шкаф и не кричи! -- сказал он. -- Здание не может сгореть.

Аллана было не узнать, до того он был ошеломлен новым свалившимся на него несчастьем. "Это конец", -- подумал он. Аллан не был суеверен! На после всех ударов судьбы его не покидала мысль, что над туннелем тяготеет какое-то проклятие. Совершенно машинально, не отдавая себе отчета в том, что делает, он собирал чертежи, планы и деловые письма.

-- Маленький ключ с тремя зубцами, Лайон! Только не хнычь! -- сказал он и рассеянно несколько раз повторил: -- Только не хнычь!..

Заверещал телефон. Это звонил Келли. Он сказал, что Аллан должен спуститься с восточной стены на крышу здания "Меркантайл Сейф Компани". Каждую минуту звенел телефон -- сейчас крайний срок! -- пока Аллан не выключил его.

Он переходил от стола к столу, от полки к полке, вытаскивая планы и документы, и бросал их Лайону:

-- Все это клади в сейф, Лайон! Живо!

Лайон обезумел от страха. Но он не осмеливался сказать ни слова, только губы его шевелились, словно он заклинал домового. Бросив искоса взгляд на своего господина, он увидел по его лицу, что надвигается гроза, и поостерегся раздражать его.

Вдруг в комнату постучали. Как странно! В дверях показался русский немец Штром. Он стоял на пороге в коротком пальто, со шляпой в руке. В его позе не было ни раболепства, ни назойливости. Он стоял так, как будто решил терпеливо ждать, и сказал:

-- Пора, господин Аллан!

Для Аллана было загадкой, как Штром добрался сюда, но ему некогда было задумываться над этим. Он вспомнил, что Штром приехал в Нью-Йорк переговорить с ним о сокращении армии инженеров.

-- Ступайте вперед, Штром! -- нелюбезно сказал Аллан. -- Я приду!

И он продолжал рыться в кипах бумаг. За окнами полз кверху дым, в глубине визжали сигналы пожарных.

Через некоторое время взор Аллана снова скользнул по двери. Штром все еще стоял там, невозмутимо, выжидая, со шляпой в руке.

-- Вы все еще здесь?

-- Я жду вас, Аллан, -- спокойно и настойчиво ответил Штром.

Лицо его было бледно.

Вдруг в комнату ворвалось облако дыма, и вместе с ним появился пожарный офицер в белой каске. Он закашлялся и сказал:

-- Меня послал Келли. Через пять минут вы уже не попадете на крышу, господин Аллан!

-- Мне только и нужно пять минут, -- ответил Аллан, продолжая собирать бумаги.

В этот миг щелкнул затвор фотографического аппарата и, повернувшись, присутствующие увидели репортера, снимавшего Аллана.

Офицер в белой каске даже отпрянул от удивления.

-- Как вы сюда попали? -- в недоумении спросил он.

Репортер снял и смущенного пожарного.

-- Я полез за вами, -- ответил он.

Несмотря на свою удрученность, Аллан громко расхохотался.

-- Лайон, кончили, запирай! Теперь пойдем!

Он вышел, даже не оглянувшись в последний раз на свой кабинет.

Коридор был заполнен непроницаемой темной массой едкого дыма. Нельзя было терять ни минуты. Беспрерывно перекликаясь, они достигли узкой железной лестницы и крыши, где с трех сторон, закрывая горизонт, вились вверх серые стены дыма.

Они поднялись как раз в ту минуту, когда рухнул стеклянный фонарь и посреди крыши разверзся кратер, изрыгавший дым, дождь искр, снопы огня и пылающие клочья бумаги. Это зрелище было так ужасно, что Лайон жалобно застонал.

А репортер исчез. Теперь он снимал кратер. Он направлял объектив на Нью-Йорк, вниз, в ущелье улиц, и на группу на крыше. Он снимал с таким остервенением, что офицер был вынужден схватить его за шиворот и потащить к лестнице.

-- Stop, you fool! [Перестаньте, сумасшедший! (англ.)] -- гневно крикнул офицер.

-- Что вы сказали -- fool? -- возмутился репортер. -- За это вы ответите. Я могу здесь снимать сколько хочу. Вы не имеете права...

-- Now shut up and go on! [Замолчите и ступайте вперед! (англ.)]

-- Что вы сказали -- shut up? За это вы также ответите. Моя фамилия Гаррисон, я из "Геральда". Вы обо мне услышите!

-- Господа, есть у вас перчатки? Руки пристанут к железной лестнице.

Офицер приказал репортеру спускаться первым.

Но он как раз хотел сфотографировать спуск с лестницы и запротестовал.

-- Вперед! -- сказал Аллан. -- Уходите с крыши. Не делайте глупостей!

Репортер перекинул ремень через плечо и шагнул за парапет.

-- Вы один имеете право согнать меня с вашей крыши, господин Аллан! -- обиженно сказал он, медленно спускаясь.

И когда была видна уже только его голова, он добавил:

-- Но я сожалею, что вы называете это глупостями, господин Аллан! От вас я этого не ожидал.

За репортером спустился Лайон, боязливо смотревший себе под ноги, потом Штром, за ним Аллан и последним -- офицер.

Им надо было спуститься на восемь этажей, около ста ступеней. Дыма здесь было мало, но ближе к концу пути лестница оказалась покрытой таким толстым слоем льда, что на ней трудно было удержаться. Через их головы беспрестанно плескала вода, тотчас же замерзавшая зернами на одежде и на лицах.

Крыши и окна соседних домов были усеяны любопытными, наблюдавшими за спуском, который со стороны казался еще более опасным.

Они благополучно добрались до крыши дома "Меркантайл Сейф Компани", и здесь их уже ждал репортер Гаррисон. Он снимал.

Крыша походила на глетчер, и маленькая остроконечная ледяная гора приближалась к Аллану. Это был брандмейстер Келли. Они были давно знакомы и, встретившись здесь, обменялись следующими словами, в тот же вечер напечатанными во всех газетах:

Келли. I am glad I got you down, Mac! [Я рад, что стащил вас вниз, Мак! (англ.)]

Аллан. Thanks, Bill! [Спасибо, Билл! (англ.)]

12

Этот огромный пожар, один из самых больших в Нью-Йорке, унес, как ни странно, только шесть жертв. Джошуа Джилмор, служитель при кассе, вместе с кассиром Райххардтом и главным кассиром Уэбстером был застигнут

пожаром в стальной камере. Предохранительные решетки перепилили, взорвали, Райххардт и Уэбстер были спасены. Когда хотели вытащить Джилмора, лавина мусора и льда засыпала решетку. Джилмор примерз к ней.

Архитекторы Капелли и О'Брайер. Они выбросились с пятнадцатого этажа и разбились о мостовую. Пожарный Ривет, к ногам которого они упали, получил нервный шок и умер три дня спустя.

Пожарный офицер Дэй. Он провалился вместе с полом третьего этажа и был убит обломками.

Китаец Син, грум. При уборке был найден заключенный в глыбе льда. Все были поражены ужасом, когда, разбивая лед, наткнулись на пятнадцатилетнего китайца в красивом голубом фраке и кепи с буквами С.А.Т. на голове.

Геройски вел себя машинист Джим Батлер. Он проник в горящее здание и с полным спокойствием потушил восемь топок паровых котлов, в то время как над ним бушевал огонь. Он предупредил взрыв котлов, который мог оказаться роковым. Джим исполнил свой долг и не требовал похвал. Но он не был так глуп, чтобы отказаться от предложения импресарио, который за две тысячи долларов в месяц таскал его по всей Америке, заставляя выступать на эстрадах.

Три месяца подряд Батлер исполнял каждый вечер свою песенку:

Я Джим, машинист С.А.Т.
Огонь бушует вверху,
Но я говорю себе:
"Джим, погаси свои топки!.."

Во всем Нью-Йорке был слышен шум пожара и чувствовался запах дыма.

В то время как дым еще валил по Даунтауну и обугленные обрывки бумаги падали дождем с серого неба, газеты уже помещали изображения горящего здания, сражающихся батальонов Келли, портреты пострадавших, спуск Аллана и его спутников.

Синдикат был приговорен к смерти. Пожар -- это была кремация по первому разряду. Убыток, несмотря на большую страховую премию, достигал огромной суммы. Но особенно гибельным был беспорядок, учиненный беснующейся толпой и огнем. Миллионы писем, квитанций и чертежей были уничтожены. По американским законам, генеральные собрания акционеров должны созываться в первый вторник года. Вторник выпал через четыре дня после пожара, и в этот день синдикат объявил себя несостоятельным.

Это был конец.

Уже в день объявления конкурса к вечеру перед зданием отеля "Центральный Парк", где поселился Аллан, собралась орда всякого сброда, свистела и горланила. Управляющий испугался за целость своих окон и показал Аллану письма с угрозой взорвать дом, если Аллан не покинет своего пристанища.

С горькой, презрительной улыбкой Аллан вернул письма:

-- Я понимаю!

Под чужой фамилией он перекочевал в отель "Палас". Но на следующий день должен был выехать и оттуда. Три дня спустя ни одна гостиница в Нью-Йорке не принимала его. Отели, которые прежде выкинули бы любого владетельного князя, если бы Аллан пожелал занять его покои, теперь захлопывали перед ним двери.

Аллан вынужден был покинуть Нью-Йорк. В Мак-Сити он не мог поселиться, так как угрожали поджечь Туннельный город, если он только покажется там. И он уехал ночным поездом в Буффало. Стальные заводы Мака Аллана оберегались полицией. Но его присутствие там нельзя было долго скрывать. Угрожали взорвать цехи. Чтобы добыть деньги, Аллан заложил заводы, вплоть до последнего гвоздя, у миссис Браун, той самой ростовщицы. Они больше не принадлежали ему, и он не мог навлечь на них опасность.

Он отправился в Чикаго. Но и здесь были сотни тысяч людей, потерявших деньги на туннельных акциях. Его изгнали отсюда. Ночью в окна гостиницы стреляли.

Аллан был в опале. Еще недавно это был один из самых могущественных людей в мире, всеми государями награжденный знаками отличия, почетный доктор многих университетов, почетный член всех крупнейших академий и научных обществ. В течение многих лет его встречали ликованием, и восхищение принимало иногда формы, напоминавшие культ героев в древности. Если Аллан случай-но входил в зал отеля, обычно тотчас раздавался чей-нибудь восторженный голос:

-- Мак Аллан в зале! Three cheers for Mac!

Днем и ночью стая репортеров и фотографов следовала за ним по пятам. О каждом его слове, о каждом движении становилось известно всем.

Катастрофу ему простили. Тогда ведь шла речь только о трех тысячах человеческих жизней! Теперь же речь шла о _деньгах_, общество было задето за живое и показывало ему свои острые зубы.

Аллан украл у народа миллионы и миллиарды! Ради своего безумного проекта Аллан похитил сбережения маленьких людей! Аллан был просто грабитель, highwayrobber [разбойник с большой дороги (англ.)]. Он и его почтенный С.Вульф! Весь туннельный фарс он инсценировал лишь для того, чтобы обеспечить огромный сбыт своему "алланиту" -- ежегодно миллиард долларов чистой прибыли! Вы только взгляните на его стальные заводы в Буффало! Целый город! И наверное Аллан спас свои деньги до краха! Каждый лифтер, каждый вагоновожатый кричал во все горло, что Мак самый отчаянный жулик на свете!

Вначале некоторые газеты еще защищали Аллана. Но в их редакции посыпались угрозы и недвусмысленные намеки. Более того: никто не покупал этих газет! Да, черт возьми, кто же станет читать то, с чем он не согласен, и

вдобавок платить за это! И газеты, уклонившиеся с пути, старались повернуть и наверстать упущенное. Как не хватало в это время бесславно ушедшего С.Вульфа, который умел в нужную руку сунуть нужную сумму чаевых...

Аллан появлялся в разных городах, но каждый раз ему приходилось вновь исчезать. Он гостил у Вандерштифта в Огайо. И что же? Через несколько дней сгорели три амбара на образцовой ферме Вандерштифта. Проповедники в молельнях использовали конъюнктуру и называли Аллана антихристом, недурно зарабатывая на этом. Никто не осмеливался больше принимать Аллана. На ферме Вандерштифта он получил телеграмму от Этель Ллойд.

"My dear Mr. Allan [Дорогой господин Аллан (англ.)], -- телеграфировала Этель, -- папа просит вас поселиться на какой угодно срок в нашем имении Тэртль-Ривер, в Манитобе. Папа будет рад видеть вас у себя в гостях. Там вы можете удить форелей и найдете хороших лошадей. Особенно рекомендую вам Тедди. Мы приедем к вам летом. Нью-Йорк начинает успокаиваться. Well, I hope you have a good time. Yours truly Ethel Lloyd" [Надеюсь, вы хорошо проведете время. Преданная вам Этель Ллойд (англ.)].

В Канаде Аллан обрел, наконец, покой. Никто не знал, где он находится. Он пропал без вести. Некоторые газеты, питавшиеся ложными сенсациями, распространяли волнующее известие о самоубийстве Аллана: "Туннель поглотил Мака Аллана!"

Но те, кто знал его и помнил, что он живуч как акула, предсказывали, что скоро он опять вынырнет. И действительно, он вернулся в Нью-Йорк раньше, чем можно было предполагать.

Крушение синдиката потянуло в пропасть еще сотни предприятий. Много частных лиц и фирм, вытерпевших первый удар, могли бы оправиться, если бы они получили хоть некоторую передышку. Второй удар доконал их. Но в общем последствия банкротства были менее опустошительны, чем можно было опасаться. Банкротство не было неожиданным. Кроме того, общее положение было столь скверно, что едва ли могло еще более ухудшиться. Это была самая печальная и самая несчастная пора за последнее столетие. Мир в своем развитии был отброшен на двадцать лет назад. Забастовка пошла на убыль, но торговля, транспорт, промышленность пребывали еще в глубоком застое. До Аляски, до Байкала и до лесов Конго распространился этот паралич. На Миссисипи, Миссури, на Амазонке, на Волге, на Конго флотилии пароходов стояли на причале. Убежища для бездомных были переполнены, целые кварталы в больших городах обнищали. Везде виднелись следы горя, голода, нужды.

Нелепо было утверждать, что Аллан виноват в создавшемся положении: большую роль играли при этом экономические кризисы. Тем не менее утверждали, что это так. Газеты не переставали обвинять Аллана. День и ночь они кричали о том, что он ложными обещаниями выманил у народа деньги. После семилетнего строительства не готово и трети туннеля! Никогда, никогда в жизни он не мог думать, что справится с работой в пятнадцать лет, он бесстыдно обманул народ!

Наконец в середине февраля в газетах появилось объявление о розыске Мака Аллана, строителя Атлантического туннеля. Аллана обвиняли в том, что он сознательно обманул общественное доверие.

Три дня спустя Нью-Йорк огласился новыми выкриками газетчиков: "Мак Аллан в Нью-Йорке! Он отдает себя в руки правосудия!"

Администрация по финансовым делам синдиката предлагала громадный залог, Ллойд -- тоже, но Аллан отклонил оба предложения. Он оставался в следственной тюрьме на Франклин-стрит. Ежедневно он уделял несколько часов Штрому, которому вверил управление туннелем, и совещался с ним.

Штром ни словом, ни жестом не выразил своего сожаления о том, что Аллана постигли такие неприятности, не проявил улыбкой свою радость по поводу свидания с ним. Он докладывал о делах, и больше ничего.

Аллан напряженно работал, так что скучать ему было некогда. Он накоплял запас мыслей, которые должны были потом -- потом! -- превратиться в мускульную энергию.

За время своего пребывания в следственной тюрьме он разработал одноштольный метод для дальнейшей постройки туннеля. Кроме Штрома он принимал только своих защитников, -- больше никого.

Этель Ллойд однажды просила доложить о ней, но он ее не принял.

Процесс Аллана начался третьего апреля. Все места в зале заседаний были разобраны за несколько недель вперед. За места платили перекупщикам неслыханные суммы. Шли на самые наглые и бесстыдные плутни. Особенно обезумели дамы: все они хотели посмотреть, _как будет держать себя Этель Ллойд_!

Председательствовал самый грозный судья в Нью-Йорке, доктор Сеймур.

Мака Аллана защищали четверо лучших адвокатов Америки: Бойер, Уинзор, Коэн и Смит.

Процесс продолжался три недели, и три недели Америка находилась в чрезвычайном волнении. На процессе развернулась вся история основания синдиката, его финансирования, постройки туннеля и управления им. Подробно рассматривались все несчастные случаи и октябрьская катастрофа. Дамы, засыпавшие при чтении прекраснейших стихов, напряженно старались вникнуть во все подробности, доступные лишь людям, знакомым с техникой дела.

Этель Ллойд присутствовала на всех заседаниях. Весь процесс она, почти не двигаясь, просидела в своем кресле и внимательно слушала.

Появление Аллана вызвало большую сенсацию, но также некоторое разочарование. Ожидали, что тот, кого судьба так жестоко поразила, окажется сломленным и усталым и даст повод посочувствовать ему. Но Аллан не нуждался в этом, -- он выглядел точно так же, как раньше. Здоровый, медноволосый, широкоплечий, он сохранил свою манеру слушать как будто рассеянно и равнодушно. Он говорил так же медлительно и немногословно, в той же западноамериканской манере, заставлявшей иногда вспоминать коногона из шахты "Дядя Том".

Большой интерес вызвал Хобби, явившийся в качестве свидетеля. Его вид, его беспомощная речь произвели потрясающее впечатление. Неужели этот старец -- Хобби, некогда катавшийся верхом на слоне по Бродвею?..

Аллан сам лез в петлю, к величайшему ужасу своих четырех защитников, уже не сомневавшихся в его оправдании.

Основным пунктом всего процесса, разумеется, был установленный Алланом пятнадцатилетний срок окончания строительства туннеля. И на семнадцатый день разбора дела доктор Сеймур осторожно стал подходить к этому щекотливому пункту.

После небольшой паузы он начал совершенно невинно:

-- Вы обязались построить туннель в пятнадцать лет, другими словами -- по истечении пятнадцати лет пустить первые поезда?

Аллан. Да!

Доктор Сеймур спросил, словно между прочим, бросая укоризненный взор на публику:

-- Были ли вы _убеждены_ в том, что кончите строительство в назначенный срок?

Все ждали, что Аллан ответит на этот вопрос утвердительно. Но он этого не сделал. Его четырех защитников чуть не хватил удар от ошибки, которую допустил Аллан: он сказал правду.

Аллан ответил:

-- _Убежден_ я не был, но надеялся при _благоприятных_ условиях сдержать свое обещание.

Доктор Сеймур. Вы рассчитывали на эти благоприятные условия?

Аллан. Я, конечно, имел в виду возможность тех или иных затруднений. Могло случиться, что строительство затянулось бы на два или три года.

Доктор Сеймур. Значит, вы были _убеждены_, что _не закончите_ строительство в пятнадцать лет?

Аллан. Этого я не говорил. Я сказал, что надеялся закончить его, если все пойдет благополучно.

Доктор Сеймур. Вы назначили пятнадцатилетний срок, чтобы легче провести свой проект?

Аллан. Да!

(Защитники помертвели.)

Доктор Сеймур. Ваша правдивость делает вам честь, господин Аллан!

Мак сказал правду и должен был испытать на себе последствия этого.

Доктор Сеймур начал свое summing-up [резюме (англ.)]. Он говорил с двух часов дня до двух часов ночи. Дамы, бледневшие от гнева, если им приходилось ждать в магазине лишних пять минут, высидели до конца. Он развернул всю жуткую панораму бедствий, которые туннель принес миру: катастрофу, забастовку, банкротство. Он утверждал, что двух таких человек, как Мак Аллан, довольно, чтобы подорвать экономику всего мира. Аллан изумленно посмотрел на него.

На следующий день в девять утра начались речи защитников, продолжавшиеся до поздней ночи. Защитники распластывались на столе и гладили присяжных под подбородком...

Настал день величайшего напряжения. Тысячи людей теснились вокруг здания суда. Каждый из них потерял из-за Аллана по двадцать, по сто, по тысяче долларов. Они требовали жертвы, и они ее получили.

Присяжные заседатели не осмелились отрицать вину Аллана. Они не хотели быть взорванными динамитной бомбой или пронзенными пулей на лестнице своего дома. Они признали Аллана виновным в том, что он сознательно ввел в заблуждение публику, короче говоря -- в обмане. Опять не хватало бесславно окончившего свои дни С.Вульфа, чье рукопожатие оставляло золотой след.

Приговор суда гласил: шесть лет и три месяца тюремного заключения.

Это был один из тех американских приговоров, которых не может постигнуть Европа. Он был вынесен под давлением народа. Сыграли свою роль политические мотивы, положение в стране. Предстояли выборы, и республиканское правительство хотело задобрить демократическую партию. Аллан спокойно выслушал приговор и тотчас же подал апелляционную жалобу.

Зато аудитория несколько минут пребывала в полном оцепенении.

Но вот раздался возмущенный дрожащий женский голос:

-- В Соединенных Штатах нет больше справедливости! Судьи и присяжные подкуплены пароходными компаниями!

Это была Этель Ллойд. Ее замечание стоило ей некоторой суммы, не считая десяти тысяч долларов, уплаченных адвокатам. И когда во время разбора ее дела, привлекшего огромное внимание, она еще раз оскорбила суд, ее присудили к трем дням ареста за непристойное поведение. Но Этель Ллойд не заплатила добровольно ни одного цента. Пришли описывать ее имущество. Она передала судебному исполнителю пару перчаток с бриллиантовыми пуговицами.

-- Я еще что-нибудь должна? -- спросила она.

-- Нет, благодарю вас, -- ответил чиновник и унес перчатки.

Но когда подошло время и Этель должна была отправиться за решетку, это пришлось ей не по вкусу. Три дня jail? No, Sir! [Тюрьмы? Нет, сэр! (англ.)] Она удрала на своей яхте "Золотая рыбка" и крейсировала в двадцати милях от берега, где никто не мог ее тронуть. Ежечасно она разговаривала с отцом по беспроволочному телеграфу. Радиостанции редакций газет перехватывали все разговоры, и Нью-Йорк целую неделю забавлялся ими. Старик хохотал до слез над проделками своей дочери и обожал ее еще больше. Но так как он не мог жить без Этель, он

попросил ее, наконец, вернуться. Ему, мол, нездоровится. Тотчас Этель повернула нос "Золотой рыбки" к Нью-Йорку и тут сразу же попала в руки правосудия.

Этель отсидела три дня, и газеты считали часы до ее освобождения. Этель вышла на свободу смеясь, была встречена целым роем автомобилей и торжественно доставлена домой.

Тем временем Аллан сидел в государственной тюрьме Атланты. Он не терял бодрости, так как решение суда не принял всерьез.

В июне начался пересмотр дела. Огромный процесс развернулся снова во всех деталях. Но приговор был оставлен в силе, Аллана опять отвезли в тюрьму.

Дело Аллана пошло в верховный суд. И три месяца спустя процесс возобновился в третий раз. Теперь положение стало серьезней. Для Аллана это был вопрос жизни.

Финансовый кризис тем временем смягчился. Торговля, транспорт, промышленность начали оживать. Народ утратил свою фанатическую ненависть. По многим признакам было видно, что кто-то хлопочет по делу Аллана. Утверждали, что это действует Этель Ллойд. В газетах печатались статьи, написанные в более благоприятных тонах. Состав присяжных был теперь совсем иной.

Вид Аллана, когда он предстал перед верховным судом, поразил всех. Лицо его было бледного, нездорового цвета, лоб изрезан глубокими складками, которые не разглаживались даже когда он говорил. Виски его поседели, и он сильно похудел. В глазах погас блеск. Иногда казалось, что он ко всему безучастен.

Волнения последних месяцев не могли сокрушить Аллана, но тюрьма подорвала его здоровье. Такой человек, как Аллан, оторванный от жизни и деятельности, должен был погибнуть, как машина, которая приходит в негодность от длительного бездействия. Он стал беспокоен и плохо спал. Его терзали кошмары, и утром он поднимался измученный. Туннель преследовал его ужасами. Во сне он слышал грохот, в штольни врывалось море, и тысячи людей, как тонущие животные, уносились к устьям туннеля. Туннель всасывал все, как воронка: он поглощал мастерские и дома, Туннельный город соскальзывал в пропасть. Пароходы, вода, земля... Нью-Йорк клонился и оседал. Нью-Йорк пылал, как факел, и он, Аллан, спасался по крышам плавящегося города. Он видел С.Вульфа, разрезанного на три части, и каждая из них жила и молила его о пощаде.

Верховный суд оправдал Аллана. Оправдательный приговор был встречен ликованием. Этель Ллойд махала платком, как флагом. Аллан шел к своему автомобилю под прикрытием, -- его бы разорвали, чтобы получить что-нибудь на память. Улицы, прилегавшие к зданию, гремели:

-- Мак Аллан! Мак Аллан!

Ветер переменился.

У Аллана было только одно желание, за которое он цеплялся остатками своей энергии: одиночество, безлюдье...

Он отправился в Мак-Сити.

Часть шестая

1

Туннель был мертв. Шаги гулко отдавались в пустынных штольнях, и голос звучал, как в погребе. На станциях день и ночь равномерно и тихо пели машины, обслуживаемые молчаливыми, озлобленными инженерами. Редкие поезда с лязгом уходили в туннель, выходили наружу. Только в подводном ущелье еще копошились питтсбургские рабочие. Туннельный город был пуст, запылен, безлюден. Воздух, прежде полный грохота бетономешалок и стука поездов, был тих, земля больше не дрожала. В порту стояли ряды мертвых пароходов. Почти все машинные залы, прежде сверкавшие, как феерические дворцы, теперь покоились во мраке, черные и безжизненные, как руины. Огонь портового маяка погас.

Аллан жил в пятом этаже здания главной конторы. Его окна смотрели на море пустых, покрывшихся пылью железнодорожных путей. Первые недели он совсем не выходил из дому. Потом провел несколько недель в штольнях. Он не встречался ни с кем, кроме Штрома. Друзей в Мак-Сити у него не было. Хобби давно покинул свою виллу. Он отказался от своей профессии и купил ферму в Мэне. В ноябре Аллан имел трехчасовой разговор со стариком Ллойдом, лишивший его всякой надежды. Обескураженный и полный горечи, он в тот же день уехал на синдикатском пароходе. Он посетил океанские и европейские станции, и в газетах появились краткие заметки об этом. Но никто не читал их. Мак Аллан был забыт, как и туннель, -- новые имена сверкали над миром.

Когда весной он вернулся в Мак-Сити, это никого не интересовало. Кроме Этель Ллойд!

Этель несколько недель ждала его визита к Ллойду. Но он не давал о себе знать, и она написала ему короткое любезное письмецо: она узнала о его возвращении, ее отец и она были бы рады видеть его у себя; сердечный привет.

Но Аллан не ответил.

Этель была удивлена и обижена. Она вызвала лучшего сыщика в Нью-Йорке и поручила ему немедленно собрать сведения об Аллане. На следующий же день сыщик сообщил ей, что Аллан ежедневно работает в туннеле. Между семью и двенадцатью вечера он обычно возвращается. Он живет в полном уединении и со дня своего приезда не принял ни одного человека. Попасть к нему можно только через Штрома, а Штром неумолимее тюремщика.

Вечером того же дня Этель приехала в вымерший Туннельный город и попросила доложить о себе Аллану. Ей сказали, чтобы она обратилась к господину Штрому. Но Этель была к этому подготовлена. С господином Штромом она как-нибудь справится! Она видела Штрома на процессе Аллана. Она ненавидела его и одновременно восторгалась им. Негодуя на его бесчеловечную холодность и пренебрежение к людям, она восхищалась его мужеством. Сегодня он будет иметь дело с Этель Ллойд! Она оделась изысканно: шуба из сибирской чернобурой лисицы, на шапочке -- лисья голова и лапы. Своему лицу она придала самое кокетливое и победоносное выражение, убежденная в том, что мгновенно ослепит Штрома.

-- Я имею честь говорить с господином Штромом? -- самым вкрадчивым голосом начала она. -- Меня зовут Этель Ллойд. Я хотела навестить господина Аллана!

Но Штром и глазом не моргнул. Ни ее всемогущее имя, ни чернобурая лиса, ни прекрасные улыбающиеся губы не произвели на него ни малейшего впечатления. Этель испытывала унизительное чувство, будто ее посещение смертельно тяготит его.

-- Господин Аллан в туннеле, сударыня! -- холодно сказал он.

Его взгляд и наглость, с которой он лгал, возмутили Этель. Она сбросила свою любезную личину и побледнела от гнева.

-- Вы лжете! -- ответила она и возмущенно усмехнулась. -- Мне только что сказали, что он здесь.

Штром сохранил полное спокойствие.

-- Я не могу заставить вас верить мне. Прощайте! -- ответил он.

И это было все.

Ничего подобного не приходилось переживать Этель Ллойд. Дрожа, вся бледная, она ответила:

-- Вы еще вспомните обо мне, сударь! До сих пор никто не осмеливался так нагло разговаривать со мной! Когда-нибудь я, Этель Ллойд, укажу вам на дверь! Вы слышите?

-- Тогда я не стану терять столько слов, как вы, сударыня, -- холодно ответил Штром.

Этель заглянула в его ледяные стеклянные глаза и бесстрастное лицо. Ей хотелось просто сказать ему, что он не джентльмен, но она взяла себя в руки и смолчала. Она бросила на него самый уничтожающий взгляд, -- о, что за взгляд! -- и ушла.

Спускаясь с лестницы со слезами гнева на глазах, она подумала: "Наверно, он тоже сошел с ума, этот василиск! Туннель всех сводит с ума -- Хобби, Аллана, -- достаточно поработать в нем несколько лет".

Возвращаясь в автомобиле домой, Этель плакала от злости и разочарования. Она собиралась пустить в ход все свои чары, чтобы покорить Штрома, за которым прятался Аллан, но его наглый, холодный взор мгновенно лишил ее самообладания. Она плакала от ярости, вспоминая свою неудачную тактику. "Ну, этот субъект еще припомнит Этель Ллойд! -- сказала она со злобным смехом. -- Я куплю весь туннель, только чтобы иметь возможность выкинуть этого молодца. Just wait a little!" [Погоди немного! (англ.)]

За столом в этот вечер она сидела против отца бледная и молчаливая.

-- Передайте господину Ллойду соусник! -- накинулась она на слугу. -- Разве вы не видите?

И слуга, хорошо знавший характер Этель, исполнил ее приказание, не посмев выказать неудовольствие.

Старик Ллойд робко посмотрел в холодные, властные глаза красавицы дочери.

Этель не останавливалась перед препятствиями. Она заинтересовалась Алланом. Она хотела поговорить с Алланом и поклялась сделать это во что бы то ни стало. Но ни за что на свете она не обратилась бы еще раз к Штрому. Она презирала его! И была уверена, что и без этого Штрома, который вел себя отнюдь не как джентльмен, достигнет своей цели.

В ближайшие вечера старику Ллойду было невесело, -- ему приходилось обедать в одиночестве. Этель просила извинить ее. Ежедневно в четыре часа дня она уезжала в Мак-Сити и возвращалась поездом в половине одиннадцатого вечера. С шести до девяти часов она ждала в десяти шагах от главного входа в здание конторы, сидя в наемном автомобиле, который заказала еще в Нью-Йорке.

Закутанная в меха, она сидела в автомобиле, дрожа от холода, возбужденная собственной смелостью, немного стыдясь своей роли, и выглядывала сквозь замерзшие стекла, которые по временам оттаивала своим дыханием. Несмотря на несколько дуговых фонарей, вырывавших во мраке ослепительные пещеры, кругом было очень темно, и запутанная сеть рельсов тускло мерцала. Как только раздавался малейший шум или показывался кто-нибудь, Этель напрягала зрение и сердце у нее начинало биться учащенно.

На третий вечер она впервые увидела Аллана. Он пересекал железнодорожные пути с каким-то спутником, и она тотчас же узнала Мака по походке. Но его спутником оказался Штром. Этель проклинала его! Они прошли вплотную мимо автомобиля, и Штром повернулся к искрившемуся замерзшему окну. Этель подумала, что он угадал, кто сидит в автомобиле, и сразу же испугалась, что он обратит на это внимание Аллана. Но Штром пошел дальше, не сказав Аллану ни слова.

Два дня спустя Аллан как-то вернулся из туннеля уже в семь часов. Он спрыгнул с медленно шедшего поезда и не спеша перешел через рельсы. Тихо, задумавшись, шел своей дорогой, все ближе подходя к дому. Когда он поставил ногу на ступеньку подъезда, Этель распахнула дверцу автомобиля и окликнула его.

Аллан на миг остановился и оглянулся. Потом, видимо, решил двинуться дальше.

-- Аллан! -- повторила Этель и приблизилась.

Аллан повернулся к ней и быстро, испытующе посмотрел ей в лицо, прикрытое вуалью.

Он был в широком коричневом пальто, кашне и высоких сапогах, залепленных грязью. Лицо у него было худое и жесткое. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

-- Этель Ллойд? -- медленно проговорил Аллан низким равнодушным голосом.

Этель смутилась. Она уже плохо помнила голос Аллана, теперь же узнала его. Она медлила поднять вуаль, чувствуя, что покраснела.

-- Да, -- нерешительно отозвалась она, -- это я, -- и подняла вуаль.

Аллан смотрел на нее серьезными, ясными глазами.

-- Что вы тут делаете? -- спросил он.

Но Этель уже овладела собой. Она поняла, что ее дело будет проиграно, если в этот миг она не найдет верного тона. И инстинктивно она его нашла. Она рассмеялась весело и мило, как дитя, и сказала:

-- Не хватает только, чтобы вы меня выбранили, Аллан! Мне надо с вами поговорить, и так как вы никого к себе не пускаете, я два часа подстерегала вас здесь в автомобиле.

Взор Аллана не изменился. Но его голос прозвучал довольно любезно, когда он предложил ей войти.

Этель облегченно вздохнула. Опасный момент миновал. Войдя в лифт, она испытала чувство радости, освобождения и счастья.

-- Я вам писала, Аллан! -- сказала она, улыбаясь.

Аллан не смотрел на нее.

-- Да, да, я знаю, -- рассеянно ответил он и опустил глаза, -- но, откровенно говоря, у меня тогда... -- и Аллан пробормотал что-то, чего она не поняла.

Лифт остановился, Лайон открыл дверь в квартиру Аллана. Этель была удивлена и обрадована, увидев старика.

-- Вот и наш старый Лайон! -- сказала она и протянула старому тощему китайцу руку, как доброму знакомому. -- Как поживаете, Лайон?

-- Thank you [благодарю вас (англ.)], -- чуть слышно прошептал смущенный Лайон и поклонился, всасывая сквозь зубы воздух.

Аллан извинился перед Этель и попросил минутку обождать. Лайон ввел ее в большую, хорошо натопленную комнату и тотчас же ушел. Этель расстегнула пальто и сняла перчатки. Комната была обставлена обыденно и безвкусно. Очевидно, Аллан по телефону заказал мебель в первом попавшемся магазине и предоставил устройство комнаты обойщику. К тому же занавеси были как раз сняты, и сквозь голые оконные рамы виднелись черные квадраты неба с тремя-четырьмя холодно сверкавшими звездами. Через некоторое время Лайон вернулся и подал чай с горячим хлебом. Затем вошел Аллан. Он переоделся и сменил сапоги на ботинки.

-- Я к вашим услугам, мисс Ллойд, -- серьезно и спокойно сказал он, садясь в кресло. -- Как поживает мистер Ллойд?

И Этель видела по его лицу, что она ему _не нужна_.

-- Благодарю вас, отец здоров, -- рассеянно ответила она.

Теперь она могла хорошо разглядеть Аллана. Он сильно поседел и казался постаревшим на много лет. Его заострившееся лицо было неподвижно, как каменное, на нем застыло выражение скрытого озлобления и немого упорства. От глаз веяло холодом, они были безжизненны и не позволяли чужому взору проникнуть в них.

Если бы Этель действовала обдуманно, она завела бы с Алланом пустой разговор, чтобы дать возможность ему и себе самой постепенно освоиться с положением. Она и собиралась так поступить и даже хотела пожаловаться на Штрома, но, видя перед собой Аллана таким изменившимся, чуждым, невнимательным, перестала противиться своему побуждению. Сердце подсказывало ей, что должен быть какой-нибудь способ захватить и удержать Аллана.

Она заговорила сердечным и интимным тоном, как будто они когда-то были близкими друзьями.

-- Аллан! -- сказала она, протягивая ему руку и окидывая его светлым взором своих голубых глаз. -- Вы не можете представить себе, как я рада вас видеть!

Ей стоило труда скрыть свое волнение.

Аллан протянул ей огрубевшую и жесткую руку, но в его взгляде отразилось легкое добродушное презрение к такому роду проявления женской симпатии.

Этель не обратила на это внимания. Ее уже нельзя было запугать.

Она посмотрела на Аллана и покачала головой.

-- У вас плохой вид, Аллан, -- продолжала она. -- Жизнь, которую вы сейчас ведете, не для вас. Я отлично понимаю, что на некоторое время вы нуждались в покое и уединении, но я не думаю, чтобы вы могли долго вести такой образ жизни. Не сердитесь, что я вам это говорю. Вам нужна ваша работа -- вам не хватает _туннеля_! Больше ничего!

Это была истина, она попала прямо в цель. Аллан сидел и пристально смотрел на Этель. Он не возразил ни слова и не делал ни малейшей попытки прервать ее.

Этель застигла его врасплох и использовала его смущение по мере сил. Она говорила так быстро и возбужденно, что вообще было бы невежливо с его стороны остановить ее. Она упрекала его в том, что он сам совсем забросил своих друзей, что он похоронил себя в этом мертвом городе. Она описала ему свое столкновение со Штромом, говорила о Ллойде, о Нью-Йорке, о знакомых и все время возвращалась к туннелю. Кто же закончит туннель, если не он? Кому мир доверит эту задачу? И, наконец, помимо всего этого, говоря прямо, он погибнет, если в ближайшее время не вернется к своей работе.

Глаза Аллана потемнели и омрачились, -- столько горечи, боли, тоски и томительного желания взбудоражила в нем Этель.

-- Зачем вы мне все это говорите? -- спросил он, коснувшись гостьи недовольным взглядом.

-- Я прекрасно знаю, что не имею никакого права вам это говорить, -- ответила она, -- разве только право дружбы или знакомства. Но я говорю это вам потому... -- Однако Этель не нашла объяснения и продолжала: -- Я только упрекаю вас в том, что вы закопали себя в этой отвратительной комнате, вместо того чтобы перевернуть небо и землю и завершить постройку туннеля.

Аллан снисходительно покачал головой и улыбнулся с покорностью судьбе.

-- Мисс Ллойд, -- возразил он, -- я вас не понимаю. Я перевернул небо и землю, и я ежедневно делаю все зависящее от меня. О возобновлении работ пока нечего и думать.

-- Почему?

Аллан удивленно посмотрел на нее.

-- У нас нет денег, -- коротко сказал он.

-- Кто же может достать деньги, если не _вы_? -- быстро возразила Этель, тихо улыбаясь. -- Пока вы себя замуровываете здесь, вам, конечно, никто денег не даст.

Аллану надоел этот разговор.

-- Я пробовал все, -- сказал он, и по тону его голоса она чувствовала, что становилась ему в тягость.

Она взяла перчатки и, натягивая левую, спросила:

-- А с папой вы говорили?

Аллан кивнул, избегая ее взгляда.

-- С мистером Ллойдом? Конечно! -- ответил он.

-- Ну, и?..

-- Мистер Ллойд не подал мне ни малейшей надежды! -- ответил он и взглянул на Этель.

Этель засмеялась своим легким, детским смехом.

-- Когда, Аллан, -- спросила она, -- когда это было?

Аллан старался вспомнить:

-- Это было прошлой осенью.

-- Вот как, осенью? -- переспросила Этель и сделала удивленное лицо. -- Папа тогда был связан. Теперь дело обстоит совсем иначе. -- И Этель Ллойд выпустила свой тяжелый снаряд: -- Папа сказал мне: "Я, может быть, взялся бы за достройку. Но я, конечно, не могу идти к Аллану. Надо, чтобы Аллан обратился ко мне".

Это она сказала так, между прочим.

Аллан сидел безмолвно, в глубокой задумчивости. Он ничего не сказал. Своим сообщением Этель зажгла огонь в его сердце. Он вдруг услышал грохот возобновившихся работ. Возможно ли? Ллойд?.. Его охватило такое волнение, что он должен был встать.

Он помолчал. Потом взглянул на Этель. Она застегивала перчатки, и это дело, казалось, поглощало все ее внимание.

Этель поднялась и улыбнулась Аллану.

-- Папа, конечно, не поручал мне говорить вам это, Аллан! Он не должен знать, что я здесь была, -- сказала она, понизив голос и протягивая ему руку.

Аллан окинул ее теплым, благодарным взором.

-- Это было, действительно, очень любезно с вашей стороны, что вы посетили меня, мисс Ллойд! -- сказал он и пожал ей руку.

Этель тихо засмеялась.

-- Пустяки, -- сказала она. -- Мне нечего было делать эти дни, и вот я подумала, что хорошо бы посмотреть, как поживает Аллан. Good bye! [До свидания! (англ.)]

И Этель ушла.

2

В этот вечер Этель за обедом была в таком превосходном настроении, что душа Ллойда радовалась. После обеда она обвила руками его шею и сказала:

-- Будет ли у моего дорогого папочки завтра утром время поговорить со мной об одном важном деле?

-- Даже сегодня, если хочешь, Этель!

-- Нет, завтра. И сделает ли мой дорогой папочка все, о чем попросит его Этель?

-- Если смогу, дитя мое.

-- Ты сможешь, папа!

На другой день Аллан получил собственноручно написанное, очень дружеское приглашение от Ллойда, явно свидетельствовавшее, что оно написано под диктовку Этель.

"Мы будем совсем одни, -- писал Ллойд, -- только втроем".

Аллан застал Ллойда в отличном настроении. Старик еще больше высох, и Аллану показалось, что он начинает впадать в детство. Так, он совершенно забыл о том, что Аллан посетил его прошлой осенью. Ллойд снова рассказал ему все подробности процесса Этель и смеялся до слез, когда описывал, как Этель издевалась над властями, плавая

по морю на своей яхте. Он болтал о событиях последней осени и зимы, о скандалах и выборах. Хотя его разум как будто ослабел, он был еще очень оживлен, интересовался всеми новостями, хитрил и лукавил. Аллан рассеянно поддерживал беседу, слишком занятый своими мыслями. Он все не находил случая перевести разговор на туннель. Ллойд показывал ему проекты обсерваторий, которые он хотел подарить разным нациям, и как раз в тот момент, когда Аллан собрался заговорить о том, что ему было дорого, слуга доложил, что мисс Ллойд ждет их к столу.

Этель была одета как на придворный бал. Она была ослепительна. Блеск, свежесть, величие излучала она. Не будь на подбородке все разраставшегося лишая, портившего лицо, ее можно было бы признать первой красавицей Нью-Йорка. Аллан был поражен, когда увидел Этель. Он никогда раньше не замечал, как она хороша. Но еще больше поразил его актерский талант, который она обнаружила при встрече.

-- Вот и вы, наконец, Аллан! -- воскликнула она, глядя на него сияющими, искренними голубыми глазами. -- Как давно мы-не виделись! Где же вы пропадали все это время?

-- Не будь так любопытна, Этель, -- укоризненно сказал Ллойд.

Этель рассмеялась. За столом она была в великолепном расположении духа. Они обедали за большим круглым столом красного дерева, который Этель ежедневно сама украшала цветами. Среди моря цветов голова Ллойда казалась причудливой, как коричневый череп мумии. Этель все время была очень внимательна к отцу. Он должен был есть только то, что она позволяла, и, отказывая ему в чем-нибудь, она ребячески хохотала. Все, что приходилось ему по вкусу, было запрещено врачами.

Его лицо исказилось гримасой удовольствия, когда Этель положила ему немного майонеза с омарами.

-- Сегодня мы не будем так строги, dad [папочка (англ.)], -- сказала она, -- потому что у нас в гостях господин Аллан.

-- Приходите как можно чаще, господин Аллан, -- прохрипел Ллойд. -- Она лучше обращается со мной, когда вы здесь.

Этель пользовалась каждым случаем, чтобы дать понять Аллану, как она обрадована его посещением.

После обеда пили кофе в высоком зале, похожем на пальмовую оранжерею. В громадном камине -- замечательном и дорогом произведении эпохи Ренессанса -- пылали прекрасно имитированные большие буковые поленья.

Где-то плескался незримый фонтан. Здесь было так темно, что видны были только силуэты сидевших. Ллойд должен был беречь свои воспаленные глаза.

-- Спой нам, детка! -- сказал Ллойд, закуривая большую черную сигару.

Эти сигары изготовлялись специально для него в Гаване и были единственной роскошью, которую он себе позволил.

Этель покачала головой:

-- Нет, dad, Аллан не любит музыки.

Коричневый череп мумии повернулся к Аллану:

-- Вы не любите музыки?

-- У меня нет слуха, -- ответил Аллан.

Ллойд кивнул.

-- Это естественно, -- начал он с неторопливой важностью старца. -- Вам надо _мыслить_, и вам не нужна музыка... Прежде со мной было то же самое. Но когда я стал старше и у меня явилась потребность _мечтать_, я вдруг полюбил ее. Музыка нужна только детям, женщинам и людям со слабой головой...

-- Фи, отец! -- воскликнула Этель со своей качалки.

-- Я пользуюсь привилегией возраста, Аллан, -- болтливо продолжал Ллойд. -- Впрочем, к музыке меня приучила Этель, моя маленькая Этель, которая сидит там и смеется над своим отцом!

-- Разве папа не очарователен? -- сказала Этель и посмотрела на Аллана.

Потом, после маленькой горячей перепалки между отцом в дочерью, во время которой Ллойду здорово досталось, Ллойд сам заговорил о туннеле:

-- Как обстоит дело с туннелем, Аллан?

Из всех его вопросов ясно было видно, что Этель обо всем переговорила с отцом и Ллойд хотел облегчить Аллану задачу "обратиться к нему".

-- Немцы собираются организовать регулярное воздушное сообщение, -- сказал Ллойд. -- Вам следует поскорее двинуть дело, Аллан!

Момент настал. И Аллан сказал ясно и громко:

-- Дайте мне ваше имя, господин Ллойд, и я завтра же приступлю к работе!

На это Ллойд неторопливо ответил:

-- Я уже давно хотел предложить вам это, Аллан. Я даже думал написать вам об этом, когда вас здесь не было. Но Этель говорила: "Подожди, пока Аллан сам обратится к тебе!" Она мне не позволила!

И Ллойд торжествующе заклохтал от радости, что нанес Этель удар. Но тут же на его лице появилось выражение крайней растерянности, так как Этель возмущенно ударила ладонью по ручке кресла, встала, вся побледнев, и крикнула, сверкая глазами:

-- Отец! Как ты смеешь говорить такие вещи!

Она откинула шлейф, вышла и так хлопнула дверью, что зал задрожал.

Аллан сидел бледный и молчаливый: Ллойд выдал ее!

Старик смущенно вертел головой из стороны в сторону.

-- Что я ей сделал? -- пробормотал он. -- Ведь это была только шутка! Я же не всерьез! Что же я сказал худого? О, как она умеет сердиться!

Он взял себя в руки и старался казаться опять веселым и довольным.

-- Ничего, она вернется, -- сказал он, успокоившись. -- У нее прекрасная душа, Аллан! Но она вспыльчива и капризна, вся в мать. Впрочем, через некоторое время она обычно возвращается, опускается возле меня на колени, поглаживает меня и говорит: "Прости, папочка, я сегодня не в духе!"

Качалка Этель все еще не остановилась. В зале было очень тихо. Журчал и плескал незримый фонтан. На улице, словно пароходы в тумане, беспрестанно гудели автомобили.

Ллойд взглянул на безмолвно сидевшего Аллана, потом оглянулся на дверь и прислушался. Через некоторое время он позвонил слуге.

-- Где мисс Ллойд? -- спросил он.

-- Мисс Ллойд пошла к себе.

Старик опустил голову.

-- Тогда мы ее сегодня больше не увидим, Аллан, -- сказал он тихо и грустно после небольшой паузы. -- Тогда я и завтра ее не увижу. А день без Этель для меня потерян. У меня нет ничего на свете, кроме Этель!

Ллойд качал маленькой лысой головой и не мог успокоиться.

-- Аллан, обещайте мне прийти завтра, чтобы мы могли умиротворить Этель. Кто может понять эту девушку? Если бы я только знал, за что она рассердилась на меня!

Ллойд говорил печальным голосом. Он был глубоко огорчен. Потом он умолк и с поникшей головой уставился перед собой. Он производил впечатление несчастного, отчаявшегося человека.

Вскоре Аллан поднялся и, извинившись перед Ллойдом, сказал, что должен уйти.

-- Вот и вам я испортил настроение своей глупостью, -- закивал Ллойд и протянул Аллану маленькую руку, мягкую, как у девушки. -- А она так радовалась, что вы пришли! Она была в таком чудесном настроении! Весь день она меня называла dad!

И Ллойд остался один в полутемном пальмовом зале. Незаметный в огромном помещении, он сидел, глядя перед собой. Старый, одинокий человек.

Тем временем Этель, изорвав от гнева и стыда полдюжины Платков, мысленно бросала отцу несвязные упреки:

"Как он мог это сказать!.. Как он только мог!.. Что теперь Аллан подумает обо мне!.."

Аллан закутался в пальто и покинул дом. На улице ждал автомобиль Ллойда, но Аллан отказался от него. Он медленно направился вдоль улицы. Шел снег. Падали бесшумные, мягкие хлопья, и шаги Аллана по снежному ковру были неслышны.

Горькая улыбка застыла на его устах. Аллан понял!

Он по своей природе был прост и откровенен и редко задумывался над Побуждениями своих ближних. У него не было страстей, и потому он не понимал чужих страстей. Он не умел хитрить и не предполагал ни интриг, ни хитростей со стороны других.

В том, что Этель посетила его в Туннельном городе, он не видел ничего необыкновенного. В прежние годы она часто бывала у него в доме и была с ним в хороших отношениях. То, что она явилась сообщить о готовности Ллойда прийти ему на помощь, он оценивал как дружескую услугу. Теперь же, наконец, он раскусил Этель! Ей надо, чтобы он чувствовал себя обязанным ей лично! Чтобы он думал, будто это она, Этель, уговорила отца пойти на большой финансовый риск... Одним словом, Этель Ллойд хочет, чтобы от нее зависело, получит ли он возможность строить дальше... Но Этель Ллойд предъявляла свои условия. Ценою должен быть он сам! Этель хотела его! Но, честное слово, Этель его плохо знает!

Аллан шел все медленнее. Ему казалось, что он тонет в снегу, во мраке горечи и разочарования. Последней его надеждой был Ллойд. Но при таких условиях нечего было и думать о его помощи. В этот вечер потонула его последняя надежда.

На следующее утро Аллан получил от Ллойда телеграмму, в которой старик убедительно просил его прийти к ужину. "Я попрошу Этель поужинать с нами и уверен, что она не откажется. Я сегодня еще не видел ее", -- телеграфировал Ллойд.

Аллан ответил, что не имеет возможности прийти, так как в северную штольню ворвалась в большом количестве вода. Это была правда, но его присутствие отнюдь не было необходимым.

День за днем он проводил в мертвых штольнях и всем сердцем был прикован ко мраку там, внутри. Вынужденная бездеятельность грызла его, как горе.

Через неделю, в ясный зимний день, Этель Ллойд появилась в Мак-Сити.

Она вошла в бюро Аллана как раз в то время, когда он совещался со Штромом. Она была закутана в белоснежную шубу, свежая, сияющая.

-- Алло, Аллан! -- начала она с места в карьер, как будто ничего и не произошло. -- Какая удача, что я застала вас! Меня послал за вами папа.

Она совершенно игнорировала Штрома.

-- Господин Штром! -- представил Аллан, смущенный бесцеремонностью Этель.

-- Я уже имел честь! -- пробормотал Штром, поклонился и вышел.

Этель не обратила на это ни малейшего внимания.

-- Да, -- весело продолжала она, -- я приехала за вами, Аллан. Сегодня концерт филармонического оркестра, и папа просит вас пойти с нами. Мой автомобиль ждет внизу.

Аллан спокойно заглянул ей в глаза.

-- У меня еще есть работа, мисс Ллойд, -- сказал он.

Этель выдержала его взгляд и приняла огорченный вид.

-- Боже мой, Аллан, -- воскликнула она, -- я вижу, вы сердитесь на меня за мою недавнюю выходку! Я плохо вела себя, но скажите, хорошо ли это было со стороны папы сказать такую вещь? Словно я веду какую-то интригу против вас! Но папочка сказал, чтобы я вас непременно сегодня привезла. Если вы еще заняты, я могу подождать. Погода великолепна, и я тем временем покатаюсь. Но я могу на вас рассчитывать? Я тотчас же позвоню папочке.

Аллан хотел отказаться. Но, взглянув в глаза Этель, он понял, что этот отказ смертельно оскорбит ее и его надеждам суждено тогда окончательно погибнуть. Однако он не мог заставить себя согласиться и ответил уклончиво:

-- Может быть. Сейчас я это еще не могу сказать.

-- Но до шести часов вы, надеюсь, решите? -- спросила Этель любезно и скромно.

-- Я думаю. Но едва ли мне удастся поехать.

-- До свидания, Аллан! -- весело сказала Этель. -- В шесть часов я справлюсь и надеюсь, что мне повезет.

Ровно в шесть часов машина Этель остановилась перед домом.

Аллан выразил сожаление -- он занят, и Этель уехала.

3

Аллан сжег свои корабли.

Несмотря на безнадежность положения, он решил сделать еще одну попытку. Он обратился к правительству, что безуспешно пробовал и прежде. Три недели он провел в Вашингтоне и был гостем президента. Президент дал в его честь обед. Ему оказывали уважение и почет, точно низложенному монарху. Но об участии в сооружении туннеля правительство пока не могло и думать.

После этого Аллан еще в последний раз постучался в двери банков и великих держав финансового мира. И так же безуспешно. Но некоторые банки и крупные капиталисты дали ему понять, что приняли бы, пожалуй, участие в деле, если бы Ллойд подал им пример. Таким образом, Аллан снова вернулся к Ллойду.

Ллойд встретил его очень любезно. Он принял его в своем тихом кабинете, поговорил с ним о бирже и о положении на мировом рынке, в мельчайших подробностях описал положение с нефтью, сталью, сахаром, хлопком и транспортом. Неслыханное понижение после неслыханного повышения! Мир все еще отставал на десять лет в своем экономическом развитии, несмотря на то, что делал отчаянные усилия подняться.

Как только появилась возможность прервать Ллойда, Аллан напрямик пошел к своей цели. Он очертил старику позицию правительства, и Ллойд внимательно слушал его, склонив голову.

-- Это все верно! Вам не солгали, Аллан! В конце концов вы можете еще подождать от трех до пяти лет.

Лицо Аллана передернулось.

-- Это невозможно! -- воскликнул он. -- От трех до пяти лет! Я надеялся на вас, господин Ллойд!

Ллойд задумчиво покачал головой.

-- Ничего не выйдет! -- решительно сказал он и сжал губы.

Оба молчали. Вопрос был исчерпан.

Но когда Аллан хотел проститься, Ллойд пригласил его остаться к обеду. Аллан колебался -- он был не в силах расстаться с Ллойдом. Хотя это и было безумием, он лелеял тень надежды.

-- Этель будет поражена! Она ведь не подозревает, что вы здесь!

"Этель, Этель..." Упомянув о своем божке, Ллойд уже не мог говорить ни о чем другом. Он излил перед Алланом свою душу.

-- Подумайте, -- сказал он, -- Этель на две недели уезжала на своей яхте как раз в самую скверную погоду. Я подкупил телеграфиста -- да, подкупил, так приходится поступать с Этель! -- но он не сообщал мне ничего. Этель разгадала мою хитрость. Она в дурном настроении, и мы опять повздорили. Но каждый день, когда я не вижу Этель, для меня мука. Я сижу и все жду ее. Я стар, Аллан, и у меня нет никого, кроме моей дочери.

Этель была крайне удивлена, когда вдруг увидела Аллана. Она нахмурилась, но затем быстро пошла ему навстречу, радостно протянула руку и слегка покраснела.

-- Вы у нас, Аллан! Как хорошо! Я несколько недель была сердита на вас, должна вам сознаться в этом чистосердечно.

Ллойд хихикал. Он знал, что теперь у Этель улучшится настроение.

-- Тогда я не мог пойти в концерт.

-- Аллан, вы ведь не умеете лгать! Послушай, папочка, как Аллан лжет. Он не хотел! Вы не хотели, Аллан! Скажите откровенно.

-- Ну -- не хотел.

Ллойд сделал испуганное лицо. Он ждал грозы. Этель могла разбить тарелку и выбежать из комнаты. Он удивился, когда Этель только рассмеялась в ответ.

-- Вот видишь, папочка, каков Аллан! Он всегда говорит правду.

И Этель весь вечер была весела и любезна.

-- Послушайте, друг мой Аллан, -- сказала она при расставании, -- в другой раз вы не должны так гадко со мной поступать. Я вам этого больше не прощу!

-- Я постараюсь! -- шутливо ответил Аллан.

Этель взглянула на него. Тон, которым он это сказал, не понравился ей. Но она не выдала себя и, улыбаясь, сказала:

-- Хорошо, посмотрим!

Аллан сел в автомобиль Ллойда и застегнул пальто. Он отдался своим думам и сказал себе: "Старик Ллойд _ничего_ не сделает без нее и сделает _все_ для нее!"

Несколько дней спустя Аллан входил с Этель в ложу концертного зала на Мэдисоновской площади.

Они вошли во время исполнения и привлекли к себе столько внимания, что увертюра "Эгмонта" прошла почти незамеченной.

-- Этель Ллойд и... Мак Аллан!!

Платье Этель представляло собой целое состояние. Она заставила работать фантазию трех художников-костюмеров Нью-Йорка. Платье было сделано из ткани, вышитой серебром, и отделано горностаем; оно великолепно выделяло шею и затылок. В волосах у нее был султан из перьев, скрепленный бриллиантовым аграфом.

Они были одни. Этель умудрилась в последнюю минуту уговорить Ллойда, уже одетого для концерта, остаться дома, так как у него был нездоровый вид. Она назвала его my dear little dad and pa [мой дорогой маленький папочка (англ.)], и ослепленный любовью Ллойд почел за счастье три часа, сидя в кресле, прождать дочь.

Этель хотела, чтобы ее видели вдвоем с Алланом и чтобы ложа была освещена.

В антракте все бинокли были обращены на ложу и слышались голоса:

-- Мак Аллан! Мак Аллан!

Слава Аллана вернулась к нему в тот же миг, как только он показался рядом с миллиардершей. Испытывая острый стыд, он отодвинулся в глубь ложи.

Но Этель обернулась к нему с интимной, достаточно понятной улыбкой, потом наклонилась над барьером, показывая свои красивые зубы и прекрасную улыбку и наслаждаясь триумфом.

Аллан выдержал эту сцену лишь ценой напряжения всех своих сил. Он думал о том вечере, когда сидел с Мод в ложе напротив и ждал, чтобы Ллойд позвал его к себе. Он ясно вспоминал прозрачное розовое ушко Мод, ее Горящие от волнения щеки и мечтательный взгляд, который она устремляла перед собой. И так же ясно он вспомнил голос Этель, когда она впервые протянула ему руку и сказала: "How do you do, Mr.Allan?" [Здравствуйте, господин Аллан! (англ.)] Он мысленно спрашивал себя: "Хотел бы ты, чтобы Ллойд тогда не пришел, чтобы никогда не началась постройка туннеля?" И ужаснулся, когда внутренний голос ответил ему: "Нет!" Даже за Мод и Эдит он не отдал бы своего дела.

Уже на другой день туннельные акции поднялись на семь процентов! Одна наглая газета утром же поместила заметку, сообщавшую, что Этель Ллойд собирается в будущем месяце обручиться с Маком Алланом.

В полдень другая газета напечатала опровержение Этель.

Мисс Ллойд заявляла: "Человек, распространяющий этот слух, первый лжец в мире. Я считаю себя другом Мака Аллана. Это правда, и этим я горжусь!"

Но репортеры сидели в засаде. Несколько недель спустя в газетах появилась заметка, содержавшая прозрачные намеки по поводу возвращения Мака Аллана в Нью-Йорк.

Известие соответствовало действительности, но не имело ни малейшего отношения к Этель Ллойд. Аллан устроился в здании туннельной станции Хобокен. Это сооружение, строившееся по проекту Хобби, еще не было закончено. Оно состояло из центрального корпуса в тридцать этажей с пятидесятиоконным фасадом и высившихся с обеих сторон двадцатипятиэтажных башен шириной в десять окон. Центральный корпус и башни покоились на колоссальных арках, которые вели прямо к вокзальным платформам. Башни были связаны с широким центральным строением двумя парами мостов. Для разнообразия на крышах здания должны были стоять колонны, воздушные аркады висячих садов.

Здание было готово снизу до шестого этажа, и сверху были уже отделаны тридцатый и двадцать девятый этажи. В промежутке была лишь голая решетка железного каркаса, по которой днем ползали и стучали молотками крошечные люди.

Аллан жил в первом этаже, как раз над большой центральной аркой вокзала. Он перевел свое рабочее помещение в большой зал ресторана, откуда открывался великолепный вид на Гудзон и на взморье Нью-Йорка.

Этель не могла отказать себе в удовольствии сделать что-нибудь для украшения огромного неуютного зала, один вид которого мог повергнуть человека в меланхолию. Она велела доставить из своих массачусетских оранжерей целые вагоны комнатных растений и сама привезла в автомобиле тюки ковров.

Вид Аллана не нравился ей. У него был бледный и нездоровый цвет лица. Он быстро седел. Плохо спал и мало ел.

Этель послала ему одного из поваров отца -- искусника-француза; взглянув на человека, он мог безошибочно определить, какое меню придется ему по вкусу. Затем она объявила, что нужнее всего ему свежий воздух, так как штольни отравили его кровь. Без лишних слов она стала приезжать каждый день ровно в шесть в своем автомобиле цвета слоновой кости и увозила Аллана ровно на час кататься. Он не возражал. Во время этих поездок они иногда не обменивались ни единым словом.

Слух о предстоящей помолвке опять стал появляться в газетах. Следствием этого было повышение бумаг синдиката. (Ллойд втихомолку поручил скупить акций на десять миллионов, когда их отдавали почти даром, и уже теперь заработал целое состояние!)

Акции тяжелой промышленности тоже окрепли. Во всех делах -- даже самых ничтожных -- замечалось улучшение. Одно то обстоятельство, что автомобиль Этель каждый день в шесть часов стоял перед станцией Хобокен, влияло на _мировую биржу_.

Аллану надоела угнетавшая его комедия, и он решил действовать.

Во время одной из прогулок он сделал Этель предложение.

Но Этель весело рассмеялась и посмотрела на Аллана большими удивленными глазами.

-- Не говорите глупостей, Аллан! -- воскликнула она.

Аллан встал и постучал шоферу. Он был смертельно бледен.

-- Что вы хотите, Аллан? -- испуганно, не веря своим глазам, спросила Этель и покраснела. -- Мы за тридцать миль от Нью-Йорка!

-- Это безразлично! -- резко ответил Аллан, вылезая из автомобиля.

Он ушел не попрощавшись.

Несколько часов Аллан блуждал по полям и лесам, скрежеща зубами от гнева и стыда. Теперь он покончил с этой интриганкой! Довольно! Никогда, никогда в жизни она больше не увидит его! Черт с ней!..

Наконец он набрел на железнодорожную станцию и вернулся в Хобокен. Он приехал среди ночи. Тотчас же он вызвал свой автомобиль и уехал в Мак-Сити.

Целыми днями он не выходил из туннеля. Он не желал видеть ни людей, ни солнечного света.

4

Этель Ллойд предприняла поездку на своей яхте и провела в море неделю. Она пригласила Вандерштифта и мучила его так, что он готов был броситься за борт и клялся больше никогда не встречаться с Этель.

Вернувшись в Нью-Йорк, она в тот же день подъехала к станции Хобокен и справилась об Аллане. Ей сказали, что он работает в туннеле. Тотчас же Этель послала телеграмму в Мак-Сити. Она просила Аллана простить ее. Его предложение, писала она, было для нее неожиданностью, и растерявшись, она сделала глупость. Она просила его прийти завтра вечером к обеду и сообщала, что даже не ждет ответа, -- пусть это покажет ему, что она безусловно рассчитывает на его приход.

Аллан еще раз выдержал борьбу с самим собой. Он получил телеграмму Этель в туннеле и прочел ее при свете запыленной электрической лампочки. Десятки таких лампочек светили во мраке штольни, -- и это было все. Он думал о мертвых штольнях. Он их видел! Американские, европейские и океанские. Он видел тысячи машин, работавших напрасно. Он видел обескураженных инженеров на покинутых станциях, уставших от однообразных занятий. Сотни инженеров уже покинули его, потому что не могли вынести этой монотонной деятельности. Его глаза пылали. Когда он складывал телеграмму Этель, в его ушах поднялся шум. Он слышал грохот поездов в штольнях, туннельных поездов, торжествующе мчавшихся из Америки в Европу. Они звенели и шумели в его мозгу и опьяняли его своим бешеным темпом...

Этель встретила его шутливыми упреками: он должен был знать, что она избалованная, капризная выдумщица!

С этого дня ее автомобиль опять ровно в шесть часов останавливался перед туннельной станцией. Этель изменила теперь свою тактику. Прежде она осыпала Аллана знаками внимания. Этого она больше не делала. Напротив, она стала приучать Аллана исполнять ее маленькие желания.

Она говорила:

-- Завтра играет Бланш. Я охотно пошла бы, Аллан!

Аллан доставал ложу и смотрел игру Бланш, хотя очень скучал, глядя на женщину, быстро переходящую от истерических рыданий к истерическому смеху.

Теперь Нью-Йорк часто видел Аллана с Этель Ллойд. Этель почти ежедневно проезжала в автомобиле Аллана по Бродвею. И Аллан правил сам, как в то время, когда его здоровье еще не было подорвано. Позади него в пальто, с развевающейся вуалью сидела Этель Ллойд и смотрела на улицу.

Этель настойчиво просила Аллана взять ее с собой в туннель. Аллан исполнил и это ее желание.

Когда поезд быстро спускался в туннель, Этель вскрикивала от удовольствия, а в самом туннеле не переставала изумляться.

Она изучила всю туннельную литературу, но ее фантазия, недостаточно изощренная в области техники, не могла дать ей ясное представление о штольнях. Она не подозревала, что такое четыреста километров в почти абсолютно темном туннеле. Грохот, сопровождавший поезд, настолько сильный, что приходилось кричать, чтобы понять друг друга, приятно пугал ее. Станции вызывали у нее громкие возгласы удивления. Она и представления не имела о том, какие огромные машины работали здесь день и ночь. Ведь это были настоящие машинные залы под океаном! А вентиляция, которая свистела как вихрь, готовый разорвать человека на куски! Через несколько часов среди тьмы, словно огонь маяка, показался красный свет.

Поезд остановился. Они подъехали к злосчастному ущелью. Приблизившись к нему, Этель умолкла. Что это могло значить для нее, если она знала, что ущелье имело от шестидесяти до восьмидесяти метров глубины при ста метрах ширины и что тысяча человек день и ночь добывали в нем руду.

Теперь она своими глазами _видела_, что шестьдесят или восемьдесят метров -- это жуткая глубина, глубина двадцати этажей. Далеко внизу, на глубине двадцати этажей, в тумане из пыли, заволакивавшем видимую часть ущелья, горели ряды дуговых фонарей, и под ними кишели какие-то точки -- люди! Вдруг поднялось облачко пыли, и пушечный выстрел докатился через ущелье в туннель.

-- Что это было?

-- Взорвали скалу.

Они сели в клеть и спустились в ущелье. Они падали мимо дуговых фонарей, и казалось, будто люди быстро подымаются им навстречу. Вот они и внизу, и теперь Этель не могла надивиться _вышине_, с которой они спустились. Устье туннеля казалось маленькими черными воротами. Гигантские тени, тени демонов, огромных, как башни, двигались по стенам...

Этель вернулась домой опьяненная, полная восхищения и весь вечер рассказывала Ллойду о туннеле и о том, что панамские шлюзы -- игрушка по сравнению с ним.

На следующий день всему Нью-Йорку было известно, что Этель была с Алланом в туннеле. Газеты печатали целые столбцы интервью.

А еще через день они сообщили о помолвке Аллана с Этель. Поместили оба портрета.

В конце июня состоялась свадьба. В тот же день Этель Ллойд учредила пенсионный фонд в восемь миллионов долларов для туннельных рабочих.

Свадьбу отпраздновали с княжеской роскошью в банкетном зале отеля "Атлантик", того самого, на крыше которого девять лет назад состоялось знаменитое собрание. В течение трех дней эта сенсационная свадьба давала пищу газетам. "Сандей миррор" подробно занимался приданым Этель. Двести пар обуви! Тысяча пар шелковых чулок! Белье Этель описывалось во всех деталях. И если бы Аллан читал в эти дни газеты, он узнал бы из них, какое счастье выпало на долю коногона из "Дяди Тома", женившегося на Этель Ллойд, подвязки которой были усеяны бриллиантами.

Много лет Нью-Йорк не видал такого избранного общества, как на этой свадьбе. Но старика Ллойда, избегающего людей, не было. В сопровождении своего врача он отплыл на "Золотой рыбке".

Этель блистала. На ней был Розовый бриллиант, и она казалась юной, сияющей, веселой и счастливой.

Аллан тоже казался счастливым. Он шутил и даже смеялся: никто не должен был найти подтверждение общего мнения, что он _продался_ Этель. Но он делал все как в лихорадке. Огромной муки, которую он испытывал от необходимости играть эту комедию, не видел никто. Он думал о Мод, печаль и отвращение теснили его грудь. Никто этого не видел. В девять часов он уехал с Этель в дом Ллойда, где они собирались прожить первые недели. Ни слова не было сказано между ними, да Этель и не требовала, чтобы Аллан говорил. Он откинулся в автомобиле, усталый, изнеможенный, и полузакрытыми глазами безучастно смотрел на кишевшую людьми улицу, полную танцующих огней. Этель попыталась пожать его руку, но рука была холодна и безжизненна.

У Тридцать третьей улицы их автомобиль был задержан и должен был на минуту остановиться. Взор Аллана упал на огромный плакат, кроваво-красные буквы которого освещали улицу.

"Туннель! Сто тысяч человек!"

Он открыл глаза, зрачки расширились, но ни на одну секунду не проходила сковавшая его ужасная душевная усталость.

Этель велела осветить пальмовый зал и попросила Аллана еще немного побыть с ней.

Она не стала переодеваться. В блистательном свадебном туалете, с Розовым бриллиантом на лбу, она уселась в кресло и закурила сигарету, изредка подымая длинные ресницы, чтобы украдкой взглянуть на Аллана.

Аллан ходил взад и вперед, словно он был один, и, останавливаясь, рассеянно рассматривал мебель и цветы.

В зале царила тишина. Незримый фонтан журчал и лепетал. Изредка таинственно шелестело какое-нибудь растение, тянувшееся ввысь. Можно было чуть ли не разобрать слова, которыми обменивались на улице.

-- Ты очень устал, Мак? -- после долгого молчания спросила Этель.

Она говорила тихо и участливо.

Аллан остановился и посмотрел на Этель.

-- Да, -- беззвучно отозвался он, прислонившись к камину. -- Было так много народу!

Они находились в десяти шагах друг от друга, но казалось, что их разделяют целые мили. Никто из новобрачных никогда не чувствовал себя более одиноким, чем они.

Лицо Аллана было бледно, с серым оттенком. Глаза потеряли свой блеск и потухли. У него больше не было сил притворяться. Но Этель казалось, что только теперь он стал человеком, каким была она, человеком с сердцем, способным чувствовать и страдать.

Она встала и приблизилась.

-- Мак! -- тихо позвала она.

Аллан поднял глаза.

-- Послушай, Мак, -- самым нежным голосом начала она, -- я хочу с тобой поговорить. Послушай. Я не хочу, чтобы ты был несчастлив, Мак! Напротив, я всем сердцем стремлюсь к тому, чтобы ты был счастлив -- насколько это возможно. Я не так наивна, чтобы думать, будто ты женился на мне по любви. Нет, я не так глупа. Я не имею права претендовать на твое сердце и не делаю этого. Ты так же свободен и ничем не связан, как был до сих пор. Ты не должен также стараться убедить меня, что ты хоть немного меня любишь, нет! Это смутило бы меня. Я ничего от

тебя не требую, Мак, ничего! Только права, которым я пользуюсь уже несколько недель, права быть иногда хоть короткое время с тобой...

Этель приостановилась. Но Аллан не сказал ни слова.

И Этель продолжала:

-- Я теперь не разыгрываю комедии, Мак! С этим покончено. Я должна была ее разыгрывать, чтобы получить тебя, но теперь, когда цель достигнута, мне это не нужно. Теперь я буду совершенно искренней, и ты увидишь, что я не только капризное гадкое создание, которое мучает людей. Послушай, Мак, я должна тебе все рассказать, чтобы ты меня узнал... Ты понравился мне, как только я тебя увидела! Твой замысел, твоя смелость, твоя энергия привели меня в восторг. Я богата, уже ребенком я знала, что я богата. Моя жизнь должна быть большой и чудесной -- так думала я про себя. Я не отдавала себе в этом ясного отчета, но ощущала это. В шестнадцать лет я мечтала выйти замуж за принца, в семнадцать лет хотела раздарить свои деньги бедным. Все это был вздор. В восемнадцать лет у меня уже не было никаких планов. Я жила так же, как живут все молодые люди, имеющие богатых родителей. Но вскоре это страшно наскучило мне. Я не была несчастна, но и не чувствовала себя счастливой. Жила изо дня в день, веселилась и убивала время как могла. Я тогда вообще ни о чем не думала, -- так мне кажется теперь. И вот пришел к папе Хобби с твоим проектом. Из простого любопытства я пристала к папе, чтобы он открыл мне секрет, так как у них обоих был крайне таинственный вид. Я изучала с Хобби твои чертежи и делала вид, будто я все понимаю. Твой проект меня чрезвычайно заинтересовал, это правда. Хобби рассказывал мне о тебе и о том, какой ты замечательный человек. И в конце концов мне очень захотелось тебя увидеть. Ну вот я и увидела тебя! Ни к одному человеку не чувствовала я такого огромного уважения, как к тебе! Ты мне понравился! Такой простой, такой сильный, такой здоровый! И мне хотелось, чтобы ты был любезен со мной. Но ты был совершенно равнодушен. Как часто я вспоминала этот вечер! Я знала, что ты женат, -- Хобби мне рассказал обо всем, -- и мне тогда и в голову не приходило, что я могла бы стать для тебя чем-нибудь большим, чем другом. Но потом я стала ревновать к Мод. Прости, что я упоминаю о ней! Куда бы я ни шла, везде я слышала и видела твое имя. И я подумала: "Почему бы мне не быть на месте Мод! Как бы это было прекрасно! Тогда имело бы смысл и быть богатой!" Я понимала, что это невозможно, и стремилась быть хотя бы в числе твоих друзей. Вот почему я часто приезжала к вам, только по этой причине. Если я и лелеяла сумасшедшие планы, как бы завлечь тебя, заставить покинуть жену и ребенка, то всерьез об этом не думала и не допускала такой возможности. Но и на почве дружбы я не могла подойти к тебе ближе, Мак! Ты был замкнут, у тебя не было времени для меня, ты мною не интересовался. Я не сентиментальна, Мак, но тогда я была очень, очень несчастна!

Потом произошла катастрофа. Поверь, я бы все отдала, чтобы избежать этого ужаса. Клянусь тебе! Это был жестокий удар, и я страшно страдала. Но я эгоистка, Мак, большая эгоистка! И, еще оплакивая Мод, я все же думала о том, что теперь ты свободен, Мак! Ты свободен! И с этого момента я всячески стремилась приблизиться к тебе. _Мак, я хотела, чтобы ты стал моим_! Забастовка, бойкот, банкротство -- все это было мне на руку, -- судьба вдруг стала моей союзницей. Я месяцами приставала к отцу, чтобы он поручился за тебя. Но отец говорил: "Это невозможно!" В январе я возобновила свою атаку. Но отец опять ответил: "Это совершенно невозможно". Тогда я сказала ему: "Это должно стать возможным, папочка! Подумай, ты должен сделать это возможным!" Я беспредельно мучила отца, которого я искренне люблю. Целыми днями. Наконец он согласился. Он хотел написать тебе и предложить свою помощь. Тогда я стала раздумывать. "Что же дальше? -- подумала я. -- Мак примет папину помощь, пообедает у нас два-три раза и окунется в работу, а ты его больше никогда не увидишь". Я сознавала, что у меня есть только лишь одно оружие -- это папины деньги и папино имя! Прости, Мак, что я так откровенна. Я не замедлила воспользоваться этим оружием. Я потребовала от отца, чтобы он раз в жизни сделал то, о чем я его прошу, не спрашивая о мотивах. Я угрожала ему, моему маленькому, дорогому старичку, что покину его и что он меня никогда, никогда не увидит, если не послушается меня. Это было гадко с моей стороны, но я иначе не могла. Конечно, я не оставила бы отца, я люблю и уважаю его, но я нагнала на него страху. Дальнейшее, Мак, тебе известно. Я действовала некрасиво, но у меня не было другого пути к тебе! Я страдала от этого, но готова была на любые средства. Когда в автомобиле ты сделал мне предложение, я готова была сейчас же согласиться. Но мне захотелось, чтобы и ты приложил некоторые усилия, прежде чем получить меня, Мак...

Этель говорила вполголоса, иногда шепотом. При этом она улыбалась мягкой, приятной улыбкой, ее лицо вытягивалось, она морщила лоб и принимала грустный вид, она качала красивой головой и глядела на Аллана восторженными глазами. Часто волнение заставляло ее прерывать свою речь.

-- Ты меня слушал, Мак? -- спросила она.

-- Да, -- тихо ответил Аллан.

-- Во всем этом, Мак, я должна была тебе откровенно и честно сознаться. Теперь ты это знаешь! Может быть, несмотря на все это, мы можем стать добрыми товарищами и друзьями?

С мечтательной улыбкой заглянула она Маку в глаза, такие же усталые и печальные, как прежде. Он взял ее прекрасную голову в обе руки и кивнул.

-- Я надеюсь, Этель! -- ответил он, и его губы дрогнули.

Увлеченная своим чувством, Этель прижалась на миг к его груди. Потом, глубоко вздохнув, она выпрямилась и смущенно улыбнулась.

-- Еще одно слово, Мак! -- начала она. -- Если я столько сказала тебе, я должна уже сказать все. Я мечтала о тебе, и теперь ты мой! Но послушай: теперь я хочу; чтобы ты мне доверился и меня _полюбил_! Вот задача, которая

стоит передо мной! Постепенно, Мак, слышишь? Я приложу к этому все старания и верю, что достигну успеха! Если бы я в это не верила, я была бы глубоко несчастна... А теперь спокойной ночи, Мак!

И медленно, усталая, словно опьяненная, она вышла из зала.

Аллан по-прежнему неподвижно стоял у камина. Его усталые глаза бродили по залу, в котором он чувствовал себя чужим, и он думал, что его жизнь с этой женщиной, быть может, будет не такой безотрадной, как он опасался.

5

"_Туннель! Сто тысяч человек!_"

И они пришли. Батраки, рудокопы, поденщики, бродяги. Туннель притягивал их, как гигантский магнит. Они приходили из Огайо, Иллинойса, Айовы, Висконсина, Канзаса, Небраски, Колорадо, из Канады и Мексики. Экстренные поезда мчались через Штаты. Из Северной Каролины, Теннеси, Алабамы и Джорджии явились черные батальоны. Многие тысячи из великой армии, которую когда-то рассеяла туннельная катастрофа, теперь возвращались.

Из Германии, Англии, Бельгии, Франции, России, Италии, Испании и Португалии стекались они на строительные участки.

Мертвые туннельные города воскресали. В зеленых, пыльных стеклянных залах опять зажглись бледные луны. Снова пришли в движение краны. Носились белые облака пара, и по-прежнему клокотал черный дым. В железных каркасах новых построек задвигались тени, люди кишели вверху и внизу. Земля дрожала. Снова с шумом и ревом мусорные города изрыгали в небо пыль, дым, пар, свет и огонь.

Снова задымили трубы, задребезжали лебедки пароходов, покоившихся на кладбищах портов Нью-Йорка, Саванны, Нью-Орлеана и Сан-Франциско, Лондона, Ливерпуля, Глазго, Гамбурга, Роттердама, Опорто и Бордо. Зашумели, загремели опустевшие заводы, запыленные паровозы выходили из своих депо и громко дышали. Подъемные клети рудников с повышенной скоростью летели в шахты. Гигантская машина, еле двигавшаяся со времен кризиса, внезапно заработала. Убежище безработных, палаты больниц опустели, бродяги исчезли с проезжих дорог. Банки и биржа находились в сильнейшем возбуждении, словно в воздухе разрывались гранаты. Промышленные акции лезли вверх, бодрость, предприимчивость возвращались. Туннельные акции опять были в почете.

"Ллойд берет туннель в свои руки!"

Ллойд один! Единолично!

Туннель глубоко вздохнул. Как гигантский насос, он начал всасывать и выплевывать людей и на шестой день работал уже полным темпом. В штольнях гремели бурильные машины, раскаленные, свирепые носороги из "алланита" по-прежнему с ревом и воем впивались в скалу. Штольни неистовствовали, хохотали и бредили. Обливавшиеся потом толпы людей снова кидались взад и вперед в ярком свете прожекторов. Как будто ничего не случилось. Стачка, катастрофа -- все было забыто! Аллан требовал прежних адских темпов и как будто забыл о прошлом.

Американскую линию осилить было легче других. Злосчастное ущелье поглотило восемьдесят двойных километров камня. День и ночь катились вглубь лавины камней и щебня. Поперек ущелья выросла насыпь в триста метров шириной. Она была покрыта сетью рельсов, и беспрерывно приходившие из штолен поезда сбрасывали здесь камень. Северная часть за год была засыпана до уровня штолен. На ней разместились огромные залы для динамо, холодильных машин и озонаторов. Через пять лет после возобновления работ штольни американской и бермудской линий настолько сблизились, что Аллан мог разговаривать по беспроволочному телефону со Штромом, руководившим бермудским участком. Он приказал вести направляющие штольни, и весь мир с напряжением ждал момента, когда штольни сомкнутся. В научных кругах было немало людей, сомневавшихся вообще, что это может произойти. Огромные массы камня, жара, громадные залежи железа и электрические явления должны были влиять на действие самых точных инструментов. Но когда направляющие штольни сблизились настолько, что их отделяло всего пятнадцать километров, сейсмографы стали отмечать взрывы в штольнях. На пятнадцатый год строительства направляющие штольни встретились. Вычисления показали расхождение на тринадцать метров по высоте и на десять метров по горизонтали. Исправить такое расхождение не представляло труда. Два года спустя двойные штольни Америка -- Бермудские острова были закончены и заключены в железобетонную броню.

Это имело громадное значение: поезда могли доставлять железо, цемент, рельсы и рабочий персонал на Бермудские острова.

Туннельные акции поднялись на двадцать процентов! Народные деньги начали возвращаться.

Труднее далась проходка французской линии, на которой Аллан для начала вел одну штольню. На четырнадцатом году строительство было задержано вторжением больших масс ила. Прокладке штольни помешала одна из океанских складок. Пришлось пожертвовать тремя километрами пройденной штольни, дорогими машинами и аппаратами. Железобетонная стена толщиною в двадцать метров отгородила штольню от вторжения масс ила и воды. Это вторжение стоило жизни двумстам восьмидесяти двум человекам. Штольню повели в обход опасного места, но на пути снова встретились массы ила, и только после отчаянных усилий удалось справиться с ними. Пять километров этой части линий обошлись в шестьдесят миллионов долларов. Штольня была закончена на двадцать первом году строительства.

С окончанием сооружения французской и американской линий стоимость строительства значительно понизилась. Каждый месяц можно было рассчитывать целые батальоны рабочих. Но, несмотря на это, туннель все еще поглощал миллиарды. Этель вложила в туннель все свое огромное состояние, до последнего цента! Если бы оказалось, что туннель не будет закончен, в тот же день она стала бы нищей. Сам Ллойд участвовал в строительстве такими крупными суммами, что должен был пустить в ход все свои стратегические способности, чтобы удержаться.

Больше всего труда доставили огромные атлантические линии. Целые годы, день и ночь, обливавшиеся потом люди бешено боролись со скалами. Чем глубже они проникали, тем труднее было налаживать транспорт и снабжение съестными припасами, к тому же здесь на многих участках пока прокладывали только одну штольню. Врагом строителей туннеля на этой линии была не вода, а жара. Штольни здесь спускались на глубину шести тысяч метров под уровнем моря. Жара была так сильна, что для крепления пользовались не деревом, а только железом. Воздух в знойной, глубокой и длинной штольне был особенно плохой, потому что лишь двойные штольни давали возможность добиться мало-мальски приличной вентиляции. Через каждые десять километров приходилось вырубать в скале станции, где круглые сутки работали холодильные машины, озонаторы и воздушные насосы.

Это была самая трудная и самая грандиозная работа, какую когда-либо выполнял человек.

С двух сторон все глубже вгрызались бурильные машины. "Толстый Мюллер" двигался с Азорских, Штром -- с Бермудских островов. Штром выполнял сверхчеловеческую работу. Рабочие его не любили, но ценили высоко. Это был человек, способный целыми днями оставаться без пищи, питья и сна. Почти ежедневно он бывал в штольне и часами руководил проходкой. Иногда он сутками не выходил из раскаленных штолен. Рабочие прозвали его "русским чертом".

Ежедневно штольни выплевывали четыре тысячи вагонов камня на Азорскую станцию и три тысячи вагонов на Бермудскую. Вырастали огромные пространства суши. Рифы, песчаные косы, мелкие места, острова спаивались в один материк. Это была совсем новая земля, созданная Алланом. Его портовые инженеры соорудили молы, волнорезы, доки и маяки по последнему слову техники. Самые крупные пароходы могли входить в гавани. Его архитекторы с помощью волшебства превратили мусор в современные города. Отели, банки, магазины, церкви, школы -- все было новенькое! Все пять новых городов Аллана отличались одной особенностью: они лишены были всякой растительности. Они стояли на раздробленном гнейсе и граните -- ослепительные зеркала на солнце и облака пыли на ветру. Но через десять лет они должны были зазеленеть, как другие города: здесь были предусмотрены такие же площади, сады и парки, как в Лондоне, Париже и Берлине. Строители привозили землю на пароходах; Чили посылало селитру, море дарило водоросли. Строители привозили растения и деревья. И действительно, то тут, то там уже появились призрачные скверы с запыленными пальмами, деревьями и скудным дерном.

Зато ни один город мира не имел таких прямых улиц и таких великолепных пляжей. Города Аллана походили друг на друга, как братья. Все они были отростками Америки, форпостами американского духа, забронированными силой воли, начиненными активностью.

В Мак-Сити к концу строительства было уже больше миллиона жителей!

На строительстве повторялись более или менее крупные несчастные случаи и катастрофы. Но они были не крупнее и случались не чаще, чем при других больших технических сооружениях. Аллан стал осторожен и боязлив. У него были уже не прежние нервы. В начале строительства жизнь ста человек не имела для него значения, а теперь каждая человеческая жертва, принесенная туннелю, ложилась тяжестью на его душу. В штольнях было установлено множество предохранительных и регистрирующих приборов, и всякое указание на необходимость осторожности заставляло его снижать темпы работ. Аллан поседел, old grav Mac [старый седовласый Мак (англ.)] называли его теперь. Он почти не спал и каждую минуту опасался какого-нибудь несчастья. Он стал нелюдим, и единственный его отдых состоял в одинокой вечерней прогулке по своему парку. Мировые события его мало интересовали. Создатель туннеля, он стал его рабом. В его мозгу не было места для мыслей, не имевших отношения к типам машин и вагонов, к станциям, аппаратам, цифрам, кубическим метрам и лошадиным силам. Почти все человеческие чувства притупились в нем. У него остался единственный друг, -- это был Ллойд. Они часто проводили вместе вечера. Сидели в креслах, курили и молчали.

На восемнадцатом году строительства произошла крупная забастовка. Она длилась два месяца, и Аллан не вышел из нее победителем. Только благодаря хладнокровию Штрома удалось в зародыше пресечь повторение массовой паники. Однажды температура в штольнях поднялась на целых пять градусов. Это явление было непонятно и требовало сугубой осторожности. Рабочие отказались спускаться в штольню. Они боялись, что разверзнется земля и зальет их огненной лавой. Распространяли нелепую мысль, будто штольня приближается к раскаленному ядру земли. Многие ученые высказывали предположение, что трасса туннеля коснулась кратера подводного вулкана. Работы были приостановлены, и начались тщательные исследования соответствующих участков морского дна. Но температурные измерения не обнаружили и следа вулкана или горячих источников.

Штром собрал добровольцев и целый месяц оставался дни и ночи в штольне. "Русский черт" прервал работу только когда свалился без сознания. Но через неделю он уже опять был в "аду".

Здесь люди работали совершенно голые. В полусознательном состоянии, поддерживаемые только возбуждающими средствами, сновали они, словно грязные, замасленные ящерицы, взад и вперед по штольне.

На двадцать четвертом году постройки, когда расстояние между штольнями по вычислениям составляло всего около шестидесяти километров, Штрому удалось поговорить по беспроволочному телефону через толщу породы с "Толстым Мюллером". После полугода адской работы штольни настолько продвинулись вперед, что должны были

находиться в непосредственной близости одна от другой, но сейсмографы не отметили ни единого колебания, хотя Мюллер производил взрывы тридцать раз в день. Все газеты обошло волнующее известие, что штольни разминулись. Инженеры в обеих направляющих штольнях поддерживали между собой непрерывную связь. Расстояния от Азорских и Бермудских островов были определены с точностью до метра как на поверхности, так и под морским дном. Расхождение не могло превышать нескольких километров. Поставили сверхчувствительные аппараты, не поддающиеся влиянию высокой температуры, но и они не давали нужных показаний.

Примчались ученые из Берлина, Лондона и Парижа. Некоторые из них отважились даже проникнуть в раскаленную штольню, но все было безуспешно.

Аллан приказал вести штольни косо вверх и косо вниз, приказал бурить сеть боковых штолен. Это был настоящий рудник. Такая работа втемную, наугад была крайне трудна и изнурительна. Жара валила людей, как эпидемия. Случаи буйного помешательства повторялись почти ежедневно. Хотя воздуходувки непрерывно накачивали в штольни охлажденный воздух, стены были раскалены, как кафельные печи. Совершенно нагие, покрытые грязью, ослепленные жарой и пылью, инженеры сидели в штольнях и следили за показаниями аппаратов.

Это был самый ужасный, самый тревожный период за все время работ, и Аллан окончательно потерял сон.

Четыре месяца шли поиски, так как проходка боковых штолен отнимала много времени.

Мир судорожно ждал развязки. Туннельные бумаги начали падать.

Но однажды ночью Штром вызвал по телефону Аллана, и, когда он полз по штольне, Штром, обливаясь потом, грязный и почти потерявший человеческий облик, появился ему навстречу. Впервые Аллан видел этого хладнокровного человека возбужденным и даже улыбающимся.

-- Мы нащупали Мюллера, -- сказал Штром.

В конце уходившей вглубь косой штольни, где свистел, вырываясь из трубы, охлажденный воздух, стоял под рудничной лампой регистрирующий аппарат. Над ним склонились два закопченных лица.

В два часа и одну минуту аппарат отметил миллиметровое колебание. Ровно через час Мюллер должен был произвести новый взрыв, и все четверо целый час в глубоком волнении сидели на корточках перед аппаратом.

Ровно в три часа и две минуты игла задрожала опять.

Газеты выпустили экстренные номера! Будь Мюллер тяжким преступником, след которого разнюхивала бы стая сыщиков, сенсация не была бы больше.

Теперь работа стала быстро подвигаться. Через две недели уже не было сомнения в том, что Мюллер должен находиться под ними. Мак телеграфировал ему, чтобы он "шел наверх". И Мюллер погнал штольню вверх. Еще через две недели обе партии настолько сблизились, что аппарат отмечал даже работу буров.

Три месяца спустя уже можно было простым ухом слышать шум взрывов. Смутно и глухо, как отдаленный гром. Еще через месяц слышен был визг буров! И, наконец, настал великий день, когда буровая скважина соединила обе штольни.

Рабочие и инженеры ликовали.

-- Где Мак? -- спросил "Толстый Мюллер".

-- Я здесь! -- ответил Аллан.

-- How do you do, Mac? [Как вы поживаете, Мак? (англ.)] -- спросил Мюллер с густым смехом.

-- We are all right! [У нас все в порядке! (англ.)] -- ответил Аллан.

Этот разговор в тот же вечер был воспроизведен во всех экстренных выпусках газет, наводнивших Нью-Йорк, Чикаго, Берлин, Париж и Лондон.

Они работали двадцать четыре года, и эта встреча была лучшим мгновением их жизни! И все же они обошлись без громких слов. Час спустя Мюллер смог послать Аллану бутылку мюнхенского пива со льда, а на следующий день они проползли сквозь скважину друг к другу, переутомленные, потные, голые, грязные, на глубине шести тысяч метров под уровнем моря.

Возвращение Аллана по штольне было победным шествием. Отряды рабочих, копошившихся во тьме, встречали его криками и ликованием:

-- Кепи долой перед Маком, наш Мак молодчина!..

А позади Аллана, сверля скалу, уже опять грохотали буры.

6

Этель была сделана из другого теста, чем Мод. Она не хотела стоять в стороне от больших дел Аллана и обосновалась в кипящем круговороте. Она прошла систематический курс обучения на инженера, чтобы иметь тоже "право голоса".

С того дня, как она подала Аллану руку, она с достоинством защищала свои права.

Она, правда, освобождала Аллана от совместного завтрака, но вспять часов, ровно в пять, она появлялась, будь это в Нью-Йорке или в Туннельном городе, и безмолвно приготовляла чай. Аллан мог в это время совещаться с каким-нибудь инженером или архитектором, это ее нисколько не касалось.

Она тихонько хозяйничала в своем углу или в соседней комнате и, когда стол был накрыт, говорила:

-- Мак, чай подан!

И Аллан должен был прийти, один или с кем-нибудь, это было Этель безразлично.

В девять часов ее автомобиль стоял у дверей, и она терпеливо ждала, пока он освободится. Воскресные дни он должен был проводить с нею. Он мог приглашать целый рой инженеров -- как ему было угодно. У Этель был гостеприимный дом. Всякий мог приходить и уходить, когда хотел. В ее распоряжении был гараж с пятнадцатью автомобилями, отвозившими каждого гостя в любой час дня и ночи, куда ему было желательно. Порою, по воскресеньям, приезжал со своей фермы Хобби. Он ежегодно продавал двадцать тысяч кур и бог весть сколько яиц. Свет его больше не интересовал. Он стал религиозным и посещал молитвенные залы. Иногда он серьезно заглядывал в глаза Маку и говорил:

-- Подумай, Мак, о спасении своей души!..

Этель сопровождала Мака в его путешествиях. Она неоднократно была с ним в Европе, на Азорских и Бермудских островах.

Старик Ллойд купил землю близ Роули, в сорока километрах к северу от Мак-Сити, и выстроил там для Этель огромную виллу, нечто вроде замка. Участок тянулся до моря и был окружен парком старых деревьев, которые по поручению Ллойда были доставлены и пересажены сюда японскими садовниками.

Ллойд ежедневно бывал здесь, а иногда неделями гостил у своего божества.

На третий год замужества у Этель родился сын. Она оберегала его как святыню. Это было дитя Мака, -- Мака, которого она любила без лишних слов. Сын должен был через двадцать лет взять в свои руки дело Мака и усовершенствовать его. Она сама выкормила ребенка, сама научила первым словам и первым шагам.

В первые годы жизни маленький Мак был хрупок и чувствителен. Этель находила его "породистым и аристократичным". Но на третий год он пополнел, голова стала крупнее, и на лице появились веснушки. Его светлые волосы стали огненно-рыжими: он превращался в настоящего маленького коногона. Этель была счастлива. Она не любила нежных и чувствительных детей. Дети, считала она, должны быть сильными и крепкими, должны здорово кричать, чтобы развивать легкие, как это и делал маленький Мак. Никогда не ведавшая страха, она теперь познала его. Она ежечасно дрожала за ребенка. Ее фантазия постоянно рисовала ей случаи похищений, увечий и ослеплений детей миллионеров. В нижнем этаже своего дома она велела устроить, как в банке, стальное помещение. Там спал маленький Мак со своей няней. Без матери он не смел покидать парк. Две злые собаки-ищейки сопровождали его, и местность на три мили в окружности находилась под постоянным наблюдением сыщика. Когда Этель брала мальчика с собой, с ними садились в автомобиль двое вооруженных до зубов детективов. Шофер должен был ехать очень медленно, и однажды Этель среди нью-йоркской улицы дала ему оплеуху за то, что он ехал со скоростью hundred miles an hour [сто миль в час (англ.)].

Врач ежедневно должен был осматривать ребенка, который и так прекрасно развивался. Стоило мальчику кашлянуть, как мать уже телеграфировала специалисту.

Везде Этель видела опасности для своего сына. Они могли вынырнуть из моря, даже с воздуха могли спуститься преступники, чтобы похитить маленького Мака.

В парке был большой луг, который, по выражению Этель, "прямо приглашал аэроплан приземлиться". Этель велела посадить здесь группу деревьев, так что каждый рискнувший приземлиться аэроплан неизбежно разбился бы вдребезги.

Этель пожертвовала огромную сумму на расширение госпиталя, который она назвала "Госпиталем имени Мод Аллан". Она учредила превосходные детские очаги во всех пяти туннельных городах. В конце концов она очутилась почти на грани банкротства, и старик Ллойд сказал ей: "Этель, ты должна быть экономнее!"

Место, где были убиты Мод и Эдит, Этель окружила оградой и превратила его в цветочную клумбу, ни слова не сказав об этом Аллану. Она хорошо знала, что Аллан не забыл Мод и маленькой Эдит. Порою она слышала, как он ночью часами ходил взад и вперед по комнате и тихо говорил сам с собой. Она знала также, что в письменном столе он тщательно хранил неоднократно прочитанный дневник Мод "Жизнь моей маленькой дочурки Эдит и то, что она говорила".

Мертвые имели свои права на него, и ей никогда не приходило в голову умалять эти права.

Эпилог

Бурильные машины продолжали дробить породу в атлантических штольнях, и головные отряды сближались с каждым днем. Последние тридцать километров стоили каторжных трудов. Аллан вынужден был платить по десяти долларов за два часа работы, так как никто не хотел спускаться в "кратер". Стены этих участков пришлось окружить сетью холодильных труб. За год напряженной работы справились и с этой штольней.

Туннель был готов. Люди начали его, люди его закончили. Из пота и крови был он построен, поглотил девять тысяч жизней, бесчисленные бедствия принес миру, но теперь он был готов! _И никто этому не удивлялся_.

Через месяц начали работать подводная пневматическая почта.

Один издатель предложил Аллану миллион долларов за то, чтобы он написал историю туннеля. Аллан отказался. Он дал только два столбца для "Геральда".

Аллан не умалял своих заслуг. Но он всячески подчеркивал, что только с помощью таких выдающихся людей, как Штром, Мюллер, Олин-Мюлленберг, Хобби, Гарриман, Берман и сотни других, он мог построить туннель.

"Но я должен сознаться, -- писал он, -- что время меня опередило. Все мои подземные и надземные машины устаревали, и я вынужден был постепенно заменять их новыми. Устарели и мои буры, которыми я когда-то гордился. Скалистые горы были просверлены в более короткий срок, чем мог бы это сделать я. Теплоходы-

экспрессы одолевают расстояние от Англии до Нью-Йорка в два с половиной дня, гигантские немецкие воздушные корабли пересекают Атлантический океан в тридцать шесть часов. Пока я еще быстрее их, и чем больше будет возрастать скорость морских и воздушных кораблей, тем быстрее будут ходить и мои поезда. Я легко могу довести скорость до трехсот-четырехсот километров в час. К тому же перелет и проезд на быстроходных судах доступны только богатым людям. Мои же цены общедоступны. Туннель принадлежит народу, коммерсантам, переселенцам. Я могу перевозить сорок тысяч человек в день. Через десять лет, когда полностью будут готовы вторые штольни, можно будет перевозить от восьмидесяти до ста тысяч человек. Через сто лет туннель не сможет справиться с наплывом пассажиров. Задачей синдиката будет построить до тех пор _параллельные штольни_, что можно будет исполнить относительно легко и дешево".

И Аллан в своей просто и нескладно написанной статье объявлял, что ровно через шесть месяцев, первого июня, на двадцать шестом году строительства, он пустит первый поезд в Европу.

Для того чтобы выдержать этот срок, он подгонял инженеров и рабочих к бешеному финишу. Месяцами поезда вывозили старые шпалы и рельсы. Приводили в порядок пути для туннельных поездов, пробные поездки уже производились во всех штольнях. Подготовлялся отряд машинистов. Аллан выбирал для этого людей, привыкших к большим скоростям: автомобильных и мотоциклетных гонщиков и авиаторов.

На станциях Бискайя и Мак-Сити за последние годы как из-под земли выросли гигантские цехи: заводы туннельных вагонов. Эти вагоны вызвали новую сенсацию. Они были несколько выше пульмановских, но почти вдвое длиннее и вдвое шире. Броненосные крейсера, покоившиеся на киле из четырех пар двойных колес и несшие в своем чреве жироскопы, холодильники, резервуары, кабели и трубы -- целый организм. Вагоны-рестораны представляли собой великолепные залы. (Кинематограф и музыка должны были сокращать переезд по туннелю.)

Весь Нью-Йорк осаждал станцию Хобокен, чтобы прокатиться в этих вагонах, пока хоть до Мак-Сити. В самих туннельных поездах места на первые три месяца были расписаны за много недель вперед.

Настало первое июня...

Нью-Йорк украсился флагами. Лондон, Париж, Берлин, Рим, Вена, Пекин, Токио, Сидней украсились флагами. Весь цивилизованный мир праздновал первый рейс Аллана как международное торжество.

Аллан хотел выехать в полночь и в полночь второго июня (по американскому времени) быть в Бискайе.

Уже несколько дней экстренные поезда из Берлина, Лендона и Парижа шли в Бискайю, а из всех больших городов Соединенных Штатов -- в Мак-Сити. Целые флотилии пароходов отправлялись в море, к Азорским и Бермудским островам. Первого июня с раннего утра в Мак-Сити каждый час Прибывали двадцать поездов, набитых людьми, стремившимися собственными глазами увидеть, как первый экспресс Америка-Европа ринется в туннель. В больших отелях Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, Парижа, Берлина, Лондона устраивались банкеты, которые должны были начаться в десять часов вечера и продолжаться полных двадцать восемь часов. Компания "Эдисон-Био" во всех этих отелях хотела показывать свой огромный туннельный фильм, шедший целых шесть часов. В варьете и мюзик-холлах выступали хоры бывших туннельных рабочих, распевавших туннельные песни. На улицах продавались миллионы открыток с портретами Аллана, миллионы tunnel-charms [туннельных талисманов (англ.)], маленьких осколков камня из штолен, в металлической оправе.

Аллан выехал ровно в двенадцать часов ночи. Огромная платформа станции Хобокен, самая большая в мире, была до отказа набита взволнованными людьми, и все вытягивали шеи, чтобы бросить взгляд на мощный туннельный поезд, готовый к отбытию. Он был серый, как пыль, и весь из стали.

Поезд, состоявший из шести вагонов, считая моторный, был ярко освещен, и счастливцы, стоявшие близко, могли заглянуть в роскошные салоны. Предполагали, что с первым поездом поедет Этель. Несмотря на фантастические суммы, которые предлагались за проезд, пассажиров не взяли. В три четверти двенадцатого спустили железные шторы. Интерес толпы возрастал с каждой минутой. Без десяти двенадцать четыре инженера вошли в моторный вагон, напоминавший миноноску с двумя круглыми глазами на остром носу. Аллан должен был появиться каждую минуту.

Он прибыл без пяти минут двенадцать. Когда он показался на перроне, его встретили таким громом приветствий, что можно было подумать, будто рушится станция Хобокен.

Аллан начал постройку молодым человеком, теперь это был старик с белоснежными волосами, бледными, несколько дряблыми щеками и добродушными голубовато-серыми детскими глазами. Рядом с ним шла Этель, держа за руку маленького Мака. За ней следовал сгорбленный человечек в пальто с поднятым воротником и в широкой дорожной шапке, низко натянутой на лоб. Он был немного больше маленького Мака, и все приняли его за чернокожего грума. Это был Ллойд.

Крохотная мумия протянула руку Этель и маленькому Маку и осторожно влезла в вагон: значит, пассажиром был Ллойд! Не император, не король, не президент республики, а великодержавный Ллойд, _капитал_ был первым пассажиром!

Этель осталась со своим сыном. Она привезла маленького Мака из Роули, чтобы он присутствовал при этом великом событии. Аллан простился с сыном и Этель. Этель сказала:

-- Well, good bye, Mac. I hope you will have a nice trip! [Ну, прощай, Мак! Надеюсь, ты совершишь приятную поездку! (англ.)]

Жироскопы завертелись и наполнили вокзал гулким, свистящим гудением. Подпорные стойки автоматически освободили поезд, когда жироскопы достигли нужного числа оборотов, и поезд плавно вышел из вокзала под неистовое ликование толпы. Прожекторы бросали снопы бледного света на Хобокен, Нью-Йорк и Бруклин, сирены

пароходов в доках, на Гудзоне и в бухте, на Ист-Ривере гудели и выли. Звенели телефоны, работали телеграфы. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско бушевали, ликование всего мира сопутствовало Аллану в его поездке. В то же время остановились на пять минут все технические предприятия мира, перестали вертеться винты всех пароходов, разрезавших в этот миг волны океанов, завыли, загудели свистки и сирены всех поездов и судов, находившихся в пути. Это был неистовый, могучий крик труда, приветствовавшего свое творение.

Старый Ллойд дал себя раздеть и лег спать.

Они были в пути.

В отелях тысячи людей обедали в десять часов и волнуясь говорили о первом поезде. Играли оркестры. Возбуждение все росло и росло. Люди восторгались и даже ударялись в поэзию. Туннель называли "величайшим делом рук человеческих". "Мак Аллан создал эпос железа и электричества". Вспоминая о всех ударах судьбы, постигших Мака Аллана за двадцать пять лет строительства, его называли даже "Одиссеем современной техники".

Без десяти минут двенадцать Вспыхнул экран Эдисоновского биоскопа: "Внимание!"

Сразу воцарилась тишина. И тотчас же заработал телекинематограф. Во всех центрах мира в один и тот же миг увидели вокзал Хобокен, черневший людьми. Увидели импозантный туннельный поезд, увидели, как Аллан прощается с Этель и сыном, как присутствующие машут шляпами, как поезд трогается...

Поднялось неописуемое, громовое ликование, продолжавшееся несколько минут. Люди взбирались на столбы, разбивали и растаптывали сотни бокалов от шампанского. Оркестр играл "Туннельную песню": "Three cheers and a tiger for him!.." Но шум заглушал музыку.

Потом на экране появилась надпись: "Двадцать пять портретов". Аллан в начале строительства, Аллан сегодня. Прогремел новый ураган восторгов. Хобби, Штром, Гарриман, Берман, С.Вульф, "Толстый Мюллер", Ллойд. Потом показывали туннельный фильм. Он начинался с собрания на крыше "Атлантика", с первого удара заступом. В течение ночи, с небольшими перерывами, показывали все фазы строительства, и когда на экране появлялся Аллан, подымались новые восторженные взрывы ликования. Небывалый фильм показывал катастрофу, забастовку, показывал, как Мак Аллан произносил в мегафон речь перед армией рабочих (фонограф передавал отрывки из этой речи!), демонстрацию туннельных рабочих, большой пожар. Показывал все.

Час спустя, в час ночи, на экране появилась телеграмма: "Аллан въехал в туннель. Невероятное воодушевление толпы! Много пострадавших в давке!"

Фильм продолжался. Каждые полчаса он прерывался телеграммами: Аллан прошел сотый километр, двухсотый километр, Аллан остановил поезд на одну минуту. Люди заключали пари на огромные суммы. Никто уже не смотрел фильм. Все высчитывали, бились об заклад, шумели! Прибудет ли Аллан вовремя на Бермудские острова? Первая поездка Аллана обратилась в спортивный пробег, пробег электрического поезда -- _и больше ничего_. Дьявол рекордсменства оседлал всех! В первый же час Аллан побил рекорд электрического поезда Берлин -- Гамбург. Во второй -- он приблизился к мировым рекордам аэропланов, в третий -- он побил и их.

В пять часов напряжение вторично дошло до апогея.

На экране появился, переданный телекинематографом, залитый ярким солнцем вокзал на Бермудских островах, кишащий людьми, напряженно всматривающимися в одну точку. В пять часов двенадцать минут вынырнул серый туннельный поезд и стремительно влетел под навес вокзала. Аллан выходит на платформу, разговаривает со Штромом, затем Штром и Аллан возвращаются в вагон. Пять минут, и поезд мчится дальше. Телеграмма: "Аллан прибыл на Бермудские острова с опозданием на две минуты".

Некоторые из участников банкетов отправились домой, но большинство осталось. Они бодрствовали больше двадцати четырех часов, чтобы проследить за путешествием Аллана. Многие сняли комнаты в отелях и ложились спать на несколько часов, приказав немедленно разбудить их, "если что-нибудь случится". Дождем сыпались на улицы экстренные выпуски газет.

Аллан был в пути.

Поезд мчался по штольням, и на мили вперед и назад отдавался его грохот. Поезд кренился на кривых, как искусно построенная парусная яхта, поезд лавировал. Поезд брал подъемы равномерно и-спокойно, как аэроплан, поезд летел. Огни в темном туннеле были разрывами во тьме, сигнальные фонари -- пестрыми звездами, кидавшимися в круглые носовые окна несущейся миноноски, огни на станциях -- роями мелькающих метеоров. Туннельные рабочие, укрывавшиеся за железными раздвижными дверьми станций, крепкие парни, не проронившие слезы в большую октябрьскую катастрофу, плакали от радости, видя мчавшегося мимо них old Mac [старого Мака (англ.)].

Ллойд велел разбудить его в восемь часов. Он принял ванну, позавтракал и закурил сигару. Он смеялся, ему здесь нравилось. Наконец-то никто ему не мешал, наконец-то он был далеко от людей и в таком месте, куда никто не мог к нему пробраться! Иногда он прогуливался по своим залитым светом апартаментам -- двенадцати роскошным, наполненным озонированным воздухом покоям, мчавшимся по рельсам. В девять часов его вызвала по телефону Этель, и он беседовал с ней десять минут. ("Don't smoke too much, pa!" [Не кури слишком много, папочка! (англ.)] -- сказала Этель.) Потом он прочел телеграммы. Вдруг поезд остановился. Это была большая станция в "горячей штольне", Ллойд выглянул в смотровое окошечко и увидел группу людей, в центре которой стоял Аллан.

Ллойд пообедал, поспал. Поезд снова остановился. Окна салона были открыты. Сквозь стеклянную стену Ллойд увидел голубое небо, а с другой стороны -- несметную толпу людей, восторженно что-то кричавших. Азорские острова! Слуга сообщил ему, что они опаздывают на сорок минут, так как один из масляных баков дал течь.

Окна опять закрыли. Поезд помчался вниз, и старый, высохший, маленький Ллойд стал насвистывать от удовольствия, чего с ним не случалось уже лет двадцать.

От Азорских островов поезд вел Штром. Он включил полный ток, и измеритель скорости поднялся до двухсот девяноста пяти километров в час. Инженеры забеспокоились, но Штром, которому жара в горячих штольнях могла спалить волосы, но не нервы, не потерпел вмешательства.

-- Опоздание было бы позором, -- сказал он.

Поезд шел так быстро, что казалось, будто он стоит. Огни, как искры, летели ему навстречу.

Финистерре.

В Нью-Йорке снова настала ночь. Отели наполнились. Телеграмма, сообщавшая о чудовищной скорости поезда, вызвала бурю восторга. Удастся ли наверстать опоздание? Пари достигали безумных сумм.

Последние пятьдесят километров поезд вел Аллан.

Он сутки не спал, но возбуждение поддерживало его. Он был бледен и утомлен и скорее задумчив, чем радостен. Рой мыслей проносился в его голове...

Через несколько минут они должны были прибыть и уже считали километры и секунды. Сигнальные фонари проносились мимо, поезд шел в гору.

Вдруг резкий белый свет ослепил их. В поезд ворвался день. Аллан затормозил.

Они прибыли в Европу с опозданием на двенадцать минут.
